

# Перекрёстки N 1-2 / 2006

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО  
ПОГРАНИЧЬЯ



Европейский гуманитарный университет  
Центр перспективных научных исследований и образования (CASE), проект «Социальные трансформации в пограничье: Беларусь, Украина, Молдова»

Перекрестки № 1–2/2006  
Журнал исследований восточноевропейского пограничья  
ISSN 1822-5136

Редакционная коллегия:  
Владимир Дунаев (Минск)  
Светлана Наумова (Минск)  
Павел Терешкович (Минск)  
Игорь Бобков (главный редактор) (Минск)  
Валентин Акудович (редактор) (Минск)  
Татьяна Журженко (Харьков)  
Людмила Кожокари (Кишинев)

Научный совет:  
Анатолий Михайлов (Беларусь), доктор филос. наук  
Наталка Черныш (Украина), доктор социол. наук  
Ярослав Грицак (Украина), доктор ист. наук  
Виржилию Бырлэдяну (Молдова), доктор ист. наук  
Дмитрий Карев (Беларусь), доктор ист. наук  
Димитру Молдован (Молдова), доктор экон. наук

Журнал выходит с 2001 г.  
Периодичность: ежеквартально

Адрес редакции и издателя:  
Европейский гуманитарный университет  
Kražiu str. 25, LT-01108  
Vilnius Lithuania  
E-mail: office@ehu-international.org

Формат 70x108 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Гарнитура «GaramondBookNarrowC».  
Усл. печ. л. 21. Тираж 299 экз.  
Отпечатано: «Petro Ofsetas»  
Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius

Авторы статей несут ответственность за предоставленную в статьях точку зрения.

ЕГУ выражает глубокую признательность за помощь и финансовую поддержку проекта  
Корпорации Карнеги, Нью-Йорк

© Европейский гуманитарный университет, 2006  
© Центр перспективных научных исследований и образования (CASE)

# СОДЕРЖАНИЕ

## ИССЛЕДОВАНИЯ

*Роман Шпорлюк*

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ:  
ЗАПАДНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ..... 5

*Игорь Шевченко*

ПОЛЬША В ИСТОРИИ УКРАИНЫ..... 38

*Александр Смоленчук*

«ПОЛЬСКОЕ ПРИСУТВИЕ» В БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИИ ..... 55

## ПЕРЕВОДЫ

*Ядвига Станишкис*

АСИММЕТРИЯ РАЦИОНАЛЬНОСТИ:  
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПОСТКОММУНИЗМ..... 73

## ИССЛЕДОВАНИЯ

*Андрей Казакевич*

БЕЛОРУССКАЯ СИСТЕМА: МОРФОЛОГИЯ,  
ФИЗИОЛОГИЯ, ГЕНЕАЛОГИЯ ..... 117

*Александр Сарна*

ИДЕНТИЧНОСТЬ «НА...». ПЕРФОРМАНС  
НАРОДА/НАЦИИ НА БЕЛОРУССКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ..... 151

## ЭССЕ

*Эльжбета Смуклова*

МОЕ ВИДЕНИЕ БЕЛАРУСИ..... 167

*Андрей Дынько*

МЕЖ БРАТСКОЙ РОССИЕЙ И МИРНОЙ ЕВРОПОЙ..... 182

## ПЕРЕВОДЫ

*Ришард Радзик*

НЕТИПИЧНОЕ ОБЩЕСТВО .....	196
---------------------------	-----

## РЕЦЕНЗИИ/ОБЗОРЫ

*Александр Погорелов*

НАУЧНОСТЬ, ДИАЛОГИЧНОСТЬ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ.....	214
--	-----

*Алексей Крысенко*

ПО СТРАНИЦАМ «ОЙКУМЕНЫ».....	219
------------------------------	-----

*Олег Бреский*

ДВА ДОКУМЕНТА.....	223
--------------------	-----

*Андрей Вашкевич*

БИСКУП ЧЕСЛАВ СИПОВИЧ .....	233
-----------------------------	-----

НАШИ АВТОРЫ.....	236
------------------	-----

## ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ: ЗАПАДНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

В феврале 1948 г. британский историк Льюис Неймер (1888–1960) прочитал лекцию, посвященную сотой годовщине европейской революции 1848 г.<sup>1</sup> Эта лекция под названием *1848: Seed-plot of history (1848: «рассадник» истории)* была издана вместе с другими его работами в сборнике *Vanished Supremacies*<sup>2</sup>.

Неймер в качестве точки отсчета выбирает 1848 г., и этот выбор вполне обоснован. Существует известное клише, что 1848 г. мог стать поворотным пунктом в истории, но тогда история не смогла им воспользоваться, однако это не так. 1848-й – это год первых европейских революций: их эпицентром была Франция, но революции также произошли в Палермо, Неаполе, Вене, Берлине, Будапеште, Познани – перечень можно продолжить. В 1848 г. в Центральной Европе начались национальные революции и в то же время был издан *Манифест Коммунистической партии*, который провозглашал, что международная пролетарская революция уничтожит капитализм, государство, нации и национализм.

Как пишет в своей работе о Тейлоре Кетлин Берк (Kathleen Burk), в 1848 г. Австрийская (Габсбургская) империя «была одновременно великой немецкой и балканской державой, краеугольным камнем «европейского соглашения»; существовал немецкий народ, но не было Германии; существовали итальянские государства (некоторые из них принадлежали Австрийской империи), а также два итальянских королевства, однако не было Италии; Францию тогда еще воспринимали как сильнейшее или по крайней мере самое агрессивное государство; а Россию – прежде всего как европейскую, а не азиатскую страну...»<sup>3</sup>

Центральная мысль лекции Неймера следующая: «все идеи, выдвинутые народами Габсбургской монархии в 1848 г. были воплощены в жизнь, но в разных обстоятельствах и формах» на протяжении следующего столетия. Неймер пришел к выводу, что «1848 г. был “рассадником” истории. Тогда выкристаллизовались идеи и начали вырисовываться контуры того, что со временем произошло; определился ход событий следующего столетия. То, что запланировано, осуществилось: но – *non vi si pensa quanto sangue costa*»<sup>4</sup>.

По мнению Неймера, разрешение немецкого вопроса, то есть вопроса «Что такое Германия?», было главной национальной проблемой Центральной и Восточной Европы и оставалось таковой на протяжении следующих ста лет: начиная с 1848 г. история Германии (включая две мировые войны) определяла историю всего региона. Исходя из концепций Неймера, становится понятно, что судьбы других наций, которые он приводит и рассматривает (венгерской, итальянской, польской, югославской и украинской) были непосредственно связаны с немецким сюжетом. Русины (иначе – украинцы), как один из народов Габсбургской монархии, который выдвинул свою программу в 1848 г., также были включены в схему Неймера. Западная Украина (Галиция и Буковина) была самой восточной частью Европы, куда докатились революции 1848–1849 гг., и 1848 год для новой украинской истории также был поворотным моментом.

Исходной точкой истории становления украинской нации я выбрал «германоцентрическую схему» Неймера, поскольку его подход помогает лучше понять более широкий контекст, в котором создавалась украинская история XIX и начала XX в. Неймер обращает внимание исследователей истории Украины на то, что Габсбургская монархия должна была не только заниматься своими «народами», среди которых были и украинцы, но и на то, что в самом сердце этой державы возник и развился конфликт – «диалектическое противоречие» (воспользуемся популярной фразой Маркса) – между династией и ее принципами с одной стороны и немецким национализмом, немецким «национальным вопросом» – с другой. Напряженность между «империей» и «немцами», как будет показано далее, влияла на отношение имперского правительства к другим национальностям, включая украинцев. (То же самое можно сказать и про украинцев в Российской империи, где на власть оказывал давление доминирующий народ – российский).

Ниже я подробнее изложу взгляды Неймера на Германию, а потом разверну их так, чтобы рассмотреть появление Украины как части международного исторического процесса, который одновременно включал немецкий вопрос и программы других народов Центральной и Восточной Европы. Украину необходимо видеть как субъект в ряде международных сюжетов – а не только как объект деятельности других. Мы остановимся на тех исторических фактах, а точнее – на стечении тех обстоятельств, когда традиционные империи и другие домодерные государственные образования (система Аграрии – если пользоваться терминологией Геллнера) впервые оказываются перед испытанием национализмом и когда начинается процесс

модерного создания наций<sup>5</sup>. Появление немецкого сюжета в украинском нарративе позволит нам скорректировать общее представление о том, что формирование украинской нации – запоздалый и замедленный процесс, при всеобщем молчаливом согласии по поводу того, что в случае с Германией этот процесс был одним из самых прогрессивных. Внимательный взгляд на немецкую историю – что и сделал Неймер – заставляет задуматься, насколько это верно?

Перед тем как продолжить, сделаю небольшое отступление, чтобы пояснить, как я понимаю такие понятия, как нация, национализм и формирование нации. Для этого я воспользуюсь концепциями различных ученых.

Джон А. Армстронг (John A. Armstrong) определяет национализм как:

«Утверждение, что главным принципом управления должно быть объединение всех представителей наций в одном государстве. Этот принцип, хотя и известный ранее, стал доминантным и главным для поколения 1775–1815 гг. Таким образом, эти даты, по моему мнению, определяют решающий перелом в историческом развитии этноса и национализма»<sup>6</sup>.

Работа Армстронга помогает обозначить временные рамки нашего исследования. Границы, как он определяет (1772–1815 гг.), – это конец старой Польши (ее разделение) и рождение модерного польского национализма. Чтобы понять, что же, по мнению Неймера, произошло в 1848 г., нам придется вернуться еще на полстолетия назад – к тому времени, когда была заложена основа событий, которые произошли на общественной арене в 1848 г. Этот контекст особенно важен для того, чтобы адекватно понять украинский случай: в конце XVIII в. произошли два события, которые определили развитие украинской истории на протяжении последующих ста пятидесяти лет. Первое – это ликвидация автономии Гетманата в Российской империи, которая фактически совпадает с началом украинского культурного и литературного возрождения на этих землях. Другое – разделы Польши 1772–1795 гг. После первого раздела (1772) Австрия получила Галицию, западная часть которой была польско-, а восточная – украиноязычной. К Пруссии отошли польская Померания, а к России – территории современной Беларуси. Вследствие разделов 1793–1795 гг. Россия получила Правобережную Украину, Литву и часть Белоруссии. Пруссия и Австрия поделили между собой часть центральных польских земель (Варшава отошла к Пруссии, Краков – к Австрии). Польские территории, которые вышли из состава России, были полем, на котором украинское движение должно было сосуществовать и конкурировать с польским и российским доминированием.

Среди многочисленных определений национализма для нашего исследования будет важным определение Адриана Гейстингса (Adrian Hastings). Поясняя специфику взаимоотношений между нацией и государством и отвечая на вопрос, когда можно говорить о существовании нации, Гейстингс предложил следующее опре-

деление: «Даже если нацию создает государство, оно становится национальным только тогда, когда нация ощущит свое преимущество над государством и против государства» (курсив мой. – *РШ.*)<sup>7</sup>. Взгляд Гейстинга имеет особое значение для лучшего понимания примера российского формирования нации, и мы еще вернемся к нему в завершающей части нашего эссе.

И наконец, учитывая сложность процесса формирования современной украинской нации (так же как и чешской, немецкой, российской или польской), будет полезно сослаться на работу *Peasants into Frenchmen* (*Преобразование крестьян во французов*) Юджина Вебера (Eugen Weber), в которой автор говорит, что нация – это не «данная реальность», а «произведение в процессе творения»<sup>8</sup>. История XIX и XX вв. подтверждает эту мысль Вебера.

### **Коротко о «фассаднике»**

В концепции Неймера главная роль отводится Германии. Он писал, что во время революций 1848 г. были предложены четыре разные модели немецкого государства, и между 1848 и 1939–1945 гг., раньше или позже, каждая из них была реализована. Первой появилась (1) «Великая Австрия» в 1850 г.; в 1866, после австрийско-прусской войны, возникла «Великая Пруссия» (Германию поделили в 1866); потом (3) была «малая Германия» (Klein Deutschland) 1870–1871 гг.; и, наконец, (4) «Великая Германия» (Райх) Адольфа Гитлера, созданная в 1938–1939, которая включала австрийские и чешские территории и была воплощением одной из радикальных идей революции 1848 г. (а также немецким государством в тех границах, в которых хотел ее видеть Карл Маркс).

По мнению Неймера, на протяжении ста лет после 1848 г. многие другие нации тоже воплотили свои идеи в жизнь. Венгры реализовали программу 1848 г. в результате Соглашения 1867 г., после которого Австрийская империя стала Австро-Венгерской. Это соглашение стало поражением «неисторических» наций, которым «Великая Австрия» обещала выгодные условия. Итальянцы в 1866–1867 гг. также удовлетворили часть своих требований: Вена была вынуждена отдать большую часть итальянских земель новому Итальянскому королевству. Поляки тоже оказались в выигрыше: в 1868 г. Галиция получила автономию и реальная власть сосредоточилась в руках польской аристократии, хотя и в границах конституционного строя. Поэтому независимость Австрии от Германии – которую Дэвид Блекборн (David Blackbourn) справедливо назвал «разделом Германии»<sup>9</sup> – имела негативные последствия для галицких русинов, которым соглашения Вены с поляками ничего хорошего не обещали. Правда, после 1866–1867 гг. Вена наделила Галицию определенными правами (особенно в сфере образования), которых не было ни в одной из частей монархии. Однако после событий 1867 г. (и в значительной степени посредством этих событий) большинство русинов поняло, что венский монарх их предал, и тогда русины склонились к пророссийской ориентации.



«В 1918–1919 гг., – говорит далее Неймер, – настало время этносов, которые находились в немецкой и венгерской сферах влияния». Чехи и словенцы добились независимости от немцев; обособленность словаков, румын и сербов уменьшила «Великую Венгрию», существовавшую с 1867 г. К тем фактам, о которых упоминает Неймер, мы можем добавить, что венгерские украинцы стали гражданами Чехословакии. Двадцать лет спустя, после Судетского кризиса 1938 г., Прага предоставила автономию чехословацкой «провинции», которую в то время начали называть «Карпатской Украиной». События 1938 и 1939 гг. (когда Венгрия аннексировала эту территорию с согласия Гитлера) отражают связь между развитием «немецкой программы», упоминаемой Неймером, и украинской историей.

Период после мировой войны был для поляков благоприятным временем: они, так же как и итальянцы, полностью достигли цели, которую перед собой поставили еще во времена Габсбургов. В 1918–1921 гг. полякам удалось восстановить контроль над русскими землями Галиции, утверждая, что вся Галиция – это Польша. Итальянцы смогли сделать то же самое с югославами (то есть словенцами и хорватами). (Неймер говорит о югославах, а не словенцах и хорватах: в 1948 г. существование югославской нации казалось бесспорным.)

Последние события драмы 1848 г., по мнению Неймера, происходили в 1939–1945 гг., когда «пришла благоприятная пора» для югославов и русинов. Русины выполнили программу 1848 г., освободившись от поляков, а югославы – от итальянцев. К сожалению, Неймер не поясняет, что означает «пришла желанная пора» в случае русинов. Хотя польское господство над русинами в 1945 г. завершилось, национальной независимости они все равно не добились (значит, программа 1848 г. в 1945 г. не была реализована).

Повествование Неймера заканчивается 1948 г., но мы продолжим его до 1991 г. Кроме того, расширим эту схему и покажем последующий ход событий, начатых в 1848 г. Для исследователя истории Украины лекция Неймера, без сомнения, является выгодной позицией, с которой удобно рассматривать связи Украины с Европой (и Германией в частности). Поскольку немцы были причастны к украинским делам после 1914 и 1939 гг.; и только через год после объединения Германии в 1990 г. – завершающего, с нашей точки зрения, аккорда «немецкой программы», – Украина наконец добилась независимости.

### ***Немецкий национализм и Габсбурги***

В 1797 г. Йоган Вольфганг Гёте и Фридрих Шиллер задают знаменитый вопрос: «Германия? А где же она? Не знаю, где находится эта страна». Оставив его без ответа, они объясняют, в чем здесь проблема: «Там, где начинается культурная [Германия], заканчивается [Германия] политическая»<sup>10</sup>.

Спустя 50 лет, в 1848 г., у немцев все еще будут существовать кардинально противоположные взгляды на то, что такое Германия. В 1848 г. программа немецких

националистов имела целью создать объединенную Германию как национальное государство, в состав которого войдут все немецкие королевства и княжества. «Великая Австрия», которая возникает в 1850 г., доминирует в сфере политики на всех немецких землях. Но в нее входят и такие земли, как Венгрия, с чем немецкие националисты согласиться не могли. Перечисление различных моделей Германии, которое приводит Неймер, – полезное напоминание о том, что немецкая нация, которую в различных давнишних исследованиях называли «исторической», то есть изначально обозначенной нацией, при переходе к эпохе национализма переживала процессы формирования, переформирования и разрушения [making, remaking and unmaking]. Новая концепция единого объединенного немецкого национального государства была действительно революционная, поскольку призывала к разрушению исторических государств – таких как Пруссия, Бавария, Саксония и других, а кроме того ставила под сомнение территориальную целостность наследия династии Габсбургов на землях Священной Римской империи.

Не сложно понять, почему расчленение Речи Посполитой очень серьезно отразилось на польской, украинской и немецкой историях. Оно переименовало Пруссию и Австрию, поскольку в их состав вошло значительное количество поляков и польских земель, вследствие чего они получили «дегерманизацию» своих государств. Польский вопрос становится острой проблемой прусской внутренней политики, а после включения польских земель в состав Габсбургской монархии Вена концентрирует внимание прежде всего на востоке, на славянском мире. Вследствие чего Австрия после 1815 г. оказывается в меньшей степени немецкой, нежели была до 1772 г. Естественно, это отразилось на соотношении влияния немцев и славян – в пользу последних<sup>11</sup>.

Австрии, к которой отошли польские земли (Галиция), теперь пришлось иметь дело с народом, который достиг больших, относительно немцев, успехов в формировании нации. В сравнении с поляками немецкий национализм оставался в значительной степени чисто интеллектуальным феноменом. Не только во времена Наполеона, но даже после 1815 и вплоть до 1848 г. польский национализм вдохновлял на войны и восстания в 1794, 1807, 1809, 1830 гг. Даже когда Польша исчезла с карты Европы, ни один польский поэт не ответил бы на вопрос: «Где Польша?» так, как отвечали Гёте и Шиллер на вопрос о Германии. Поэтому, согласимся с мнением Армстронга, на тот момент поляки в вопросе формирования нации опережали немцев (а также и россиян) – этот факт в значительной степени повлияет на формирование украинской нации, поскольку поляки были главной составляющей «западного измерения» Украины.

Кое-кто из польских историков утверждает, что после 1772 г. Вена начала проводить «германизацию» Галиции, но это не так. В это время Габсбургская империя занималась формированием имперской австрийской нации. Присоединение Галиции к империи ускорило дегерманизацию Австрии, поскольку еще больше переводило внимание Вены от немецкого к славянскому миру. Все мероприятия Габсбургов по

германизации были вызваны бюрократической необходимостью, и они никак не были частью формирования немецкой нации. Вена не переубедила украинцев (чехов, словенцев и другие народы) в том, что на самом деле они немцы. К тому же (как мы уже упоминали ранее) немецкий национализм конфликтовал с Габсбургской монархией: в 1848 г. немецкие революционеры хотели ее разрушить.

Не только немцы были разделены и не очень себе представляли, какой является или какой должна быть их страна. Другие нации столкнулись с теми же трудностями. Чешский историк Иржи Коржалка (Jiří Kořalka) утверждает, что Вена хотела создать многоэтничный «имперский народ» – в противоположность немецким и другим этническим нациям. Он пишет, что в 1848 г. у чехов было не меньше пяти концепций своего народа: австрийская, пангерманская, славянская, богемская и собственно чешская. Коржалка отмечает, что имперская система пыталась создать «австрийскую государственную нацию»: «Целью Йозефинской системы было формирование австрийской государственной нации, поддерживать которую должен был, прежде всего, образованный *homo austriacus* (австрийский человек) – в австрийской администрации и образовании, армии и церкви, управляемых государством»<sup>12</sup>. Коржалка разделяет две формы австрийскости – *rakusanství*, надэтническую, и многонациональную, или же многоэтничную. Примерно до 1860 г. Вена все еще пыталась создать австрийскую имперскую национальную идентичность, которая была настолько же антивенгерской, или антипольской, как и антинемецкой<sup>13</sup>.

У галицких русинов (то есть западных украинцев) в 1848 г. также не было уверенности относительно своей идентичности. Русско-польские взаимоотношения имеют давнюю историю. Галиция была первой заселенной украинцами территорией, которая оказалась под властью польских королей с середины XIV в. и вплоть до 1772 г. После раздела 1772 г., во время культурной и политической революции, немцы [как Австрия] вошли в качестве третьей силы в сферу польско-украинских отношений в Галиции. Галицию втянули в мир немецких проблем, а правительство империи стало участником польско-украинских конфликтов.

Имперской политикой, которая стремилась создать *homo austriacus*, объясняется, почему славянские крестьяне, по вероисповеданию греко-католики (униаты), на тех землях не стали «украинцами» (вопреки тому, что захват Австрией украинских земель сделал возможным создание политического сообщества). Их первичное политическое сознание было имперским – его Томаш Масарик (Tomas Masaryk) в конце XIX в. иронично называл «венскостью» [*videnství*]. (Масарик использовал этот термин, чтобы описать неизменную лояльность чехов к монархии.) В общем, даже после того, как субъекты монархии принимали модерную национальную самоидентификацию (становились чехами, украинцами, словенцами и т.д.), они, как правило, сохраняли свою лояльность императору вплоть до развала империи.

Во время разделов Польши Австрии не удалось провести централизованные, инспирированные просвещением реформы в Венгрии и Богемии. Однако в Галиции она добилась значительного успеха. В итоге больше всего от этого выиграли по-

ляки. Галиция, заселенная украинцами, была интегрирована с другими польскими регионами, существовавшими ранее, и приобрела еще более польский характер. Несмотря на утрату независимости вследствие разделов Речи Посполитой, весомое присутствие Польши и ее влияние на историю Украины сохранялись и позже – в другой половине XIX в. это влияние даже возросло. Польская шляхта и далее господствовала над украинским крестьянством, контролируя производственные и информационные (культура и образование) отношения. До революции 1848 г. поляки в целом так же, как и политически сознательные русины, были уверены, что русины – это поляки. Диалект, на котором разговаривали этнические польские крестьяне в западной Галиции, отличался от языка крестьян восточной Галиции, но национальность [nationhood] считалась делом политическим, а не этническим. Выбор польскости означал выбор польского наследия как собственного, вне зависимости от этнического или религиозного происхождения. В связи с этим Ежи Едлицкий (Jerzy Jedlicki) говорит о «метаморфическом понимании наследия»: «оно... включает принятых членов национального сообщества. Поэтому польские крестьяне, ополченные евреи, русины или немцы становились преемниками наследия польской шляхты и всей истории польско-литовского государства»<sup>14</sup>.

Польскому проекту создания нации способствовало то, что на протяжении долгого времени русины сохраняли лояльность к монархии и были религиозны. Если некоторые более образованные русины отказывались от своей веры в имперскую державу и принимали современные идеи, то они становились поляками. Стать поляком в тех условиях для образованного украинца было единственной возможностью стать европейцем в том новом значении, которое появляется после 1789 г. До 1848 г. греко-католическая церковь играла огромную роль в сохранении независимой русинской идентичности, однако не предлагала ни одной современной или же секуляризованной политической альтернативы ополячиванию. Поэтому альтернативы ополячиванию были инспирированы течениями, которые проникали в Галицию от украинцев из Российской империи, а также – частично – из Праги. Изданный в Будапеште в 1837 г. маленький сборник народных песен и стихов *Русалка Дністрова*, написанных на местном языке, стал поворотным пунктом в истории галицких русинов. Его содержание свидетельствует, что авторы книжки были под влиянием своих восточноукраинских побратимов. Молодые люди, которые составляли этот сборник, сознательно направили свои взгляды на восточную Украину, одновременно отзываясь на движение славянского возрождения среди чехов и южных славян в Габсбургской империи. Но этот процесс происходил медленно – мы сможем понять его лучше, если вспомним, сколько хлопот с выбором своей национальной идентичности было у образованных немцев. Большая часть русинов не мыслила в категориях украинской нации не только в 1848 г., но и много лет спустя.

Для австрийских украинцев в 1848 г. взаимоотношения с поляками были главной проблемой. Их национальная революция декларировала независимость от польской нации и непосредственно не направлялась против монархии; это был

разрыв с «ополячиванием», а не «венскостью», не говоря уже о немецком национализме. Поляки, со своей стороны, находились в конфликте и с монархией, потому что стремились к независимости или хотя бы автономии Галиции, которую они считали польской территорией, а также в конфликте с немецкими националистами, которые хотели, чтобы польские земли, принадлежавшие Пруссии, вошли в состав будущей объединенной Германии. То, что монархия (из своих собственных соображений) тоже противостояла немецкому национализму, способствовало заключению соглашения с поляками после поражения Австрии в войне с Пруссией в 1866 г. В результате этого соглашения русины оказались в проигрышном положении.

Во время революционного 1848 г. русины, которые в своем большинстве и позже не могли определиться среди различных национальных альтернатив, впервые появились на сцене модерной европейской истории как украинцы. Василий Подолинский, который перед тем, как заявить о себе как об украинце, идентифицировал себя с поляками, в маленькой книжечке на польском языке *Slowo przestrogi* (*Слово предостережения*, 1848) предложил и описал четыре модели национальных ориентаций, распространенных в 1848 г. среди его соотечественников: русско-австрийская, польская, российская и украинская<sup>15</sup>. Неймер, считая события 1939–1945 гг. реализацией русской программы 1848 г., если бы был исторически корректным, мог бы сказать, что 1939-й – это год реализации *одной* из четырех национальных альтернатив, которые признавали русины в 1848 г.

Как уже отмечалось, в 1848 г. украинский вариант, который обсуждали русины, не был единственным. Некоторые русины оставались лояльными подданными империи, другие считали, что их будущее связано с Польшей, а еще некоторые в поисках своей национальной идентичности посматривали в направлении Москвы и Петербурга. На самом деле, между 1848 и 1918 гг. были периоды, когда пророссийский (москвофильский) выбор преобладал, но во все времена значительное количество образованных русинов, никак не декларируя своих намерений, интегрировалось с польской нацией.

Несмотря на все эти обстоятельства, некоторая часть русинов в 1848 г. требовала, чтобы их признали независимой славянской нацией. Они заявили, что русины – не поляки и не россияне и что их народ проживает не только на землях Австрийской империи. Засвидетельствовав свою безграничную преданность императору, Верховная Русская Рада провозгласила национальное единство с людьми одной с ними нации, которые жили в южной части Российской империи. Они считали, что земли русинов простираются на восток до самого Дона. Марта Богачевская-Хомяк отметила, что Верховная Рада заявила о присоединении галицких русинов к более чем 15-миллионной нации, которая «отличается и от россиян, и от поляков»<sup>16</sup>. Правда, Ярослав Грицак уточнил, что в первом варианте этой декларации была указана другая цифра: «мы принадлежим к галицко-русскому народу, который насчитывает два с половиной миллиона»; это могло означать только одно: русины – это нация, отдельная от тех украинцев, что проживали на территории Российской империи.

Лишь после настойчивых требований Юлиана Лаврийского, члена Рады, который не являлся представителем духовенства, в декларацию была внесена поправка, что галицкие русины принадлежат к малороссийской (украинской) 15-миллионной нации<sup>17</sup>.

То, что Лаврийский не принадлежал к духовенству, было очень существенно. Чтобы увидеть, что галицкие греко-католики и восточные украинцы (в основном православные) – одна нация, необходимо было смотреть на политику с секулярных позиций. Но если вспомнить чехов, которые также метались между различными политическими симпатиями и национальными идентичностями, не говоря уже о противоречивых ответах немцев на вопрос «Что такое Германия?», растерянное положение русинов полностью объяснимо. Окончательно русины сделали выбор в пользу украинского варианта лишь в начале XX в. Они не скопировали славянскую или хорватскую модель формирования нации, которые исключали концепцию единой южнославянской нации, куда вошли бы и сербы. Однако концепция Украины, которая существует вне политических, культурных и религиозных границ (единство русинов в Австрии с украинцами в России) это одно, а реальное воплощение такого единства – совсем другое.

Постепенно галицкие русины начали откликаться на украинскую культуру, которая приходила с востока; они понимали, что это способ, позволит уберечь их от ассимиляции с польской нацией, которой они так долго были подвержены. Значительно позже русины осознали, что украинская культура, которая приходит из России, сформировалась вследствие столкновения украинских возрожденцев с польской культурой.

Поскольку Неймер делал акцент в своей лекции на немецком вопросе, он пропустил российское измерение формирования украинской нации. А это измерение имело свою особенную связь с западным миром. Переход от идеи Руси в 1848 г. к реальной Украине в 1939–1945 гг. имел западное измерение, которое выходило за пределы «венской» схемы. Формирование украинской нации было внутренним, но не изолированным процессом; оно отображало как российско-украинские, так и польско-украинские отношения в Галиции. Российско-украинские отношения также не были изолированными: (1) они происходили в польско-российско-украинском поле, на территории, которая отошла от Российской империи после раздела Польши, и (2) отражали непосредственные взаимоотношения России с Европой (то есть в обход Польши). Поэтому Россия тоже была частью западного измерения Украины на протяжении XVIII и XIX вв. Чтобы понять декларацию 1848 г. о единстве русинов с российской Украиной, необходимо внимательно присмотреться к событиям в интеллектуальной и политической жизни Российской империи накануне 1848 г. – а особенно к польским и украинским политическим программам в их широком понимании.



## ***Между россиянами и поляками: украинцы в российской империи***

В то время как галицкие русины вышли на европейскую сцену благодаря революции 1848 г., их этнические побратимы в Российской империи принимали участие в совсем другом открытии Европы, которое было начато Петром I (1689–1725) и продолжалось во время правления его преемников, включая Екатерину II (1762–1796). С перспективы украинской истории российская «европеизация» способствовала окультуриванию и ассимиляции «Малороссии» с единой имперской культурой и государственным строем. Этот вопрос хорошо освещен в исторической литературе. Однако, как будет дальше показано в этом эссе, процессы, которые переделывали россиян в европейцев и наоборот – «малороссов» в европейских россиянах, также создавали условия, способствовавшие появлению современной идеи независимой украинской нации. Иначе говоря, появлению тех, кто, приняв украинскую идею, захотел войти в «Европу» не российским, а своим собственным путем. В конце концов, этим деятелям удалось нарисовать собственный маршрут и даже убедить галицких русинов присоединиться к ним.

Чтобы понять непростую проблему возникновения раскола между малороссами и россиянами во время процесса европеизации России и ее территориальной экспансии на запад в конце XVIII – начале XIX в., обратимся к работам Лии Гринфелд (Liah Greenfeld) и Мартина Малии (Martin Malia). Исследуя проблему национализма, Гринфелд доказывает, что формирование российской нации было прямым следствием открытости России влиянию запада. Исследователь предлагает сравнительно-теоретическую схему, с помощью которой эту ситуацию можно прояснить. Она утверждает, что для развития националистических идей (для осуществления проектов по формированию нации) должна существовать «надсоциальная система» или общее пространство. «Заимствование предусматривает существование общей модели, а такая модель могла существовать только в социумах, которые однозначно были бы важными друг для друга. Вполне правдоподобно, что впервые такое единое социальное пространство создало христианство, затем, весьма вероятно, Возрождение»<sup>18</sup>. Принимая во внимание, что с начала XVIII в. российские цари старались очертить свое государство в европейском контексте, концепция «единого социального пространства» Гринфелд (если принимать во внимание роль идей в истории нации, было бы лучше сказать: «единое культурное или ментальное пространство») включает Россию в Европу.

Это не означает, что в конце концов россиянам удалось получить признание у европейцев (как и то, что эту идею единодушно поддерживали российские подданные). Вопрос «Россия и Европа» остается актуальным на политической и культурной повестке дня и по нынешнее время, а исследователи трактуют его во множестве самых различных версий. В своей работе, написанной в 1990-х гг., уже после падения советского коммунизма, Мартин Малия утверждает, что «возможность нового

сближения с Россией» связана с «проблемой самой сути Европы». Он заявляет, что традиционный взгляд на Россию как на образование, которое находится в оппозиции Европе, ведет на окольные пути. Поэтому он предлагает «выйти за границы привычного способа мышления реалистов», который «представляет географическую Европу» как «две культурные зоны – Западную и Восточную», а вместо этого рассматривать Европу «как спектр зон, дифференцированных по уровню развития». В обоснование этой позиции он опирается на работы немецких историков, которые, пытаясь рассмотреть Германию в более широком европейском контексте, разработали концепцию *das West-ostlicher Kulturgefalle* (западно-восточного культурного склона). В своем исследовании о России Малиа утверждает, что он соглашается «с точкой зрения... по которой Россия, безусловно, внизу склона, но тем не менее она – часть Европы»<sup>19</sup>. Малиа поясняет, что не только немцы рассматривают «современную Европу как такой склон: это выглядит достаточно убедительно для граждан любой нации между Рейном и Уралом, от чехов и венгров до поляков и россиян»<sup>20</sup>. Я согласен с ним в том, что Россию следует считать частью Европы, но в то же время должен отметить, что Малиа не особенно углублялся в определении места тех или иных стран на этом склоне. К тому же он упорно не признает существование Украины на склоне между Польшей и Россией, что весьма обидно для меня, хотя и вполне естественно, поскольку для многих западных экспертов Украина остается некой *tabula Russia*, или *непредсказуемой* нацией<sup>21</sup>, частично из-за того, что они игнорируют пространство, которым когда-то владели Польша и Россия.

Исследования примера украинского формирования нации убедительно подтверждают более глобальную концепцию Доминика Ливена (Dominic Lieven) о роли идей в сфере политики. По мнению Ливена, «расцвет и упадок империй тесно связан с историей идей: они влияют на историю намного больше, чем обычно считают материалисты»<sup>22</sup>. Когда имперская Россия впервые открылась Западу, вполне логичным было ожидать интеграции «Малороссии» с новым государством, которое только-только начало формироваться в европейско ориентированном Петербурге. Марк Раэфф (Marc Raeff) так подытожил динамику ассимиляции Украины в европейско заангажированную Россию:

«Центр самой популярной и динамичной культуры Просвещения, который поддерживал непосредственный контакт с миром европейских идей, находился в России; образовательные и культурные институты Санкт-Петербурга (в меньшей степени Москвы) задавали тон и темп: теперь они влияли и на украинцев. Казалось, все словно стоворились интегрировать украинские элиты и украинскую культуру в имперскую, что фактически вело к русификации, поскольку российская политическая культура в империи была доминантной и монополюной»<sup>23</sup>.

Формула Раэффа подтверждается конкретными данными о поведении членов украинской образованной прослойки. В упомянутой выше монографии Гринфелд отмечает, что среди образованной элиты в российских столицах во время правления Екатерины II существовал высокий процент выходцев из Украины. Это и по-



нятно, потому что в период правления Екатерины II сеть школ в Украине была лучше развита; образованные украинцы хотели служить в Санкт-Петербурге в различных административных, образовательных и иных институтах. Они принадлежали к самым решительным сторонникам конструирования имперской российской национальной идентичности. Можно добавить, что украинцы «русифицировались» еще и потому, что для них это был способ стать европейцами.

Однако существовали границы западной, или европейской, ориентации России. Инициированное государством «открытие» Европы находилось под строгим контролем, было избирательным и не позволяло переносить с Запада современные политические идеи и институты вроде таких, как представительные органы, независимый суд или свобода прессы. Это нежелание эволюционировать в западном направлении стало особенно заметным в конце правления Екатерины II и ее непосредственных преемников – царя Павла I (1796–1801) и Александра I (1801–1825). Все сомнения относительно направления эволюции развеялись во время правления Николая I (1825–1855) провозглашенными тогда лозунгами *православия, самодержавия и народности* как основных принципов российской государственности. Если принять гастингсовское определение нации как самостоятельного существования, независимого от государства, можно сказать, что препятствием процессу формирования модерной российской нации стала царская идеология и политика.

Такой поворот в развитии империи для многих оказался неприемлемым, особенно для жителей тех территорий, откуда происходили (в нескольких поколениях) сторонники европеизации России. Высшие слои «Малороссии», то есть Левобережной Украины, составляли социальную прослойку, которая была в определенном смысле похожа на польскую шляхту – даже если она и состояла в основном из потомков казаков, которые воевали против поляков в XVII в., – поскольку они воспринимали себя носителями малороссийских традиций и вольностей. Нелишне напомнить, что эти традиции и институты были наследием украинского прошлого со времен польско-литовского государства и Украина не ассоциировала их с Великороссией или Московией. Поэтому даже после того, как Малороссия оказалась под властью царей, она сохраняла систему, которая опиралась на правовые нормы, а большинство старост избиралось (путь и формально), а не назначалось. Модернизация, осуществленная Екатериной (она распространила российскую административную систему и на эти земли), положила конец упомянутым традициям. Несмотря на это, малороссийские элиты оставались лояльными к государству и приняли официальную имперскую доктрину, но вместе с тем представители именно этого социального слоя – члены культурного сообщества – в конце XVIII – начале XIX в. создали собственную идеологию, в которой украинцы представляли такой же нацией, как россияне и поляки. Формирование идеи украинской нации происходило на протяжении тех десятилетий, на которые – по Армстронгу – приходится начало эпохи модерных наций и национализмов. В конце XVIII в., как весьма метко выска-

зался Джон Ледонн [John LeDonn], когда «автономия Малороссии стала значительно ограничиваться, появилась Великая Украина...»<sup>24</sup>

Пожалуй, точнее будет сказать, что сначала была сформулирована *идея* Великой Украины. К тому же представления об Украине – намного большей, чем «Малороссия» (уже исчезнувшая), оказались к месту в ситуации тех геополитических изменений, которые тогда происходили в Восточной Европе. Таким образом – с перспективы украинской истории – можно сделать вывод, что после того, как Россия присоединила Правобережную Украину и получила власть над большей частью земель Речи Посполитой, были созданы условия, которые способствовали формированию украинской национальной идеи. После разделов Речи Посполитой в 1793 и 1795 гг. как Левобережная, так и Правобережная Украина оказались под властью одного правительства. Киев, который до сих пор находился на границе двух Украин, становится центром, где могли встречаться левобережная и правобережная элиты. Украинцы из-за Днестра снова оказываются с глазу на глаз перед поляками, но теперь уже поляки такие же царские подданные, как и украинцы. Представители украинской интеллигенции, которая активно формировалась, завязывают прямые и даже личные контакты с деятелями польского культурного и политического движения. Они узнают, что кроме «окна в Европу», в Санкт-Петербурге, туда пролегает и более *короткий* путь – через Польшу. Кроме того, в отличие от лишь частично европеизированной России с ее традиционным царским самодержавием, поляки в свою программу включили западные либеральные и демократические идеи и институты. (Завоевание Россией южного Причерноморья также давало материал для размышлений об Украине, но эта тема выходит за границы нашего исследования.)

Поляки были не просто одной из «национальностей» многонациональной Российской империи. Джон Ледонн пишет, что Польша была не приграничьем, а своего рода центром – и это свидетельствует о бессмысленности частого сравнения Финляндии и Польши в составе Российской империи. Как центр, Польша формировала сильную социальную, религиозную и культурную целостность, наполненную необычной энергией, которую можно было остановить только еще большей силой<sup>25</sup>.

Аргументы Ледонна убедительны, и к ним еще можно добавить, что так называемое Польское Королевство (созданное в 1815 г. на Венском конгрессе из земель, захваченных Пруссией и Австрией в 1795 г.), как социальное и культурное пространство, простиралось далеко на восток, вплоть до границы с Речью Посполитой 1772 г. А что касается Киева, который столкнулся со своеобразным «ополячиванием» *после* 1795 г., то польское влияние относительно его просочилось даже за некогда существовавшую границу. Не только Вильнюс с его польским университетом, но и разноязычный Киев был польским городом под царской властью: в Киевском университете, основанном царским правительством 1834 г. для деполонизации, в середине века училось больше польских студентов, нежели российских и украинских вместе взятых. Даже Харьковский университет, основанный в 1804 г. при содействии Адама Чарторьского, который поддерживал контакты с польскими и другими европей-

скими университетами и библиотеками, был своеобразным звеном, непосредственно соединяющим Украину с Европой – минуя Санкт-Петербург.

Эти примеры могут служить конкретным подтверждением взглядов Ледонна. Хотя Россия захватила польские земли и таким образом приблизилась к Европе, ее «европеизации» это не помогло. Вера Тольц заметила, что вследствие объединения своих земель Польша стала «внутренним Западом России». А внутренние российско-польские конфликты усложнили проблемы самой России и тем самым выявили отличие между Россией и Европой<sup>26</sup>.

В начале 1820-х гг. идеи нации, приобретающие все большую популярность в немецких и славянских владениях Габсбургов, стали поддерживаться польской интеллигенцией в Варшаве и Вильнюсе. Одним из последствий этой новой тенденции было зарождение интереса к литовскому и белорусскому языкам, их фольклору и истории. Из этого интереса впоследствии сформировалось убеждение, что белорусы и литовцы – независимые нации, а не ответвления польской, в чем так были уверены поляки. Возможно, присутствие поляков также способствовало развитию национализма у этих народов, которые раньше жили на землях Речи Посполитой и Российской империи. Мы готовы согласиться с польским историком Александром Гейштором, который называет украинцев и другие непольские народы, как и современных поляков, «нациями-наследницами» некогда существовавшей Речи Посполитой<sup>27</sup>.

Можно сказать, что украинское национальное «пробуждение» начиналось на территориях, которые и поляки и россияне (имея на то свои собственные причины) считали или польскими, или российскими. Новая украинская интеллигенция протестовала против претензий поляков на Украину, которая должна была стать частью обновленной Польши и отвергала подобные претензии россиян. Однако она была готова воспринимать польские – то есть западные или «европейские» – идеи. Это было наиболее заметно в Киеве, где в середине 1840-х появляется первое серьезное украинское интеллектуальное и политическое товарищество – Кирилло-Мефодьевское братство. Кирилло-мефодьевцы переняли многие идеи, распространенные в Польше, и очень симпатизировали взглядам, которые отстаивал Мицкевич в изгнании в Париже. Деятельность товарищества завершится арестами его лидеров, среди которых был и Тарас Шевченко. Главной идеей представителей братства – и наиболее разрушительной с точки зрения имперской идеологии – было то, что среди славянского сообщества народов, куда входили все западные и южные славяне в границах Российской империи, теперь появлялась украинская нация, которую следовало признать равной с польской и российской<sup>28</sup>.

В то же время открытость деятелей раннего украинского движения относительно поляков имела свои границы. Как мы уже говорили, поляки не воспринимали украинцев как независимую нацию и мечтали о восстановлении Польши в границах, существовавших до разделов Речи Посполитой. Украинцы никак не могли с этим согласиться, хотя у них уже и не было иллюзий относительно России.

Даже тогда, когда Россия заняла господствующие позиции (те, которые занимала Польша на землях Речи Посполитой), в обыденной жизни польское господство над украинцами сохранялось, как и на землях, занятых Австрией. Польские помещики господствовали и над украинским крестьянством (хотя это господство уже было лишь над остатками старого аграрного мира, который стремительно приходил в упадок). Естественно, что это послужило началом еще одного украинско-польского конфликта, но уже с сильно выраженным социальным компонентом (крестьяне против помещиков). Осознавая опасность социального и национального антагонизма, согласимся с польским историком Яном Кеневичем, который, обобщая эту ситуацию, утверждает:

«Представляется, что пространство польско-украинского конфликта уходит так далеко, как простирается восточная граница Европы, поэтому очень важно проникнуть через взаимные обвинения и понять природу конфликтной ситуации. Кроме того, обеим сторонам очень непросто увидеть, что конфликт происходит в ТОЙ САМОЙ цивилизации. Специфика этой территории заставляет обе стороны конфликта считать, что их цивилизационный выбор полностью противоположный... [Поляки не соглашались, что они с украинцами из одной цивилизации; украинцы видят в поляках чужих – и возражают против их европейскости]... Одним словом, драматизм и эмоциональное напряжение польско-украинского конфликта – это следствие его внутриевропейского характера»<sup>29</sup>.

Украинско-польская проблема в интерпретации Кеневича подтверждает аргумент Лии Гринфелд о том, что формирование нации происходит в общем социальном (и – вдобавок – культурном) пространстве, и корректирует предположение Мали о польском и российском «склоне». Но если Кеневич прав, значит, следует признать, что украинский «склон» присутствует и в первом, и во втором случаях.

А сейчас вернемся к российской стороне «склона». Хорошо видно, что в XIX в. и российское правительство, и российские образованные слои в основном рассматривали украинский феномен (*украинофильство*) всего лишь как региональный и культурный. Он согласовывался с общим представлением о «малороссиянах» как о ветви великого русского народа, к которому принадлежали также великороссы и белорусы. Так продолжалось вплоть до 1860-х гг., когда после польского восстания 1863 г. *украинофильство* было официально оценено как попытка разрушения единства России<sup>30</sup>.

Некоторые из россиян (враги царизма) намного раньше власти поняли, что *украинофильство* имеет политическое измерение, даже если оно и маскируется под культурное движение, которое занимается всего лишь местной историей, фольклором, музыкой и литературой. Среди этих россиян, видевших в *украинофильстве* «поддержку» политических ценностей, который подавлял царский режим, был Кондрат Рылеев (1795-1826), один из ведущих декабристов и участник восстания. Некоторое время Рылеев жил в Украине, занимался украинской историей и этнографией и даже написал поэтическое произведение *Мазена*. Историк-эмигрант Николай

Ульянов, автор полемической работы, которая «разоблачала» национализм (вышла в 1960-х), ссылается на Рылеева, чтобы сделать следующий вывод: «российский космополитичный реализм на украинской почве превратился в локальный автономизм». «Декабристы первыми солидаризировались с украинофильством и создали традицию (в этом контексте) для развития дальнейшего революционного движения». В подтверждение Ульянов цитирует украинского ученого и общественного деятеля Михаила Драгоманова (1841–1895), который пишет, что «первую попытку в поэзии связать украинский либерализм с украинскими историческими традициями сделали не украинцы, а великоросс Рылеев»<sup>31</sup>.

Если Ульянов, а до него Драгоманов правильно интерпретировали позицию Рылеева, то можно сделать вывод, что для декабристов (а можно пойти еще дальше и допустить, что для украинофилов также) украинский проект был частью маршрута в Европу, составленного после интеллектуального общения с поляками, маршрута, который становился альтернативой официальной позиции России в отношении с Европой.

«Европейская» тема постепенно становится доминантной в украинских дискуссиях о природе отличия Украины от России. Тезис о том, что исторические связи украинцев с Европой отличают их от россиян, превращается в символ украинской национальной идеологии. В своем эссе *The Ukrainian-Russian Debate over the Legacy of Kievan Rus', 1840-1860s* (Украинско-российская полемика о наследии Киевской Руси, 1840-1860-е) Ярослав Пеленский делает обзор произведений видных представителей украинской позиции и цитирует Николая Костомарова, по мнению которого «основные отличия между украинцами и россиянами основывались больше на социополитических факторах, нежели на этнических, языковых или религиозных». (Как и можно было ожидать от историка, Костомаров считал, что эти отличия были уже очевидны в средневековье, а также допускал, что новгородцы – то есть одна из ветвей великороссов – имели с украинцами больше общего, чем с великороссами, которые отдавали предпочтение «централизованному правлению».) Пеленский отмечает, что в своих исторических рефлексиях Костомаров использует понятие «сообщество», которое в западной терминологии известно как открытое общество или даже гражданское сообщество. В этом смысле Костомаров не только заложил основу украинско-российского политического диалога – с украинской перспективы, – но и начал модерный анализ отличий между традиционными социополитическими системами двух стран<sup>32</sup>.

Украинские интеллектуалы XIX–XX вв., даже если и расходились в политических взглядах на злободневные проблемы, оставались на позициях, сформулированных их предшественниками в 1840–1860-х гг. Поэтому видный представитель украинского народничества Драгоманов, которого мы упоминали выше, подчеркивал, что «национальные отличия между Украиной и Москвой можно объяснить тем, что до XVIII в. Украина была теснее связана с Западной Европой». Однако консервативный идеолог Вячеслав Липинский настаивает на том, что:

«Главное отличие между Украиной и Москвой – это не язык, не племя, не вера... а иная политическая система, которая развивалась столетиями, не подобные методы организации правящей элиты, другие отличия между высшими и низшими слоями, между государством и обществом – между теми, кто управляет, и теми, кем управляют»<sup>33</sup>.

В первых десятилетиях XX в. складывается ситуация, в которой аргументы историков и национальных мыслителей еще можно было проверить на политической практике. В этом коротком эссе мы только перечислим самые важные факты российской истории того времени: подготовка к Великой Войне, сама война, лишение царя престола, создание Временного правительства, его падение, приход большевиков к власти, их победа в гражданской войне. Однако, чтобы понять смысл того, что произошло, обратимся к нескольким авторитетным интерпретаторам, которые рассматривают эти события в широком историческом и компаративном контексте. Современный историк Доминик Ливен предлагает короткую формулу к историческим событиям, которые исследовали Гринфелд и Малия: «Даже в 1914 году россияне на самом деле еще не были нацией»<sup>34</sup>. В начале 1918 г. Томаш Масарик, наблюдая за тем, как разворачиваются события в России, пришел к подобному выводу. И про российских революционеров, и про российские народные массы Масарик пишет: «Они избавились от царя, но и до сих пор не избавились от царизма»<sup>35</sup>. В 1935 г. Петр Струве, замечательный историк, который отстаивал идею формирования наций в России по западному образцу и активный политический деятель до и после 1914 г., описал революцию 1917 г. как «*политическое самоубийство политической нации*» и назвал ее «наиболее деструктивным событием в мировой истории»<sup>36</sup>.

Такое радикальное «отступление» от Неймеровой Галиции 1848 г. создает широкий контекст, в котором можно проследить, как русины шли к созданию единой нации с украинцами в Российской империи. И наоборот, это позволяет увидеть картину провала российского проекта в Галиции. Между 1848 и 1914 гг. были периоды, когда большинство национально сознательных русинов высказывали пожелания принадлежать нации, которая бы состояла из великороссов, белорусов и малороссов. Констатация их неудачи еще не означает, что эта неудача была исторически неминуема. В контексте нашего исследования одна из возможных причин провала российского проекта в Галиции видится в том, что самодержавие препятствовало формированию либеральной, западной и «европейской» российской нации. Внутренняя политика России отразилась и на Австрии: поборники российской идеи зависели тут от поддержки российских правительственных кругов и поэтому должны были избегать критики российского самодержавия. Москвофилы поддерживали идею российской нации, которая зависела от царской власти и официальной церкви, а такой национальный проект мало привлекал австрийских русинов, привыкших жить в конституционном и либеральном государстве. То, что произошло, а точнее – то, что не произошло в Санкт-Петербурге в 1825, в 1860-х гг., и даже в 1880-х гг., возможно, сильно повлияло на последствия борьбы двух национальных



проектов в Галиции. Разве случилось бы во Львове то, что случилось, если бы парламент в России появился в 1860-х, а не после революции 1905 или если бы россияне стали нацией в 1914, а может даже до 1914 г.?

Это может показаться парадоксальным, но в 1914 г. «безгосударственные» галицкие русины были нацией в том понимании, в котором россияне «в своей собственной» империи нацией не были. Уже тогда для всех было очевидно, что украинцы как австрийские подданные в Австро-Венгерской монархии имели больше личных и политических свобод, нежели украинцы и даже *россияне* в России. Украинская национальная идея и политические идеи украинофилов соответствовали «европейской» правовой и политической системе и демократическим ценностям, о чем свидетельствует пример Австрии, где украинцы хотели больше «Европы»: демократических реформ, более широких национальных прав, наделяния автономией украинской части Галиции – и не хотели самодержавия, даже если бы это было *российское* самодержавие.

Выбор украинской идентичности означал, что галицкие русины признали себя принадлежащими к значительно большей нации, основная часть которой находилась в России. Таким образом, они согласились с интеллектуальным превосходством Востока. Русины приняли концепцию истории, предложенную «востоком», и эта история стала их наследием. Как пишет Сергей Плохий, идея украинской государственности основывалась «на двух основных концепциях. Первая: Украина – единая прямая наследница средневековой Киевской Руси, другая – ее основание сформировано украинским казачеством». Он утверждает, что «восточник» Михаил Грушевский сыграл особенную роль в преобразовании этих двух мифов в краеугольные камни украинской истории. К этому можно только добавить, что Грушевский, выпускник Киевского университета, написал свои основные работы тогда, когда был профессором Львовского университета (1894–1914)<sup>37</sup>.

Будучи открытыми украинской идее и соглашаясь на ведущую роль Востока (еще до Грушевского Драгоманов оказал существенное политическое влияние на галичан), галичане стремились помочь своим соотечественникам в Российской империи. Особенно ценной их помощь была после революции 1905 г., когда восточные украинцы наконец получили возможность создать собственную прессу, различные культурные товарищества, кооперативы и т. д. После войны в 1914 г. «украинско-украинские» отношения вышли на качественно иной уровень, особенно после падения царизма и провозглашения Украинской Народной Республики в ноябре 1917 г. В период между мартом и ноябрем 1917 казалось, что российские демократические силы и сторонники украинской автономии смогут найти *modus vivendi*, который устроил бы обе партии. Если бы такое случилось, то вполне вероятно, что украинская часть Галиции после падения Габсбургской монархии (в результате победы союзников) присоединились бы к российской Украине. Возможно, они вместе стали бы автономным членом демократической многонациональной федерации с Россией, а может, обрели бы независимость как суверенное украинское государство.

Однако демократическая Россия не выстояла – она совершила «самоубийство», как высказался Струве, и во время гражданской войны, которая началась после этого, и «красные» и «белые» сражались против украинцев. Все закончилось тем, что красные разгромили и белых и украинцев. К лету 1919 г. поляки захватили всю Галицию, и граница, которая установилась между Советской Россией и Польшей после войны 1920 г., оставила Галицию на польской стороне. Рискнем предположить, что на результаты польско-украинской войны за Галицию 1918–1919 в значительной степени повлияли петроградские события ноября 1917 г.: «самоубийство» России не позволило украинцам обрести независимость и тем самым помешало объединению Галиции с российской Украиной.

Тогда как для российских либералов «1917» означал разрыв с «Европой» и поворот к «Азии», для коммунистов он был свидетельством, что Россия берет на себя роль лидера в движении человечества к новой коммунистической цивилизации, заявленной в «Коммунистическом манифесте». Вместо того чтобы догонять Европу, Россия предлагала себя в качестве образца, которому Европа должна следовать. То, что «Россия» распалась как империя и нация – в буржуазном понимании, – было бы более чем достаточно компенсировано созданием нового исторического сообщества, которое в следующие десятилетия существования советской системы официальные идеологи назовут «многонациональным советским народом». Однако в конечном итоге советская система повторила ошибки своей предшественницы-империи. Как считает Йоганн П. Арнасон, советская «анти-парадигма модерности, очевидно, самая важная из таких парадигм», не смогла реализовать марксистский проект и вместо этого «возродила имперскую систему в новых формах». Более того, она даже активизировала имперские «саморазрушительные силы»<sup>38</sup>.

### ***Последний акт «1848-го»: 1945–1991***

Должно было пройти более 70 лет, чтобы «саморазрушительная динамика» коммунизма пришла к своему логическому завершению. Лишь после развала советской «контрпарадигмы модерности» русины габсбургской Галиции (на это время уже полностью уверенные, что они – украинцы) смогли заявить о своем желании жить вместе со своими восточными соотечественниками в независимом государстве Украина. Это они и сделали – дважды – в 1991 г. Сначала в марте на всенародном референдуме, где должно было решиться будущее Советского Союза. Михаил Горбачев организовал этот референдум, чтобы сохранить Советский Союз как единое государство, но три западноукраинские области – советская часть некогда существовавшей австрийской Галиции – проголосовали за независимость Украины. (В марте 1991 г. возможность сделать такой выбор была только здесь.) Затем эти регионы подтвердили свой выбор на всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 г., когда уже все украинцы могли голосовать за или против независимости – то есть за



СССР или за отделение от него. (Более девяноста процентов украинцев проголосовало за независимость.)

Около 70 лет отделяет распад Габсбургской монархии от развала Советского Союза. То, что казалось Неймеру осуществлением русской программы 1848 г., на самом деле было результатом тайного соглашения, заключенного в сентябре 1939 г. между Советским Союзом Сталина и гитлеровской «Великой Германией». Это соглашение в его основных положениях было ратифицировано военными союзниками СССР и, наконец, подтверждено советско-польским договором о границе (1945). Ни одно из этих соглашений не отражало желаний самого населения.

Но Неймер был прав, когда утверждал, что «1945» начал эпоху европейской истории. На самом деле, эпоха после 1945 *была* новой эпохой, и немецкий вопрос и все, что связано с ним, разворачивалось в новых исторических условиях. С одной стороны, начался процесс европейского объединения: с «Объединения угля и стали», потом – Единого рынка, НАТО и, наконец, Европейского союза. С другой стороны, организовывался советский блок «Социалистическое содружество». Однако после поражения «Великого немецкого рейха» остались неразрешенными не только украинская, но и многие другие, возникшие в 1848 г. проблемы, и самой важной из них была немецкая. Как видим, история Украины оставалась тесно связанной с историей Германии вплоть до последних десятилетий XX ст.

Послевоенная немецкая история хорошо известна. Германия понесла значительные территориальные потери в пользу Польши, в меньшей мере – в пользу СССР (Кенигсберг стал Калининградом). На руинах Grossdeutschland впервые появляется то, что можно назвать «Keindeutschland», которой управляли сразу четыре великие державы, но потом даже и эти остатки Германии были поделены на «Немецкую Федеративную Республику» и контролируемую Советским Союзом «Немецкую Демократическую Республику». Кроме того, был поделен Берлин, а Австрия после семи лет пребывания в составе гитлеровской Германии была восстановлена как независимое государство.

Потребовалось почти пятьдесят лет, пока «немецкий узел» в новой версии не был развязан так, чтобы все оказались удовлетворенными. И это разрешение проблемы самым непосредственным образом было связано с политическими изменениями в СССР и процессами внутренней либерализации в восточноевропейских государствах, которые освобождались от московского контроля. В 1990 г. НДР прекратила свое существование, а ее «земли» вошли в состав Федеративной Республики. На известный вопрос «Что такое Германия?» был найден ответ, который трудно было предвидеть в 1848 г., но который теперь, кажется, смог удовлетворить всех. Польша и Чехословакия, безусловно, были довольны, тем более что Федеративная Республика признала границы 1945 г., положив, таким образом, конец некогда существовавшим польско-немецким и чешско-немецким конфликтам. Послевоенную зависимость восточно- и центральноевропейских государств от СССР маскировали идеологией, которая призывала к строительству социализма и коммунизма и напоминала о том,

что все они принадлежат к «социалистическому лагерю», хотя часто звучал и другой, более убедительный аргумент: Советский Союз защищает Польшу и Чехословакию от угрозы «западноевропейского реваншизма». Когда Федеративная Республика еще до объединения Германии отрекалась от каких-либо «реваншистских» попыток, полякам (как и другим) стало легче добиваться для себя демократии и независимости от СССР. Однако конец немецкой угрозы не гарантировал сохранение всех государств, которые мы можем назвать наследниками Габсбургской монархии. Вскоре после объединения Германии распались Югославия и Чехословакия, и в обоих случаях здесь можно услышать отголосок событий 1848 г.<sup>39</sup>

В украинской истории, безусловно, можно увидеть связь между событиями 1848 г. и конца XX в. Украина обрела независимость через год после объединения Германии. Хотя Германия сыграла и негативную роль в украинской истории 1941–1945 гг., оказалось, что «переплетение» историй Украины и Германии в конце 1980-х – начале 1990-х гг. было положительным для украинцев. Все соглашаются, что решение немецкого вопроса стало возможным лишь благодаря политике перестройки и гласности в СССР, главную роль в которой сыграл Михаил Горбачев. Менее понятно – процитируем Филиппа Зеликова (Philip Zelikow) и Кондолизу Райс (Condoleezza Rice), – «как оценивать роль, которую сыграло объединение Германии в распаде Советского Союза». Зеликов и Райс соглашаются, что политика Горбачева в отношении Германии ослабила его политические позиции в собственной стране, из-за чего националисты подняли голову, но это, в свою очередь, помогло избавиться от советского контроля над Восточной Европой. Советский Союз распался вскоре после расторжения Варшавского договора, и Российская Федерация оказалась «приблизительно в границах России Петра I»<sup>40</sup>.

Вместе с молодой независимой Россией и еще другими тринадцатью постсоветскими государствами обрела независимость и Украина. Наблюдая за первыми месяцами существования этого государства, некоторые западные (и российские) аналитики предсказывали, что Украина развалится так же, как Югославия. Они указывали на несколько потенциальных линий разлома: одна из них – некогда существовавшая граница между Австро-Венгрией и Россией; другая – граница между преимущественно католическим западом и православным востоком (на эту опасность обращали внимание последователи теории «столкновения цивилизаций»); и наконец, возможность распада на регионы, где разговаривают на украинском и русском языках (интерпретация югославского конфликта, который основывался на «этничности»). Некоторые наблюдатели ожидали, что первым «отколется» Крым, а Донбасс и Одесса будут следующими.

Ни один из этих сценариев не стал реальностью. Хотя Украина, которая обрела независимость в 1991 г., не была слишком интегрированной страной. Кроме Галиции, в нее входили еще два региона, аннексированных Советским Союзом после Второй мировой войны: так называемая Закарпатская Украина, которая двадцать лет была частью Чехословакии (а до этого – Венгрии), и северная часть австрийской

провинции Буковины, между войнами оказавшаяся в составе Румынии. Население этих территорий на протяжении многих поколений жило под властью Габсбургов, потом еще двадцать лет под властью их преемников, правление которых, несмотря на свои многочисленные недостатки, существенно отличалось от сталинского Советского Союза 1930-х гг. Хотя Львов, Ужгород и Черновцы оказались в той самой советской республике, что и Донецк, Луганск, Харьков и Полтава, восточная и западная части Украины имели не много общего. Становление украинцев как единой нации, впервые озвученное в программе 1848 г. как романтическая концепция, было бы сложно и мучительно даже в самых благоприятных условиях и потребовало бы невероятных усилий, но после 1945-го украинцы не смогли осуществить эту идею, поскольку все они стали советскими гражданами. Что касается того момента, когда во время войны советские войска снова заняли всю Украину, то Вильям Генри Чемберлен (William Henry Chamberlin), отмечая «сильные сентименты и культурные связи между этими двумя частями украинского народа», не без оснований вопрошал: не будет ли «упрямая верность националистическим и религиозным идеалам» жителей Западной Украины «препятствовать советской власти и не повлияет ли на их братьев по крови, советских украинцев»<sup>41</sup>.

Прошло немало лет, прежде чем мы получили ответ на вопрос Чемберлена. Западные регионы Украины стали советизированными больше, чем хотелось бы их жителям, но последние, в свою очередь, «повлияли» на восточную часть страны и, безусловно, «препятствовали советской власти» на протяжении последующих лет существования СССР, а затем проголосовали за независимость. В 1989–1991 гг. по крайней мере Львов и Киев действовали на удивление единодушно, а это значило очень много, когда решался вопрос, быть или не быть независимости.

К другим важным факторам, которые повлияли на события в Украине во время распада Советского Союза и объединения Германии, следует отнести изменения в польско-украинских отношениях. Задолго до 1991 г. демократические силы в Польше решили поддержать украинские национальные устремления. Маловероятно, что Сталин – или его преемники – могли бы себе вообразить, что, благодаря тому что к УССР перешли те польские территории, которые до 1939 г. заселяли украинцы, можно будет положить конец давним историческим конфликтам между этими двумя нациями и что когда-то поляки поддержат украинцев в их противостоянии Москве. Польша была первой страной, которая признала независимость Украины – через день после референдума 1 декабря 1991 г. Также Польша поддерживала борьбу за независимость литовцев и белорусов, несмотря на воспоминания о некогда существовавшей вражде между этими «нациями-наследницами» Речи Посполитой. Много лет польские политики и писатели роптали на фатальное геополитическое положение своей страны: в начале 1990-х гг. они увидели, что Польша оказалась в совсем иных геополитических условиях, чем была прежде, поскольку все страны, которые до этого были соседями Польши, исчезли. Для Украины изменения оказались не менее радикальными: она не только обрела независимость,

но и впервые на западе стала граничить с дружественным соседом. Историческая трансформация конфликтных украино-польских отношений в добрососедские поставила Украину относительно России в положение, которого она до сих пор никогда не занимала: теперь, когда Украина разрешает свои противоречия с Россией, ей не надо бояться угроз со стороны Польши.

### ***Эпилог – пролог?***

Подытожим в нескольких словах «европейское измерение» возникновения современной Украины и поясним, почему в этом эссе мы сосредоточились на австрийских или «венских» отношениях, а другие составляющие так называемого «европейского измерения» рассматривались не столь подробно. Про отношения Украины и России все знают – кто же не слышал о «трехстах годах» пребывания Украины под Россией? Про отношения с Польшей знают меньше. Поэтому мы стремились показать, что на самом деле лишь незначительная часть украинских территорий была связана с Россией так долго. Выше мы говорили, что даже после того, как большая часть Украины оказалась под Российской империей, поляки здесь остались и значили гораздо больше, чем обычно считают. Современная украинская идентичность начинает формироваться в составе Российской империи, в историческом Гетманате или «Малороссии», однако этот процесс происходил не только в российском, но также в том культурном и социальном пространстве, в котором доминировали поляки. Поэтому, определяя как значительную роль Санкт-Петербурга и Варшавы, подчеркнем, что на «венские» отношения Украины с Европой также необходимо обращать куда большее внимание, чем это обычно делают, и что наследие 1848-го – это не только история, оно имеет серьезное значение и для Украины в начале XXI в.

Габсбургская монархия не была обычным анахроничным продолжением «Священной Римской империи». Сегодня, наверное, вызовет смех то, что австрийский император называл себя еще и королем Венгрии, Чехии, Хорватии, эрцгерцогом и хозяином Австрии, а также маркграфом Моравии и великим князем Краковским и т.д. Много ли украинцев помнит, что до конца 1918 г. австрийский монарх величал себя также «Королем Галиции и Лодомерии» – то есть считал себя наследником средневековых галицких и владимирских князей. Однако эти средневековые титулы определенным образом связаны с современными реалиями. Если посмотреть на карту Европы 1840-х гг., можно увидеть, что Братислава и Прага, Буда, Пешт и Загреб, Дубровник и Краков, Люблина и Львов, Венеция и Тернополь, Милан и Черновцы – назовем их так, как они называются сегодня (некоторые из этих названий в 1848 г. еще не были придуманы) – управлялись из одного центра, хотя – должны это признать – не с одинаковым успехом<sup>42</sup>. Житель Черновцов, если мог себе это позволить, беспрепятственно ехал в Милан или Венецию, не пересекая международную границу. Когда некоторые австрийские русины ездили слушать оперу в театры

Ла Скала или на побережье Далмации, один из них, Юрий Федькович (1834–1888), «написал первое стихотворение на украинском языке» (тогда он служил в армии в Южной Италии), а «до этих пор писал на немецком», – читаем в *Encyclopedia of Ukraine*<sup>43</sup>. Будет ли правильно допустить, что контакты с Италией вдохновили основателя современной украинской литературы в австрийской Буковине перейти на язык Котляревского и Шевченко? Если это на самом деле так, тогда биография Федьковича становится иллюстрацией концепции Гринфелд и Мали о едином социокультурном пространстве, в котором развивается современное национальное самосознание.

Возвращаясь от географии к истории, напомним, что в 1848 г., когда крепостничество в монархии было упразднено окончательно, австрийские крепостные украинцы также стали вольными, и что украинцы, включая и вольных крестьян, в 1848 г. принимали участие в выборах конституционной ассамблеи – Рейхстага. И среди избранных послов было несколько бывших крепостных, они голосовали вместе с поляками, румынами, словенцами, немцами и итальянцами, для которых это также был первый подобный опыт. Как бы мы критично ни относились к Габсбургской монархии после 1848 г., галицкие и буковинские украинцы жили в правовом государстве (Габсбургская монархия была правовым государством – *Rechtstaat*), могли свободно создавать различные товарищества, вплоть до политических партий, заниматься политикой на местах, в своей провинции и государстве, а их язык признавался в образовательной, административной и правовой сферах. Короче говоря, для этих украинцев Европа означала не только абстрактные и благородные идеи. Она была для них (хоть и не в полной мере) реальным опытом. Чтобы понять это, приведем один пример. Если во время реакционного царского режима российское народничество все больше склонялось к революционным настроениям и силовым методам, Драгоманов (он родился и учился в российской Украине) получил поддержку в Галиции, где его ученики могли свободно применять наработанные им «евро-народнические идеи» в общественной и политической деятельности, создавать общественные и культурные институции, в которых эти идеи становились реальностью.

Безусловно, мы не намерены утверждать, что галицкие и буковинские русины были больше европейцами и украинцами, нежели их побратимы в российской Украине. Мы только утверждаем, что превращение «русинов в украинцев», формирование их национальной идентичности, которое одновременно означало самоопределение в качестве европейской нации, было следствием контактов и взаимоотношений (Полтава, Харьков и Киев сыграли здесь роль инициаторов и, на какое-то время, лидеров) вне границ Российской империи. Деятели украинского движения помнили об этом, потому что хорошо знали положение Галиции накануне Первой мировой войны, и считали достижения австрийских соотечественников своими собственными. Они объясняли отличия в положении двух Украин тем, что одна из них была европейским государством. Они думали, что и центральным землям их

страны жилось бы так же, если не лучше, если бы им были предоставлены такие же возможности. Однако известные события 1918 г. и все, что происходило после них, привели не только к гибели «европейской» России, но и к поражению демократической Украины.

Нужно ли подчеркивать, что проблематика этого эссе не только историческая? Антисоветская революция 1989–1991 гг. и крах российской/советской империи дали народам Центрально-Восточной Европы возможность присоединиться к новой Европе, Европейскому союзу, который Западная Европа начала строить еще до завершения Второй мировой войны. Центрально-Восточная Европа немедленно использовала этот шанс. Все национальности, о которых писал Неймер, и те, что не были в составе Габсбургской монархии в 1848 г. (Болгария и Прибалтийские государства), вскоре присоединялись или считаются кандидатами на вступление в Европейский союз. Украинские лидеры также заявляют о «европейской ориентации» Украины. А жителям старой «Австрии» хотелось бы, чтобы их родина вошла в состав Европы тем путем, которым пошли соседи Украины. Но в нынешней Украине эта точка зрения и не единственная, и не господствующая. Поскольку здесь еще многие выступают против связей Украины с Европой, а иные даже полагают, что в отличие от поляков или литовцев украинцы могут идти в Европу с Россией. И в этих дискуссиях принимают участие не только политики, политологи и исследователи международных отношений. Варшавский критик Оля Гнатюк в своей последней книге «Прощание с Империей: украинские дискуссии об идентичности» свидетельствует, что и культурная элита, включая писателей и литературоведов, принимает участие в горячих дискуссиях об украинской идентичности, одна из центральных тем которых – постсоветская Украина против Европы. Оля Гнатюк утверждает, что украинцы пытаются отыскать свой путь в постимперском мире<sup>44</sup>.

Возможно, сторонники выбора «В Европу – с Россией» не считают, что Украина уже вышла из империи бесповоротно и окончательно. Они не поясняют, почему Украина должна сначала объединиться с Россией и лишь затем вместе с ней идти в Европу. А почему бы не идти в Европу самостоятельно, как все другие народы? Тот, кто хорошо знаком с историей Украины и России, легко может узнать в этом лозунге то, что Украина уже пережила триста лет тому назад, когда Петр I открыл знаменитое «окно в Европу», построив Санкт-Петербург. Они также знают, что российские отношения любви-ненависти с Европой завершились катастрофой 1917 года. Можно поинтересоваться: призыв к более тесным отношениям Украины с Россией мотивирован желанием помочь обоим народам стать частью Европы или речь идет о чем-то совсем ином, а именно о возрождении некогда существовавшей имперской модели украинско-российских взаимоотношений. Одним словом, о лишении Украины независимости.

Ответ на этот вопрос в значительной степени зависит от того, какой диагноз мы поставим сегодняшней ситуации в России. Джеффри Госкингс считает, что если



«Британия *имела* империю... то Россия *была* империей – и, возможно, до сих пор ею остается». Для англичан понятия «империя» и «родина» были далеки одно от другого (исключение составляет Ирландия), поэтому, согласно Госкингу, когда империя распалась, они смогли забыть ее «без лишних сетований». А вот для россиян «Российская империя была родиной, и “туземцы” всюду перемешивались с россиянами на своих рынках, улицах и в школах, что происходит и сейчас»<sup>45</sup>.

В 1991 г. казалось, что россияне возьмут пример с англичан и смирятся («без лишних сетований») с потерей своей империи. Тогдашние лидеры Российской Федерации сыграли решающую роль в мирном распаде Советского Союза и обретении Украиной независимости. Ожидалось, что постсоветские россияне станут нацией в том смысле, в котором они ей не были в 1914 г. Тем более что Россия как демократическое государство признала национальную независимость Украины. Это было 13 лет назад. Однако можно ли сегодня с полной уверенностью утверждать, что российский народ достаточно независим от государства и соответствует определению нации по Госкингу? Можно ли сегодня быть уверенными, что российские лидеры и российский народ не хотят возрождения империи (в той или иной форме), что они отказались не только от имперскости, но и от авторитарных методов правления в России? Очевидно, что немцы слишком долго «сетовали» – больше, чем полтора столетия, – пока отказались от своих имперских амбиций и стали «нормальной» европейской нацией. А избавились ли россияне от имперского мировоззрения и соглашаются ли они теперь с тем, что Россия должна быть «нормальным» национальным государством и что ей совсем не обязательно быть империей? И последнее: хотят ли власти и российское общество, чтобы *Россия* присоединилась к Европе?

Сейчас еще слишком рано давать определенный ответ на этот вопрос. История России имеет собственную динамику, собственные измерения – чего и следовало ждать от страны, которая простирается от Прибалтики до Тихого Океана. Но, независимо от того, что Россия говорит или делает, украинские культурные элиты и политический класс должны помнить о прошлых непосредственных культурных и политических связях Украины с Европой.

### **Авторское примечание**

Предыдущие версии этого доклада представлены на лекциях в Кембриджском (28 февраля 2003 г.), Неапольском (12–14 мая 2003) и Варшавском (9 декабря 2003) университетах. В них были развиты темы, сформулированные впервые в статьях, опубликованных в *Daedalus* (1994 и 1997 гг.), а потом перепечатанных как 14-й и 15-й разделы книги *Russia, Ukraine, and the Breakup of the Soviet Union* (Stanford, CA: Hoover Institution Press, 2000), с. 343–394. Эти статьи появились в украинском переводе Георгия Касьянова в книге *Империя и нации: из исторического опыта Украины, России, Польши и Белоруссии* (Киев: Дух и Литера, 2000), с. 213–276, и в поль-

ском переводе Шимона Чарника (Szymon Czarnik) и Анджея Новака (Andrzej Nowak) в *Imperium, komunizm I narody: Wybór esejuw* (Krakow: Arcana, 2003), с. 75–109 и 194–213.

Перевод с украинского Елены Иванчук

### Примечания

- <sup>1</sup> Льюис Неймер – псевдоним Людвика Бернштайна (Bersztajn). Он родился на территории Польши, которая после поделов Речи Посполитой отошла от России. Его семья приобрела имение в восточной Галиции (теперь – Тернопольская область) и сменила свою фамилию на Немировских (Niemirowski). Несмотря на то что его отец был ярким польским националистом, молодой Людвик, который провел детство среди сельских детей-украинцев, в польско-украинском конфликте занимал сторону Украины. Прочувшись некоторое время во Львовском университете, Неймер переехал на семестр в Лозанну, а оттуда – в Оксфорд (Баллиол колледж), где начал обучение в 1908 г., а в 1911 г. получил диплом историка с отличием. Подробную биографию Неймера до 1914 г. можно найти в книге: Baker Mark. Lewis Namier and the Problem of Eastern Galicia // *Journal of Ukrainian Studies*. Vol. 23. No.2 (Winter, 1998), p. 59–63, и далее в книге: Julia Namier, Lewis Namier: A Biography. Oxford: University Press, 1971, p. 31: «Тем не менее украинский он (отец Льюиса) вообще не считал языком. Чтобы всем было понятно, что он об этом думал, отец настрого запретил своим детям учиться украинскому, особенно от слуг, для которых он был родным. Именно в то время, по мнению Льюиса, и зародилась его пылкая симпатия к “русинам” (украинцам)... в 1919». Некоторые важные биографические факты и взгляды Неймера на национальный вопрос можно найти в: Amy Ng, Nationalism and Political Liberty: Josef Redlich, Lewis Namier, and the Nationality Conflict in Central an Eastern Europe (PhD thesis, Oxford University, 2001).
- <sup>2</sup> 1848: Seed-plot of History, в кн.: Namier Lewis. Vanished Supremacies: Essays on European History, 1812-1918. New York and Evanston: Harper Torchbooks, 1963. P. 21–30.
- <sup>3</sup> Burk Kathleen. *Troublemaker: The Life and History of A.J.P. Taylor*. New Haven and London: Yale University Press, 2000. P. 270.
- <sup>4</sup> Цитата из *Божественной Комедии* Данте (*Рай*, Песня XXIX, p. 91): «не думают какою куплен кровью». Прим. ред.
- <sup>5</sup> См.: Геллнер Эрнест. *Нации и национализм*. Ithaca: Cornell University Press, 1983. Я имею в виду обстоятельства или стечение обстоятельств в том значении, в котором Леон Василевский использует слово *koniunktura* в своей книге *Украинский вопрос как международная проблема*, где он доказывает, что нации без государства, которая пытается обрести независимость, сложно за нее бороться: здесь нельзя обойтись без благоприятного «стечения обстоятельств». См.: Wasilewski Leon. *Kwestia ukraińska jako zagadnienie międzynarodowe*. Warszawa: Ukraiński Instytut Naukowy, 1934. S. 142–143.
- <sup>6</sup> Armstrong John A. *The Autonomy of Ethnic Identity* // Alexzander J.Motyl, ed. *Thinking Theoretically about Soviet Nationalities*. New York: Columbia University Press, 1992. P. 29.



- <sup>7</sup> Adrian Hastings. *The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationhood*. Cambridge University Press, 1997. P. 25.
- <sup>8</sup> Eugen Weber. *Peasants into Frenchmen*, London: Chatto and Windus, 1977. P. 493, цитата из: Hastings, *Construction of Nationhood.*, P. 26.
- <sup>9</sup> David Blackbourn. *The Long Nineteenth Century: A History of Germany, 1780-1918*. New York and Oxford: Oxford University Press, 1998. P. XVI: “То, что мы называем объединением Германии, фактически было ее разделом”.
- <sup>10</sup> Ссылка на эти слова Гете и Шиллера и их перевод на английский язык (но без последней части) см.: James J. Sheehan. What is German History? Reflections on the Role of the Nation in German History and Historiography // *Journal of Modern History*. Vol. 53. No.1 (March 1981). P.1. Рассмотрение немецкой проблемы после 1945 г., включительно с объединением Германии в 1990 г. и дальнейшими событиями см. в: Klaus von Beyme. Shifting National Identities: The Case of German History // *National Identities*. Vol. 1. No. 1 (March 1999). P. 39–52. (Оригинальная версия дистиха Гете и Шиллера звучит: «Deutschland? Aber wo liegt est? Ich weiss das Land nicht zu finden. Wo das gelehrte begin, hoert das politische auf».) Дэвид Блекборн (David Blackbourn), который цитирует обоих поэтов и анализирует их вопрос, отмечает, что «объединение означало, что с того времени Германия появилась и на карте, и в сознании» (The Long Nineteenth Century, с.XVI). Но известно, что Германия 1871 г. на карте отличалась от той Германии, которая была в сознании у *всех*, о чем свидетельствует возникновение Третьего Рейха.
- <sup>11</sup> Glassl Horst. *Das österreichische Einrichtungswerk in Galizien (1772-1790)*. Wiesbaden: Oto Harrasowitz, 1975. S. 9–18; критикует немецких историков, не обращавших внимания на влияние, которое включение польских территорий, таких как Галиция, произвело на административную систему империи и на изменение немецкой истории. Польский национализм в Габсбургской империи помогает понять, почему – как выразился современный ученый – «реальным последствием деятельности этих высших школ, особенно Львовской духовной семинарии, была не германизация, а полонизация, по крайней мере языковая, духовенства», и отчего «влияние Вены на украинцев было не столько германским, сколько славянским. Караджич и Копитар более серьезно повлияли на украинское возрождение в Австрии, нежели Гердер или Гегель» (Himka John-Paul. *German Culture and the National Awakening in Western Ukraine before the Revolution of 1848 // German-Ukrainian Relations in Historical Perspective*. Hans-Joachim Torke and John-Paul Himka, eds., Edmonton and Toronto: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1994. P. 37–38).
- <sup>12</sup> Kořalka Jiří. *Češi v Habsburké říši a v Evropě 1815-1914. Socialněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích*. Prague: Argo, 1996. S. 20: “usiloval josefinismus o vytvoření rakouského státního národa, jehož hlavní oporou měl být osvícený *homo austriacus* (rakouský člověk) v rakouské státní a školské správě, v armádě a v církvi orientované na stát”.
- <sup>13</sup> Kořalka Jiří. *Češi*. S. 19. То, как империя отреагировала на этнический национализм, как выявилось позже, ничего не дало для создания «имперской австрийской» национальности. Но это не означает полного поражения: в конце концов, какими бы ни были националистические заявления, большинство подданных императора оставались верными империи почти до самого конца. Австрийский аналог российской доктрины «официальной национальности» времен правления Николая I основывался скорее на историческом опыте народов в единой державе Габсбургов, нежели

- на этнической принадлежности и языке. Были созданы институты, такие как Институт истории Австрии при Академии наук и Венском университете, которые должны были пропагандировать *vaterländische Geschichte*, дословно – «отечественную историю» (позже советская ее версия тоже называлась *Отечественная история*). Эта история имела целью объяснить, что «Великая Австрия» была «заранее определенной необходимостью». Насколько серьезными были эти имперские попытки «создать нацию», см. в кн.: Leitsch Walter. *East Europeans Studying History in Vienna (1855-1918)* // Dennis Deletant and Harry Hanak, eds. *Historians as Nation-Builders, Central and South-East Europe*. London: Macmillan, 1988. P. 139–156.
- <sup>14</sup> Jedlicki Jerzy. *Heritage and Collective Responsibility // The Political Responsibility of Intellectuals* / Ian Maclean, Alan Montefiore, and Peter Winch, eds. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 53–76. Цитата со с. 55.
- <sup>15</sup> Василий Подолинский (1815-1876) был греко-католиком, который до 1848 г. принадлежал к польскому тайному товариществу и в 1848 г. поддержал венгерскую революцию, но остановил свой выбор на украинской национальности и хотел, чтобы Украина стала членом славянской федерации. О Подолинском см. в работах Феодосии Стеблій «Слово предостережения В. Подолинского» (*Український історический журнал*. 1966. № 12. С. 44–55) и Borys Włodzimierz. *Głos z 1848 r. W sprawie zgody polsko-ukraińskiej // Przegląd Historyczny*. Т. 62. Nr. 4 (1971). S. 717–724.
- <sup>16</sup> Martha Bohachevsky-Chomiak. *The Spring of a Nation: The Ukrainians in Eastern Galicia in 1848*. Philadelphia: Shechenko Scientific Society. P. 29–30.
- <sup>17</sup> Грицак Ярослав. *Очерк истории Украины. Формирование современной украинской нации XIX-XX вв.* Киев: Генеза, 1996. С. 52. Олег Турий в *Украинской «Весне народов»* (в кн.: *Верховная Русская Рада 1848-1851: протоколы заседаний и книга корреспонденции*, ред. Олег Турий, Львов: Институт истории Церкви Украинского Католического Университета, 2002) на с. 20 приводит такие данные: из 66 человек, которые подписали декларацию Рады, 19 принадлежали к духовенству, 10 были студентами семинарии, 4 изучали право, а остальные были «львовскими мещанами», правительственными лицами, управленцами, учителями, а один – землевладельцем.
- <sup>18</sup> Greenfield Liah. *Nationalism: Five Roads to Modernity*. Cambridge: Harvard University Press, 1993. P. 495. Жаль, что Гринфелд не рассматривает случай Польши, который весьма интересен, принимая во внимание важность польского фактора в истории российской нации и роль Польши в истории национализма в целом.
- <sup>19</sup> Malia Martin E. *Russia under Western Eyes: From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum*, Cambridge, Mass. and London: Harvard University Press, 1999. P. 12–13. Анализ концепции Мали американскими и европейскими учеными см.: *The Cultural Gradient: The Transmission of Ideas in Europe, 1789-1991* / Catherine Evtuhov and Stephen Kotkin, eds. Lanham, Md.: Rowman and Littlefield, 2003.
- <sup>20</sup> Malia. *Russia*. P. 439–440.
- <sup>21</sup> Намек автора на заголовок англоязычной книги Андрию Вильсона *Непредсказуемые украинцы – The Ukrainians. Unexpected Nation*. Прим. ред.
- <sup>22</sup> Lieven Dominic. *Empire: The Russian Empire and Its Rivals*. London: John Murray, 2000. P. XVI.
- <sup>23</sup> Marc Raeff. *Ukraine and Imperial Russia: Intellectual and Political Encounters from the Seventeenth to the Nineteenth Century // Ukraine and Russia in Their Historical Encounter* / Peter Potichnyj et al., eds. Edmonton: CIUS, 1992. P. 69–85; цитата на с. 78

- <sup>24</sup> John LeDonne. *Ruling Russia: Politics and Administration in the Age of Absolutism, 1762–1796*. Princeton: Princeton University Press, 1984. P. 305.
- <sup>25</sup> John P. LeDonne. *The Russian Empire and the World, 1700–1917: The Geopolitics of Expansion and Containment*. New York and Oxford: Oxford University Press, 1997. P. 76.
- <sup>26</sup> Vera Tolz. *Russia*. London: Arnold and New York: Oxford University Press, 2001. P. 88–89. В своих размышлениях Толз комментирует точку зрения российских интерпретаторов.
- <sup>27</sup> Детальный анализ польского «измерения» украинской и восточноевропейской истории – вплоть до начала посткоммунистической эпохи представляет Aleksander Gieysztor (*Imperia, państwa I narody sukcesyjne w Europie Środkowo-Wschodniej // Belarus, Lithuania, Poland, Ukraine: The Foundations of Historical and Cultural Traditions in East Central Europe* / ред. Ежи Клочковский и др. (Люблин: Институт Восточной Европы; Рим: Фонд Ивана-Павла II). С. 7–16; Timothy Snyder. *The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999*. New Haven: Yale University Press, 2003.
- <sup>28</sup> Один из самых глубоких иностранных исследователей первым заметил, что на территории между поляками и россиянами живут украинцы. Он, чешский писатель и журналист, Карел Гавличек-Боровский, в статье *Словянин и чех (Slován a Čech)* критикует притеснение россиянами поляков, но при этом замечает, что «яблоком раздора для каждого поколения поляков и россиян был вопрос, кто владеет Украиной». По мнению Гавличка, российско-польский конфликт вокруг Украины – это «сказка про двух волков», где «ягненок – украинцы». См.: Havlíček Karel. *Politické spisy / ред. Z.Тоболка. Прага, 1900–1903, I, с.70, цит. по: Barbara K. Reinfeld. Karel Havlíček (1821–1856): A National Liberation Leader of the Czech Renaissance*. Boulder: East European Monographs, 1982. P. 25. О том, что чешский журналист знал в 1840-х гг., английские государственные мужи не имели ни малейшего представления в 1860-х гг. В большом эссе *Польша*, изданном после польского восстания 1863 г., лорд Солсбери доказывал, что европейская общественность, поддерживающая поляков, которые боролись против того, что им ошибочно (по мнению лорда) казалось российским гнетом, была необъективной. Солсбери пишет: Европа совсем не замечает того, что поляки не просто боролись за свободу своего народа, но пытались захватить российские земли и таким образом уничтожить Россию как государство. Эти российские земли, естественно, были теми самыми землями, которые теперь называются Литва, Беларусь и Украина. Между прочим, в эссе даже не проскальзывает мысли, что народы этих восточных земель (на которые поляки тоже не имели права) в один прекрасный день заявят, что они и не россияне, и не поляки. См.: *Poland // Essays by the late Marquess of Salisbury, K.G., Foreign Politics*. London: John Murray, 1905. P. 3–60.
- <sup>29</sup> Kieniewicz Jan. *Polska – Ukraina: dialog w sferze pogranicza // Przegląd Powszechny*. No.10. 1996. P. 67–68.
- <sup>30</sup> См. недавние российские исследования этой темы, которые концентрируются на реакции власти и общества на украинский феномен: Miller Alexei. *The Ukrainian Question: The Russian Empire and Nationalism in the Nineteenth Century*. Budapest and New York: Central European University Press, 2003. В оригинале название звучит лучше: «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX века). СПб.: Алетейя, 2000.

- <sup>31</sup> Ульянов Николай. *Происхождение украинского сепаратизма*. Нью-Йорк, 1966. С. 156. Цитата из Драгоманова на с. 146.
- <sup>32</sup> Pelenski Jaroslav. *The Ukrainian-Russian Debate over the Legacy of Kievan Rus', 1840s-1860s*; Его же: *The Contest for the Legacy of Kievan Rus'*. Boulder: East European Monographs, 1998. P. 222.
- <sup>33</sup> Вячеслава Липинского цитирует Пеленский (Pelenski, *The Contest for the Legacy of Kievan Rus'*, P. 223).
- <sup>34</sup> Lieven. *Empire*. P. 384.
- <sup>35</sup> Masaryk Thomas G. *The New Europe: The Slavstandpoint* / Ed. by W. Preston-Warren and William B. Weist. Lewisburg, PA: Bucknell University Press, 1972. P. 123.
- <sup>36</sup> Петр Струве цит.: Richard Pipes. *Struve: Liberal on the Right, 1905-1944*. Cambridge, MA and London: Harvard University Press. 1980, P. 301.
- <sup>37</sup> Plokhly Serhij M. *Historical Debates and Territorial Claims: Cossack mythology in the Russian-Ukrainian Border Dispute*, в кн.: *The Legacy of History in Russia and in New States of Eurasia* / S. Frederick Starr, ed. Armonk and London: M.E. Sharpe, 1994. P. 150–151. Принимая «козацкий миф» за составную часть своей идентичности и соглашаясь забыть, как казаки относились к униатам, галицкие русины сделали то, о чем говорил Эрнест Ренан, когда утверждал, что в формировании нации значительную роль играет не только общая память, но и взаимное согласие забывать прошлое: «...суть нации не только в том, что все индивиды имеют между собой много общего, но и в том, что они вместе забыли. Ни один француз не знает, был ли он бургундцем, аланом или вестготом, однако каждый француз должен забыть резню в Варфоломеевскую ночь и резню XIII века на юге Франции [франц. Midi]» (Ernest Renan. *What is a nation? / Nation and Narration*. Homi K. Bhabha, ed. London and New York: Routledge, 1990. P. 11). Бенедикт Андерсон обращает внимание на то, что по формулировке Ренана «каждый французский гражданин» «обязан забыть» Варфоломеевскую ночь и комментирует это так: «по сути, читателям Ренана предлагается «давно уже забыть» то, что согласно его словам они должны были бы помнить от природы!» (Бенедикт Андерсон. *Воображаемые сообщества*. Киев: Критика, 2001. С. 246. Оригинальная версия: Benedict Anderson. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* / rev. ed. London and New York: Verso, 1991. P. 200). История имеет достаточно примеров тому, как память о религиозных конфликтах разделяет людей в эпоху национализма – другими словами, как некоторые люди отказываются «забывать». А последствием бывает или глубокий политический кризис, на развязывание которого необходимо время, или же распад на независимые нации по религиозной принадлежности. Про подобные кризисные примеры см. у Дэвида Блекборна, который напоминает, что после 1871 г. борьба культур (*Kulturkampf*) в Германии «была борьбой цивилизации в буквальном смысле» (Blackbourn. *The Long Nineteenth Century*. P. 261). Гейстингс пишет, что «Голландия возникает как независимая политическая единица вследствие религиозной борьбы». И дополняет: «если национализм возникает, то он обычно начинается с религии» (Hastings. *The Construction of Nationhood*. P. 28).
- <sup>38</sup> Arnason Johann P. *The Fitire That Failed: Origin and destinies of the Soviet Model*. London and New York: Routledge, 1993. P. 87–88. Иначе говоря, Советский Союз повторил историю предшественника – царского режима, о чем Симон Диксон пишет: «Чем больше россияне пытались модернизировать свое государство, тем более отсталой становилась их империя» (Simon Dixon, *The Modernization of Russia 1676-*

1825, Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 256). По сравнению с Россией Габсбурги достигли больших успехов в модернизации, но им также не удалось создать общую для всей монархии национальность.

- <sup>39</sup> Согласно Е.Ж.Хобсбаум (*Nations and nationalism since 1789. Programme, Myth, reality*, 2<sup>nd</sup> ed., Cambridge: Cambridge University Press, 1992. P. 164): «Вспышка в Европе сепаратистских национализмов имел в двадцатом столетии очень конкретные исторические корни. Посеянное в Версале и Брест-Литовске пожинаем и далее... Проблемы, которые возникли в 1988–1992 гг., те самые, что появились в 1918–1921 гг.» Эта же мысль повторяется на с.165: «Проще говоря, вспышку сепаратизма в 1988–1992 гг. можно объяснить “незавершенным делом” 1918–1921 гг.». На наш взгляд, это «посеянное» революцией 1848 г. «пожиналось» и в 1990-х гг. Неожиданный взгляд на независимость Украины см.: Hobsbaum. *Nations and nationalism*. P. 166 («Украина... не смирилась с независимостью, до тех пор пока неудачный переворот в августе 1991 г. не уничтожил СССР» [курсив мой. – P.Ш.]).
- <sup>40</sup> Philip Zelikow and Condoleeza Rice. *Germany Unified and Europe Transformed: A Study in Statecraft*. Cambridge, MA and London: Harvard University Press, 1997. P. 369. В другом источнике они пишут, что советские руководители были против объединения Германии. Это, по их мнению, «вырвало бы сердце советской системы безопасности» и уничтожило все достижения Второй мировой войны. (И они, конечно, были правы.)
- <sup>41</sup> William Henry Chamberlin. *The Ukraine: A Submerged Nation*. New York; Macmillan, 1944. P. 83–84.
- <sup>42</sup> Сегодня, когда Брюссель – столица Европейского союза, куда, согласно объявленным намерениям, Украина планирует вступить, интересно вспомнить, что в 1772–1797 гг. и Львов, и Брюссель находились под властью Вены: Брюссель, как столица австрийских Нидерландов, Львов как столица австрийской Галиции. (Конец этому настал в 1797 г., когда Наполеон захватил первый город, но, к сожалению, не захватил второго.) Произведет ли это на кого-либо впечатление в Брюсселе – другой вопрос.
- <sup>43</sup> *Encyclopedia of Ukraine*. Toronto: University of Toronto Press, 1984. Vol. I. P. 871.
- <sup>44</sup> Ola Hnatiuk. *Pożegnanie z imperium: Ukraińskie dyskusje o tożsamości*. Lublin: Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.
- <sup>45</sup> Geoffrey Hosking. *The Freudian Frontier, The Times Literary Supplement*. 10.03.1995. P. 27.

## **ПОЛЬША В ИСТОРИИ УКРАИНЫ**

### **I**

Конфликты между Польшей и Русью, некогда занимавшей территорию, которая ныне составляет восточную Польшу и Западную Украину, уходят корнями в самые начала летописной истории. Русская «Повесть временных лет» (981) сообщает, что Владимир Великий отвоевал у поляков землю, которая называлась Червенскими Городами. В 1018 г. Болеслав Храбрый, впоследствии король Польши, вступил в борьбу за наследство Владимира и на некоторое время занял Киев (1018). В период феодальной раздробленности на Руси и в Польше Галицкое и Волынское княжества, находившиеся в тесных связях с Мазовецким княжеством, были втянуты во внутренние польские распри. В процессе тех конфликтов один из галицко-волынских князей Роман Мстиславич погиб в битве под Завихостом в 1205 г.

Перечисленные события были, однако, всего лишь отдельными эпизодами. По сути, системная польская экспансия на Русь началась после 1340 г. и продлилась до середины XVII в., а затем стала слабеть. Значительная часть территории Украины, включая большинство земель на запад от Днепра, оставалась в составе Речи Посполитой до второго раздела Польши в 1793 г., а некоторые из них, как Волынь, – вплоть до третьего раздела в 1795 г.

Но в те давние времена на этих территориях не только Польша проводила экспансивную политику. Польское движение на восток имело свой эквивалент (а на территории Белой Руси и своего предшественника) в виде Великого княжества Литовского, возникшего в середине XIII в. Этнически это княжество было смешанным, его земли населялись как литовцами, так и русскими. К примеру, Новогрудок, резиденция первого выдаю-



щегося литовского правителя Миндовга (Миндаугаса), находится в Беларуси. Если бы Польша и Литва оставались отдельными государствами, мы бы исследовали историю войн между ними за власть над Русью. Но вышло иначе, и польско-литовская уния, заключенная в 80-е гг. XIV в., предотвратила конфликт, который уже начал разгораться.

Мы лучше поймем, что произошло с украинскими землями, если выделим в наших размышлениях три сюжетные линии: рассмотрим вначале историю тех территорий (наиболее важной здесь является Галицкая Русь), которые были объектом исключительно польской экспансии и оказались в XV в. целиком включенными в Польское королевство; затем такие земли, как Волынь и часть Подолья, за которые Польша и Литва вели споры в XIV и XV вв.; и, наконец, территории, приблизительно совпадающие с территорией Восточной Украины (на правом и левом берегу Днепра), и принадлежавшие Великому княжеству Литовскому в начальной фазе польско-литовской унии. Когда эти два государства объединились после заключения Люблинской унии в 1569 г., поляки приобрели новые территории (Подляшье и Волынь); Киевская и Брацлавская земли также вошли в состав королевства. В результате вся Украина оказалась под властью Польши.

В 1323 г. умер последний представитель галицкой династии. Его трон занял Болеслав Тройденовец, князь мазовецкий, породненный с галицкими правителями. Желая задобрить вельмож, он принял имя Юрий и перешел в православие, но все это не уберегло его от неприязни местной знати. При Болеславе не только армяне и евреи, но и католики (поляки, немцы) получили право селиться на этих землях и были окружены княжеской опекой. В 1340 г. Болеслав был отравлен, и король Польши Казимир воспользовался этим случаем, чтобы (как легальный наследник) заполнить княжество. Однако ему не удалось реализовать свои намерения, и через некоторое время у власти оказался местный боярин Дмитро Детко. В 1349 г. Казимир занял Львов и Брест. Он открыл эти города для польских и немецких купцов и дал польским землевладельцам с пограничья земли и привилеи на территории Галицкого княжества. Этот акт знаменует собой начало активной польской экспансии на восток.

Тем временем литовцы, после приобретения Полоцка, Полесья и Брестской земли, продолжили при Гедимине и Ольгерде экспансию на русские земли – Северскую (около 1355), Киевскую (около 1360), Волынь и Подолье (1362), отвоевывая их у татар. Они несколько раз терпели поражения, но в 1394 г. Киев и восточное Подолье вновь оказались в литовских руках. Экспансия литовцев на юг продолжалась до 1399 г. и прекратилась только после поражения великого князя литовского Витовта в битве с татарами под Ворсклой (левым притоком Днепра).

Сын Ольгерда Ягайло, правитель Литвы, заключил с Польшей унию в Криве (1385 г.). Ягайло обязался принять католичество (есть основания предполагать, что до этого он был православным или по крайней мере готов был принять православие) и взять замуж королеву Польши Ядвигу. Таким образом Литва должна была

объединиться с Польшей (в латинской терминологии – *applicare*). В 1389 г. Ягайло принял католичество и переехал в Краков. Привилеи, которыми по унии наделялись литовские бояре, относились лишь к тем из них, что перешли в католичество. Последнее привело к дискриминации православных на всей территории Великого княжества, в том числе и православных русских бояр. Процессу «поглощения» Литвы Польшей (одна из интерпретаций Кревской унии) противостоял Витовт. В 1401 г. было заключено соглашение, в соответствии с которым Витовт, оставаясь великим князем литовским, признавал себя вассалом Ягайлы, короля Польши. Это соглашение предоставляло Великому княжеству административную независимость, что означало продолжение действовавших ранее практик и законов. Витовт централизовал управление на Руси, смещая местных князей с их княжеств. Отношения между Польшей и Литвой подверглись перестройке после битвы под Грюнвальдом (1410 г.), где литовские и русские войска сыграли важную роль в победе поляков над Орденом крестоносцев. В результате переговоров в Городле (Западная Украина, в настоящее время – Польша) в 1413 г. было принято новое соглашение. В соответствии с его условиями, Польша и Литва должны были стать равноправными партнерами: ни великий князь литовский, ни король Польши не могли занять трон без согласия другого партнера. Но это соглашение не остановило дальнейшего расширения польского влияния на русские земли, принадлежащие Литве. Около пятидесяти семей литовских бояр было усыновлено польскими шляхетскими семьями, а поскольку новоусыновленные были католиками, православные представители высших слоев Великого княжества Литовского оказались в незавидном положении.

Витовт стремился обрести полную независимость и королевский титул. Он умер в 1430 г. во время переговорного процесса, в результате которого надеялся получить корону. План создания литовско-русского королевства перенял и продолжил его двоюродный брат и наследник Свидригайло. В период его правления раскол между православными и католиками углубился, а на русских землях, принадлежащих Великому княжеству Литовскому, выявились тенденции к созданию отдельной политической единицы.

Свидригайле помогали православные и противодействовали католики. Во время его правления поляки напали на западную Волынь и западное Подолье. Соперник Свидригайлы, Зигмунт Кейстутович, передал Подолье Польше (1432). Когда Свидригайло был побежден Зигмунтом (на территории собственно Литвы), он пытался отделить от Великого княжества Литовского Русь вместе с землями Украины – но безуспешно. Однако Зигмунт, чтобы упрочить свое положение, вынужден был пойти на уступки сторонникам Свидригайлы. В 1434 г. православные бояре Великого княжества Литовского получили такие же привилеи и права, какими обладала литовская католическая шляхта. Правда, высокие посты были зарезервированы только для католиков. Когда Казимир Ягеллончик, великий князь литовский, стал в 1447 г. королем Польши, то продолжил политику, направленную на сохранение единства высших слоев литовского общества. В том же году он издал привилей для литов-



ских бояр, который гарантировал, что государственные посты в Великом княжестве Литовском будут заниматься только литовцами, то есть лицами, проживающими в княжестве, и что Литва сохранит границы, которые имела во времена Витовта. Согласно положениям этого привилея, восточная часть Подолья не могла легально считаться включенной в состав Польши.

С 1447 г. королем Польши и великим князем литовским было обычно одно и то же лицо, хотя члены династии Ягеллонов, считая Великое княжество наследственной собственностью фамилии, противились чересчур тесной унии княжества с Польшей. Например, они не приняли проект совместных выборов общего руководителя обоих государств. Но с течением времени интересы Польши и Литвы начали все больше совпадать. Необходимо было вместе противостоять опасности, исходившей от Крымского ханства (которое после распада Золотой Орды стало вассалом Османской империи), а также татарским набегам на земли, принадлежащие Польше (Подолье) и Великому княжеству Литовскому (часть Подолья и другие русские земли). Кроме того, Великому княжеству угрожала еще и Москва. С начала XVI в. оно несло серьезные территориальные потери (в 1514 г. княжество утратило Смоленск почти на сто лет, а в 1563 – Полоцк, правда, всего лишь на пятнадцать лет). Поэтому Литве приходилось обращаться за помощью к Польше, и она помогала ей, демонстрируя дальновидность, по крайней мере, в данном вопросе.

Западная культура проникала в Литву через Польшу, что вызывало естественную полонизацию высших слоев Великого княжества. В 60-е гг. XVI в. Литва приняла «польскую» форму правления страной. Несмотря на то что дискриминация православных была практически отменена в 1563 г., православные иерархи по-прежнему не заседали в королевской раде. Полонизация открыла дорогу для Люблинской унии 1569 г. Процесс заключения унии был сложным, поскольку ему противились литовские магнаты, обоснованно опасавшиеся утраты независимости; а вот мелкая шляхта унию поддерживала, что и сыграло решающую роль в ее принятии.

Уния установила, что с данного момента Польша и Великое княжество Литовское будут одним государством с общим сеймом, общей денежной системой и одним королем; а вот администрация и армия у каждой стороны оставались своими. Подляшская, Волынская, Брацлавская и Киевская земли – а затем и большая часть Украины – стали частью Польского королевства, то есть Короны; но их элита получила гарантию, что русский останется языком администрации, а права православной церкви будут уважаться.

Люблинская уния была переломным моментом в формировании украинского национального сознания, поскольку она ускорила полонизацию православных украинцев и расчистила путь для наступления католической церкви, кульминацией чего стала Брестская уния, заключенная в 1596 г.

Люблинская уния облегчила приобретение богатой польской шляхтой земель, вошедших в состав Короны, и ускорила полонизацию украинской шляхты. Это в

свою очередь привело к конфликтам с казаками, которые спустя двадцать лет после нее превратились в серьезную проблему для Речи Посполитой.

Польская экспансия на восток продолжалась до первой половины XVII в. В 1603–1618 гг. Польша воспользовалась теми трудностями, которые в то время переживало Московское государство (период, называемый Смутой). Длившаяся два года оккупация Москвы польскими войсками закончилась бесславно, но Польша имела свой день славы в 1610 г., когда Василий Шуйский был взят в плен гетманом Жолкевским под селом Клушино. В соответствии с условиями перемирия, подписанного в Деулино в 1618 г., Польша получила обратно Смоленск, а также Чернигово-северскую землю, добытую Литвой в XIV в. Граница Речи Посполитой больше никогда не будет так далеко отодвинута на восток.

После 1654 г. положение поляков на востоке начинает ухудшаться. В Переяславе Богдан Хмельницкий отдается под протекцию царя Алексея. Москва захватывает Смоленск и в том же 1654 г. московские войска грабят Вильно. Ни польская сабля, ни дипломатия не смогли восполнить потерь. Договор, заключенный между Польшей и казаками в Гадяче в 1658 г., имел целью создание альтернативы для украинских высших слоев, которых не устраивали условия вассальной зависимости от Москвы. Этот договор предполагал создание государства трех народов – один из которых должно было представлять «Русское княжество». Предполагалось, что оно охватит Киевскую, Брацлавскую и Черниговскую земли, а церковная уния на этой территории будет отменена. Православные представители этих земель получат места в сенате Речи Посполитой, в Украине появятся высшие учебные заведения, а численность реестровых казаков (то есть признанных государством) будет увеличена до шестидесяти тысяч. Но договор так и остался на бумаге. Несмотря на кратковременные отступления, Москва продолжала одерживать стратегические победы – как политические, так и военные. Перемирие, подписанное в Андрусове в 1667 г., закрепило потерю Польшей (в пользу Москвы) не только так называемой Левобережной Украины (новая граница проходила вдоль Днепра), но также и Киева (утеря его на «два года» превратилась в окончательную в 1686 г.).

На территории Украины эта новая граница, установленная между Москвой (позднее Россией) и Речью Посполитой, осталась неизменной вплоть до второго раздела Польши в 1793 г. Но большая часть Правобережной Украины (за исключением Киева и территорий вокруг него на правом берегу Днепра, а также земель запорожских казаков) оставалась пространством постоянно растущих культурных влияний Польши и функционировала в рамках польского государственного строя, который определяли привилегии шляхты и система барщины. Это вызвало дальнейшую полонизацию местных элит. В 1772 г., после первого раздела, Польша утратила в пользу Австрии ту часть Галицкого княжества, которая была ей добыта в 1349 г., а в 1434 г. включена в Корону. Описывая ситуацию в категориях суверенитета, можно сказать, что четыре столетия польского господства на этой территории подошли к концу, но польское присутствие – как культурное, так и социальное – было здесь

настолько сильно, что польское меньшинство (даже и после административной реформы 1868 г.) сохранило свою доминирующую роль в «Галиции и Лодомерии» – как официально называли эти земли австрийцы вплоть до окончания Первой мировой войны. Польское присутствие – это шесть веков влияния на земли Западной Украины, двести двадцать пять лет непосредственного господства на Правобережной Украине и почти столетие в Киеве и на землях, расположенных на левом берегу Днепра. Нужно помнить эту «хронологию», если мы хотим адекватно оценивать реальность современной Украины. Даже в той части Украины, которая осталась за границами Польши после 1921 г., но принадлежала ей в разные периоды между 1569 и 1793 гг. (так называемые территории на правом берегу Днепра и Киев), польское влияние было значительным. Это влияние формировалось польскими землевладельцами, польской технической интеллигенцией, а также польской культурной жизнью, которая процветала в Киеве и других украинских городах. Крупные польские землевладения в Правобережной Украине составляли абсолютное большинство; даже в 1914 г. у поляков находилось почти пятьдесят процентов земель, несмотря на то что царский режим стремился ослабить польское присутствие в этом регионе, особенно после 1863 г. Отношение польских помещиков к российским завоевателям, которые, по их убеждению, управляли здесь частью исторической Польши, было неоднозначным. Но при этом лишь немногие польские помещики и члены полонизированной земской интеллигенции проявляли интерес и симпатию к своему «деревенскому люду» и его обычаям (так называемые «холопоманы»). Зато существовало объективное единство интересов между польскими помещиками и российскими чиновниками, особенно когда речь шла о противодействии общественным волнениям среди украинского крестьянства. Потому можно уверенно говорить о союзе между царскими войсками и польскими помещиками Правобережной Украины даже в 1831 г.

Польша утратила большинство своих украинских владений после второго раздела в 1793 г. В определенном смысле Украина стала одним из наследников польско-литовской республики. Когда между 1807 и 1812 гг. Польша появилась как автономное государственное образование, названное Варшавским княжеством, а в 1815–1831 гг. как Польское королевство, созданное на Венском конгрессе, в ее составе уже не было украинских земель. Часть из них – Волынь и старую Галицию – Польша заполучила в период между двумя мировыми войнами и вновь утратила практически все в 1939–1945 гг. Послевоенная Польша стала этнически однородной и в этом смысле немного напоминала Польшу Пястов; до 1989 г. у нее был также ряд общих черт с Королевством Польским.

С польской точки зрения период с 1618 по 1945 г. – это печальное время постоянного отодвигания на запад восточной границы первой Речи Посполитой, а затем – Польши. Польское прошлое Смоленска, Орши, Витебска, Киева, Житомира и Каменца-Подольского почти забыто. Львов, до 1939 г. город, где поляки и говорящие по-польски евреи были большинством, в настоящее время украиноязычный.

Сегодня приезжие русские – до 1944 г. абсолютно отсутствовавшие в этом городе, – сами представляющие меньшинство, многократно превосходят поляков.

## II

Какое влияние оказало польское присутствие на культуру Украины? Во-первых, для многих членов местной элиты оно означало замену православных и церковнославянских культурных ценностей на латинские. Теперь высшие украинские слои обращались не только к православной традиции и православному учению. Снижение авторитета прежних ценностей побуждало элиту к латинизации. Языковая и культурная ассимиляция сопровождалась принятием католицизма. Православные украинцы в начале XVII в. полностью осознавали трагизм своего положения. В 1605 или 1606 г. один писатель в трактате «Пересторога», т.е. «Предупреждение» («Пересторога жело потрібная на потомные часы православным христианом святое кафолическое Восточное церкве сыном...»), писал:

*«Читая польские хроники, находишь достаточно много [сообщений] о том, как поляки поселялись на русских землях, подружившись с ними [Русинами], [и как], выдавая за русинов своих дочерей, при помощи этих дочерей прививали свои деликатные обычаи и науки, так что Русь, братаясь с ними, начала завидовать им из-за их обычаев, языка и науки. Не имея собственных наук, [Русь] начала посылать своих детей, чтобы они получали римское образование, а эти дети вместе с образованием перенимали одновременно [латинскую] веру. И так шаг за шагом, через свои науки [поляки] склонили все русские земли к римской вере, так что потомки русских князей были переkreщены из веры православной в римскую и заменили свои родовые фамилии и имена, даваемые при крещении, так как будто они никогда не были потомками своих набожных предков. Потом греческо-православная вера остыла и оказалась в состоянии пренебрежения и запустения, поскольку лица благородных слоев, пренебрегнув собственной православной верой, переставали заботиться о церковных обрядах и посылали на них своих людей среднего ранга, только ради того, чтобы удовлетворять требованиям простолудинов»<sup>1</sup>.*

В 1610 г. Мелетий Смотрицкий опубликовал плач православной церкви на Руси («*Threnos, to iest Lament iedyney Ś[więtej] Powszechney Apostolskiej Wschodniej Cerkwie z objaśnieniem dogmat wiary – pierwey z Graeckiego na Słowieński, a teraz z Słowieńskiego na Polski przełożony przez Theophila Orthologa...*»). В этом плаче Мать-Церковь обращается к своим детям и, пользуясь сложной метафорой, сравнивает их с драгоценными камнями, украшающими ее одеяние. Одеяние изнашивается:

*«Где и другие дорогие и ценные той же короны камни, благородных русских князей дома, бесценные сапфиры и бриллианты, князя Слуцкие, Заславские, Збаржские, Вишневецкие, Сангрушки, Чарторийские...?»<sup>2</sup>*

Автор называет еще многие княжеские роды, а потом пишет:

*«Где кроме них другие неоценимые мои богатства, родовитые (говорю) славные, благочестивые, сильные и древние, во всем мире в хорошей славе, прославленные отвагой и мужеством народа русского дома – Ходкевичи... Сапеги, Пацы, Халецкие... Патей...»<sup>3</sup>*

Полный список содержит еще тридцать одну фамилию, в том числе много таких, которые также значатся и в истории польской шляхты.

Ассимиляция в основном ограничивалась высшими слоями русского общества. Однако и те, кто находился на более низкой ступени общественной лестницы, но имел близкие контакты с польской культурой, также подпадали под нее. Польская культура конца XVI в. переняла наилучшее, что было в европейском ренессансе. Реформационные идеи были все еще сильны и пользовались большой популярностью не только в Польше, но и в Литве и на украинских землях. Польские латиноязычные поэты, например Матей Казимеж Сарбевский, и такие мыслители, как Анджей Фрыч Моджевский и Ян Ласки, были хорошо известны в Европе. Многие поэты, писавшие по-польски, к примеру братья Кохановские (Ян и Петр), получили образование в итальянских университетах и писали произведения, сравнимые с европейскими. Для украинцев Польша стала окном на Запад. В XV и XVI вв. реестры университетов в Кракове, Падуе, Болонье и Праге содержат многие имена студентов, которые по стране происхождения были названы как «Роксоланы». Профессора и доктора философии «русской» национальности появляются как в Польше, так и в Италии. Павел Рутэнус («Ruthenus») из Кросна преподавал в Кракове: Георгиус Рутэнус (Юрий из Дрогобыча) – профессор астрономии и астрологии в Болонье с 1458 по 1482 г.; Григорий Кирницкий, православный из Львова, получил научную степень доктора в Падуанском университете в 1641 г. Среди других известных личностей назовем еще Станислава Ожеховского, рожденного в Пшемысле, великого публициста XVI в., сына польского шляхтича, но внука православного попа; он был сторонником идеи унии обеих церквей, но не папского империализма, который, по его словам, хотел ограничить вселенскую церковь. Ожеховский открыто признавался в своих русских корнях, когда заявлял: «Ruthenorum me esse et libenter profiteor, – а также: – Roxolania patria est mihi»; в 1531 г. он записался в Лейпцигский университет как «Orzechoffski Russus».

Очевидно, что те представители украинской элиты, которые действовали внутри системы, но остались при православной вере и русском языке, также испытывали сильное влияние польской культуры. Когда мы анализируем украинские стихи, декламированные учениками Коллегиума Петра Могилы в Киеве в 1632 г. в честь его покровителя, или стихи, посвященные Могиле печатниками Печерской лавры в 1633 г., мы можем прочитать большую часть текстов, используя польские фонетические формы, при этом не внося каких-либо изменений в лексический состав. Стиль стихов барокковый, форма многих из них – сапфическая строфа; слова, которые нужны для рифмы, либо поддаются замене на польские формы, либо заимствованы

из польского. В искусстве и архитектуре украинское барокко было локальной формой польского. Все эти заимствования легко объясняются в рамках истории контрреформации и религиозного наступления, которое иезуиты начали на восточных территориях Речи Посполитой в 70-е гг. XVI в.

Интенсивная полонизация вызвала бурную реакцию определенной части православного украинского общества. В социальной жизни эта реакция проявилась в форме казацких войн. В культурной – в форме религиозных полемик и развитии православного образования. Некоторые полемисты, как, например, Иван Вышенский (умер вскоре после 1621 г.), пользовались языком сравнительно мало полонизированным (хотя и не без полонизмов) и придерживались церковно-славянской традиции. Церковные братства основной упор в своих школах делали на древнегреческий язык и поддерживали тесные контакты с Константинопольским патриархом.

Но вместе с тем следует отметить, что большинство тех, кто противостоял польской экспансии и католицизму, пользовались оружием, которое дала им эта самая экспансия. Цитированный выше фрагмент «Перестороги» начинается словами: «Читая польские хроники, находишь достаточно много [сообщений]». Плач Смотрицкого имеет греческое название «Тренос» и громит тех, кто перешел в польский лагерь, но написан он на безупречном польском языке. Нигде использование польской культуры не было так очевидно, как в киевском Могилянском коллегиуме (после 1701 г. известном как Киевская академия), центре украинской православной науки. Влияние академии, пропагандирующей (через польскую) культуру Запада, длилось в Украине (более того, и в самой России) вплоть до середины XVIII в., когда Киев уже почти восемьдесят лет был российским городом, а гетман Мазепа – человек западной (то есть польской) культуры – и победивший его под Полтавой царь Петр I давно отошли в мир иной.

Еще в 1740 г. киевская школа называлась «польско-славянско-латинской», и все ее выдающиеся выпускники и профессора – позднее слуги Москвы и Российской империи – или писали стихи по-польски, или владели собраниями польских книг. Симеон Полоцкий перевел песнь к Богородице «Akathistos Hymnos» – византийскую поэзию в церковно-славянском оформлении – на польский язык в 1648 г., в том самом году, в котором вспыхнуло восстание Богдана Хмельницкого. Позднее он осуждал своего брата, униата, за церковное отступничество опять же по-польски. Стефан Яворский, впоследствии митрополит рязанский и временный заместитель патриарха Московского, имел в своей библиотеке польские книги, цитировал в оригинале произведения Овидия периода его изгнания и писал эlegantные польские стихи. Поэзия Лазаря Барановича была плоха не потому, что он не знал польского, а потому, что он был плохим поэтом. В своих произведениях Баранович призывал поляков и украинцев, чтобы они перестали враждовать друг с другом и объединили силы в совместной борьбе против турков.



Обычно мы связываем имя Теофана Прокоповича с похвалами, на которые он не скупился в адрес Петра I и Москвы. Но мы должны также помнить, что этот бывший униат, выпускник Collegium Athanasianum в Риме и профессор киевской Могилянской академии, писал проповеди по-польски. Стихи в честь победы Петра под Полтавой он опубликовал на церковно-славянском, латинском и польском языках, но, без сомнения, польская версия является первичной. Для того, кто не знаком с проблемами польско-украинских отношений, может показаться удивительным, что это произведение, очерняющее Мазепу, читалось Петру в Киеве на польском языке. Все преподаватели киевского Могилянского коллегиума во время своих лекций по поэтике брали пример с поэзии Кохановского и «польского Горация» (то есть Сарбевского). Как Даниил Саввич Туптало (Димитрий Ростовский), автор знаменитых «Четий-Миней» («Жития святых»), чей первый том был опубликован в Киеве в 1689 г., так и Филипп Орлик (Пилип Орлик), преемник Мазепы и первый украинский политический эмигрант, не только владели собраниями польских и латинских книг, но и писали свои дневники на польском и латинском языках. Похоже выглядит ситуация и в Западной Украине в первой половине XIX в. В то время Максим Шашкевич, главное лицо «Русской Троицы» и один из первых поэтов Галиции, писавших по-украински, когда сочинял любовные стихи и письма к своей будущей жене, то делал это по-польски.

### **III**

Таким польское влияние на культурные элиты Украины было до конца XVIII в. А как отразилась экспансия на восток на саму Польшу? Некоторых польских историков она огорчает. Они считают, что эта экспансия поглотила ту энергию, которая была необходима для построения современного централизованного государства в Польше и поэтому до поделов Речи Посполитой его не удалось завершить. Что и привело к распаду польского государства в конце XVIII в. и замедлило формирование современной польской нации. Более того, Польша, расширяя свои владения на востоке, не была в состоянии решить украинскую проблему и предотвратить казацкие войны. Они, бесспорно, ускорили упадок Польши, что, впрочем, не принесло Украине никакой пользы. Тарас Шевченко был прав, когда говорил: «Польша пала, но похоронила вас вместе с собой»<sup>4</sup>.

В социальных и политических категориях экспансия Польши на восток способствовала образованию слоя польских и ополяченных магнатов (их называли «*krylewietami*»<sup>\*</sup>), которые имели в собственности огромные латифундии и даже содержали свои армии. Иеремия Вишневецкий, в детстве и юности последователь

<sup>\*</sup> *krylewietami* – магнаты, почти узурпировавшие королевскую власть, особенно окраинные магнаты, и заботившиеся исключительно о своих личных интересах (прим. переводчика).

православия, родственник Петра Могилы, но великий враг Хмельницкого, владел огромными имениями со столицей в Лубнах, население которых составляло 288 тыс. жителей. Другими «украинскими» магнатами, которые сыграли значительную роль в польской истории, были Збаражские, Чарторийские, Заславские и Потоцкие. Мощь этой прослойки была так велика, что одному из ее членов удалось получить польский трон: Михал Корбут, сын Иеремии Вишневецкого, стал королем Польши в 1669 г. Знаменитым преемником Михала был Ян III Собеский; правду сказать, его семья не принадлежала к магнатским, но была тесно связана с этим слоем общества и тоже осела в Украине (будущий герой родился в старом русском городе Олеске и владел обширными имениями на юго-восток от Львова).

Поскольку магнаты были против установления централизованной исполнительной власти, они не только подрывали демократические устои внутри польской шляхты, но также противодействовали реформам, которые могли сделать Польшу одним из самых сильных государств XVIII в. В свою очередь, средние слои польской шляхты, имевшие поместья в Украине, чувствовали для себя опасность со стороны казацкой верхушки, которая добивалась равных прав и равного социального статуса с поляками. Эта шляхта препятствовала решению «украинской проблемы», которая была для Речи Посполитой жизненно важной. Обе эти группы шляхты – часто имевшие украинское происхождение или проживавшие в Украине – активно способствовали развалу Польши.

В сфере культуры украинский пейзаж, история и язык оставили заметный след в польском языке и литературе. До 30-х гг. XX в. потомки помещиков, издавна живших среди украинцев, использовали особую разновидность польского языка, которую называли «окраинным польским». Их чувства по отношению к Украине, должно быть, были похожими на те, которые англо-ирландская аристократия питала к Ирландии и ирландцам.

В польской художественной литературе Украина и украинцы присутствуют с XVI в. Это присутствие особенно заметно в течение двух периодов: в позднем ренессансе и барокко, а также в романтизме. Практически все писатели эпохи барокко писали в Западной, а романтики – в Правобережной Украине (что отражает хронологию польской экспансии на восток). Первый период, в котором украинские мотивы появляются в старопольской литературе, нам особенно интересен. В то время творили пять больших поэтов: Себастьян Клонович, Шимон Шимонович, братья Зиморовичи (Шимон и Бартломей), а также «первый польский поэт барокко» Николай Сэмп Шажиньский. Все они были прежде всего поляками<sup>5</sup>, а уже потом либо католиками, либо приверженцами арианства. Они (их родители) выехали из Польши в Западную Украину или на территории, граничащие с ней. Четверо из пяти были мещанами по происхождению: Клонович жил в Люблине, а Бартломей Зиморович даже стал бурмистром Львова. Однако их этническое и религиозное «отличие» практически не нашло отражения в творчестве. Поэты, за исключением Сэмпа Шажиньского, рисуют свои *tableaux* (фр. – картины; прим. переводчика) с широким использованием

*couleur locale* (фр. – «местные краски»; прим. переводчика). Чувствуется, что они любят эту страну и ее народ (который называют русским или российским); «русский люд» или *Russigenas; Leontopolim sacram* – русскую столицу и даже руины старого Киева с его знаменитыми чудесами Печоры, воспетые Клоновичем в нескольких из 1800 латинских стихов «Роксолании». Их идиллии, которые зачастую представляют из себя вольные переводы Теокрита и Вергилия, оживляются пастушками и косцами с украинскими именами (скажем, Милко заменил теокритовского Милона). Эти играющие на бандурах пастухи украшают свой польский язык украинскими словами (к примеру, *solowii* вместо *slowik*), которые подаются как слова «из нашего языка». Произведение Шимона Зиморовича «*Роксоланки, то есть русские девушки*» 1629 г. является сборником любовных песен, в которых местный колорит, брачные обычаи и украинизмы включаются в рамки классицистического упражнения, написанного в Кракове молодым человеком, рожденным в Львове.

Религиозные споры этого времени не находят отражения в поэзии упомянутых авторов, нет в ней также никакого чувства превосходства, а тем более неприязни в отношении местного населения (лишь один раз подобный акцент звучит у Клоновича в отношении евреев). Напротив, идиллии Шимоновича свидетельствуют о его сострадании к местным жителям. В своих «*Żeńcach*» («Селянках») он с сочувствием рисует страдания молодых девушек, принужденных к тяжкому труду на поле под надзором безжалостного и жестокого надсмотрщика.

Только один из наших поэтов, Бартоломей Зиморович, дожил до 1648 г. и был свидетелем осады Львова казаками гетмана Хмельницкого и их татарских союзников. Одних и других он описал в идиллии «*Kozaczyzna i Burda ruska*». Естественно, что Зиморович испытывал отвращение к казакам, поскольку восстание Хмельницкого было смертельной угрозой для мира поэта, а сама осада стала причиной разорения его личных владений. Но не религиозные или национальные, а лишь социальные отношения определяют проблематику этих произведений: действующие лица (с украинскими именами) рассказывают о преступлениях, которые совершили казаки в отношении жителей Львова и его околлиц, при этом жертвы имеют религиозную и языковую общность со своими преследователями. Более того, из произведения Зиморовича мы узнаем, что христианские казаки более жестокие, чем неверные татары, и именно казаки осквернили львовский кафедральный собор святого Юрия<sup>6</sup>.

В отличие от названных выше поэтов, Ян Домбровский, писавший об Украине в XVII в., практически неизвестен. Единственная подлинная информация, которой мы располагаем о нем, – это свидетельствующая о польскости фамилия и польские слова, вплетенные в его латинские гекзаметры, а также одно произведение, написанное по совсем конкретному случаю. Но поскольку творчество Домбровского имеет существенное значение для наших рассуждений, давайте займемся им более обстоятельно.

Вскоре после 1618 г. Домбровский опубликовал на латыни поэму, написанную преимущественно гекзаметром, которую он назвал «*Samoenae Borysthenides*»

(«Днепровские Музы»). Поэма знакомила новоназначенного католического епископа Киева с историей этого древнего города (*priscae urbis*) и тех земель, которыми он владел в прошлом<sup>7</sup>.

Домбровский был увлечен Древней Русью, вызывающей страх у «наряженных в пурпур тиранов», то есть у византийских императоров. Восхищался он и современными ему казаками, которых хвалил за храбрость в борьбе с татарами, и особенно с турками на Днепре, и призывал древние Музы прославлять их мужественные подвиги.

Домбровский, конечно, был в курсе религиозных споров, раздиравших в то время Русь, но сам отдавал предпочтение католической церкви и униатам: так, он прославлял Яна Острожского за то, что тот «осудил греческие обряды». Несмотря на это, он называл киевский собор св. Софии «уважаемой святыней» и советовал новоназначенному епископу, чтобы тот поддерживал мир в своей овчарне. В поэме есть образ Старца – персонификация реки Днепр, – который сообщает епископу, что киевляне следуют давним византийским обычаям. Тон произведения «*Samoenae Borysthenides*» далек от того презрения, которое высказывал Петр Скарга в отношении необразованных русинов; поэт с симпатией относился к этой стране и сочувствовал ее людям – подобное мы находим в творчестве обоих Шимонов, Шимоновича и Зиморовича.

Мы не знаем, жил ли когда-нибудь Домбровский в Украине или нет и в какой степени его взгляды были типичными для того времени. Но его творчество, вместе с описанным ранее творчеством Шимоновича и Зиморовича, позволяет нам сделать вывод, что в XVII в. некоторые представители польской элиты начали считать Украину своей страной, а историю Украины трактовать как собственную.

Прежде всего в «Днепровских Музах» Домбровского заслуживает внимания прием, которым поэт воспользовался, чтобы познакомить епископа с той страной, где ему предстояло жить. Старец, персонификация Днепра (поэт называет его *Borysthenius Heros*), описывает древнюю историю Руси, начиная с мифических правителей Киева: Кия, Аскольда и Дыра (это в значительной части повторение «Повести временных лет»). Хотя непосредственно Домбровский пользуется лишь работами польских историков, на что указывает информация, содержащаяся в комментариях, которые он присоединил к своей поэме. Он цитирует Длугоша, Кромера и Матея из Мехова, но его основным «проводником» является Матей Стрыйковский.

Используя эти источники, Домбровский составил хронологическую конструкцию, которая намного опередила (и даже «превзошла») многие из положений известной исторической концепции Михаила Грушевского. Согласно Домбровскому, на начальном этапе своей истории киевские «монархи» управляли «сарматами», затем подчиняли себе северные племена – на латинском называемые *moschi* (то есть Москали) – и воевали с Византийской империей. (Среди прочего, Домбровский сравнивает княжну Ольгу с Орлеанской Девой.) Владения киевских «монархов» простирались от реки Вислок на западе до ледяных вод Волги на востоке. По-

том киевляне были покорены татарами, которые установили над ними свою власть; последующую экспансию татар в западном направлении сдержали поляки. Именно этим временем следует датировать начало казачества. В Киев возвратились русские князья. Самым достойным среди них был Даниил (Данило) из Галича. Он получил корону и титул «Короля всея Руси» от папского легата. Сразу после этого – для нас внезапно и неожиданно – автор говорит об Острожских, «настоящих потомках Даниила» (*Danielis vera proago*), а также о князьях Заславских, которые вместе с Острожскими и московскими князьями, по его версии, происходили от Игоря Рюриковича, князя середины X в. (это те самые Острожские и Заславские, жившие в XVI и в нач. XVII в., чье отступничество от православной веры горько оплакивал Мелетий Смотрицкий в своем – цитируемом выше – «Threnos», опубликованном на восемь лет ранее поэмы Домбровского).

После этого отступления, целью которого была поддержка амбиций современных ему магнатов, наш поэт возвращается к Даниилу из Галича и его сыну Льву. Их род правил в Киеве почти сорок лет, пока город не завоевали литовцы. В поэме победа приписана Гедмину, но Домбровский называет также других литовских правителей – Ольгерда, Витовта, Свидригайлу и Симеона, последнего князя Киева и Слуцка. В итоге над киевским княжеством простерлась власть польского короля Казимира Ягеллончика, который – о чем мы узнаем из комментария, – преобразовал его в воеводство. Историческая часть поэмы завершается прославлением сторонников короля: Замойских (названных также сынами земли русской) и великого коронного гетмана Станислава Жолкевского.

История Домбровского – это история определенных земель, а не история династии, наследники которой после Киева были разбросаны по разным регионам. Династический вид исторической конструкции был уже ранее в деталях отработан московскими «книжниками». Но в концепции Домбровского не нашлось места ни для Владимира над Клязьмой, ни для Суздаля, ни для Москвы, иными словами, для «перемещений» идеальной Руси из одного центра в другой. *Moschi* были соседями (*vicini*) Руси – жестокими и мрачным чужаками. Домбровский писал свою поэму около 1618 г., когда Польша вела войну с Москвой и когда было заключено Деулинское перемирие – момент наивысшего превосходства, который Речь Посполитая когда-либо имела над Москвой. Автор описал десять эпизодов войны с Москвой, где участвовали его герои, среди которых был также Константин Острожский Старший.

Убеждение в преемственности между Киевом Владимира Великого, крестившем Русь, и Киевом начала XVII в. было распространено и среди тогдашних киевских книжников, принадлежавших к основному религиозному течению – православию. Наличие исторического сознания, разделяемого как образованными украинцами, так и пишущими об Украине поляками, могло бы содействовать мирному разрешению «украинской проблемы» в рамках Речи Посполитой. Однако этого не случилось, и через полвека после Домбровского его концепция преемственности локальной

истории была вытеснена упомянутой выше концепцией, выработанной в Москве. Ее приняли и местные писатели, которые начали служить новым хозяевам Киева. Ярким примером тому является произведение, названное «Sinopsis». Оно появилось в 70-е гг., когда Киев уже находился под фактической властью Москвы. Его автор воспользовался идеей преемственности от Владимира Великого до князей московских, чтобы доказать, что Украина должна подчиниться Москве. К своему труду он приложил генеалогию, придуманную в Москве, согласно которой Владимир Великий был потомком цезаря Августа. «Sinopsis» – первая история Восточной Европы, которая вышла из-под пера местного автора и открыла новый этап в украинской историографии.

В период романтизма в польской литературе возникла целая «украинская школа»; ее знаменитыми представителями были Антоний Малчевский (автор поэмы «Мария»), Северин Гощинский, Юзеф Богдан Залеский и Михал Чайковский (Садык Паша). Все они родились в Украине. Трое из них были вынуждены эмигрировать после восстания 1831 г., забирая с собой воспоминания об украинских песнях, казаках и украинских пейзажах. Все их последующее литературное творчество проникнуто ностальгией по прошлому. Юлиуш Словацкий в «Беневском» сравнивал польский язык с песней украинской степи и жалел тех, кто не имел возможности почувствовать присутствия Бога на голубых равнинах Украины. Немного ранее (1804) писавший в стиле классицизма Станислав Трембецкий, начиная описание сада в Софиевке (имение польской аристократки Зофии Потоцкой из Тульчина около Винницы), называет Украину в библейском стиле «землей, где течет молоко и мед». За два столетия до этого Бартоломей Зиморович использовал этот же оборот, говоря о землях русских.

Поляки в XIX в. (а читатели, воспитанные на трилогии Генрика Сенкевича, даже в XX в.) представляли Украину как часть польского литературного пейзажа. Здесь приходит на ум аналогия с Редьярдом Киплингом и Эдвардом М. Фостером, которые породнили английского читателя с Индией.

#### **IV**

Некоторые украинские историки считают, что польское присутствие не имело для Украины большого значения. С такой позицией тяжело согласиться, особенно если речь идет о формировании национального и культурного сознания элит. Во-первых, польское присутствие дало украинским элитам в XVI и XVII вв. возможность пользоваться достижениями западной цивилизации, которое в ином случае оказалось бы для них недоступным. Украина и Беларусь – это единственные православные славянские земли, испытавшие ренессанс (в традиционном значении этого слова) и в еще большей степени его продолжение – барокко и контрреформацию. Только на этих православных землях имел место интенсивный контакт с



протестантами. И уже совсем иной вопрос, что из всего этого влияния отразилось не только на высших слоях населения, но также на крестьянах и рядовых казаках. На протяжении от одного до четырех веков, в зависимости от региона, украинцы участвовали в жизни нецентрализованного государства, в котором уважалась свобода личности и привилегии (ограниченные, правда, высшими слоями общества). Казацкие элиты в период Гетманщины подражали именно польской модели государственного устройства. В основе современного украинского языка лежит народный диалект, доминирующий на землях восточнее Днепра, но литературный язык XVI и XVII вв. был сильно полонизирован и даже часть современной лексики (и многие речевые обороты) обнаруживают польское влияние. В конце концов, вспомним, что религиозный раскол внутри украинской нации был обусловлен Брестской унией. Этот раскол углубился в результате первого раздела Речи Посполитой, но начался он с польской экспансии в Украину после Люблинской унии.

Перевод с польского Сергея Воронкевича

### Примечания

- <sup>1</sup> Возняк М. *Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині і у Львові*. Львів, 1954. Ст. 26. Сравни также того же автора: *Історія української літератури*. Т. 2, ч. 1. Львів, 1921. С. 171.
- <sup>2</sup> Meleczysz Smotrycki. *Threnos, to jest Lament...* Wilno, 1610. С. 16; Факсимиле-издание XVIII в. находится в *Collected Works of Meletij Smotryc'kuj* (с предисловием Дэвида Фрика (David E. Frick), Harvard Library of Early Ukrainian Literature, Texts 1 (Cambridge, Mass., 1987), ст. 31).
- <sup>3</sup> *Collected Works of Meletij Smotryc'kuj*. Р. 31–32 (факс., с. 15–16).
- <sup>4</sup> «Правда ваша: Польша впала Тай вас роздавила», сравни: *Послание // Тарас Шевченко. Повна збірка творів*. Київ, 1949. С. 296. Сравни также: *На тій Україні, На тій самій що з Тобою* [то есть, с Богданом Хмельницким] *Ляха задавила, Байстрюки Єкатерины* [то есть Екатерины II] *Сараною сілі* (там же, с. 271).
- <sup>5</sup> Некоторые исследователи говорят об османской генеалогии Зиморовичей.
- <sup>6</sup> Почти спустя два века после Зиморовича Маркиан Шашкевич, сын украинской земли, также написал поэму об осаде Львова Хмельницким. В ней он подражал языку и стилю исторической песни (думы) XVII в. Правда, перспектива поэмы была уже иной: автор симпатизировал осаждающим, и в поэме нет ни татар, ни грабежей, речь идет лишь о выкупе.
- <sup>7</sup> Dąbrowski Jan. *Camoenae Borysthenides: seu filicis ad Episcopalem sedem Chioviensem ingressus, Dni Boguslai Radoszowski Box a Stemikowice, gratulatio* / b.m. (ok.1618) Cf. K. Estreicher // *Bibliografia polska...*, część III, tom VI (=XV). Kraków, 1897. S. 3–4. Хочу поблагодарить проф. Ежи Аксера за то, что он сделал возможным для меня получить доступ к оригиналу (дубликат древнего экземпляра Ossolineum в настоящее время находится в библиотеке Института литературных исследований ПАН). Я также пользовался (полным ошибкой) украинским переводом, выполненным Володимиром Литвиновым в: *Українська поезія XVII століття (перша половина)*. Київ, 1988. С. 94–119, под редакцией В.В. Яременко, где эта поэма была «впервые»

*Игорь Шевченко*

опубликована (ст. 343). Обхожу стороной вопрос о том, все ли три произведения, которые Эстрайхер приписывает Яну Домбровскому II, являются произведениями именно этого автора. Последнему противоречит хронология. – O katolickim biskupie Kijowa i Łucka, Bogusławie Boska-Radoszewskim, смотри: *Polski słownik biograficzny*. T. 29 (1986). S. 747–748 (В. Кумор). Согласно Домбровскому, Радошевский имел венгерских предков, но был связан с Русью по матери. Как епископ он позвал в Киев иезуитов в 1620 г. Автор не мог принять во внимание статью Наталии Яковенко *Niespodzianki ukraińskiej historii przedstawionej pa łacinie («Camoenae Borysthenides» Jana Dąbrowskiego)* („Łacina w Polsce”. Z. 1–2 (ОВТА 1995). S. 45–54), которая появилась уже после сдачи в печать данной рукописи.

## **«ПОЛЬСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ» В БЕЛОРУССКОЙ ИСТОРИИ**

Одним из самых сильных впечатлений 2004 г., связанных с белорусско-польскими отношениями, стали итоги экспедиции по изучению исторической памяти жителей белорусско-русского пограничья. Экспедиция работала в Горецком районе Могилевской области, а главным предметом исследования была последняя война. Среди прочего исследователи интересовали боевые действия польской дивизии имени Т. Костюшко. В октябре 1943 г. эта дивизия в боях под деревней Ленино понесла значительные потери. Исследовательская группа, которой автору довелось руководить, выявила несколько распространенных «народных» версий, объясняющих эти потери. Чаще всего люди говорили, что поляки якобы пытались перейти на немецкую сторону. При этом они попали и под немецкий, и под советский обстрел. Некоторые собеседники даже обвиняли поляков в уничтожении своей деревни (по их словам, польская «измена» привела к тому, что немцы остановили наступление «наших»). На вопрос, отчего же полякам поставлены памятники и создан музей их памяти, люди либо не отвечали вообще, либо говорили: «Потому что их много побили». Также фигурировали версии, что поляки воевали на стороне немцев; что поляки сдались в плен и их расстреляли немцы; что поляков побили «русские» в суматохе боя; что поляков подставили «наши» (не дали оружия и бросили под уничтожающий немецкий огонь) и, наконец, версия польского героизма – вместе с «нашими». Последняя была самой редкой. Большинство собеседников не могли принять факт участия поляков в войне на стороне Красной Армии. В сознании этих людей поляки фигурировали как «чужие» и противопоставлялись «нашим». Фактически устная история боев под Ленино выявила четкий антипольский ком-

плекс. Позже, во время прослушивания аудиокассет с записями интервью, еще раз подумалось о роли исторической традиции в создании образа ближайшего западного соседа Беларуси.

\* \* \*

В течение многих столетий «польское присутствие» было важным фактором белорусской истории. Географическое соседство белорусов и поляков обусловило переплетение исторических судеб двух народов и взаимные влияния, оценки которых обычно выходят далеко за пределы исторической науки. Но именно историографии принадлежит решающее слово в формировании образа соседа. В так называемую «эпоху национализмов» историческое сознание – сочетание знаний о прошлом с определенной системой ценностей и оценок – превратилось в важный элемент политической и национально-культурной жизни.

Какой же образ поляка создавали белорусские историки и другие представители национально-культурной элиты в период, когда именно национальное становилось одним из главных критериев размежевания между «нашими» и «другими»?

Начнем с **Викентия Константина (Кастуся) Калиновского** (1838–1864), фигура которого еще не принадлежала к эпохе национализмов, но предвещала ее наступление. В публицистике К. Калиновского главным врагом Литвы-Беларуси объявлялись «москали», на которых лежала ответственность практически за все беды и несчастья края. Оценка или характеристика поляков на страницах «Мужицкой правды» и других изданий, выпускавшихся Калиновским, отсутствовала. Несмотря на все сложности во взаимоотношениях Литовского провинциального комитета и самого Калиновского с варшавским руководством, поляки оставались «своими». Похоже на то, что Калиновский вообще не осознавал принципиальной разницы между поляком и литвином. Например, в Манифесте от 3 мая 1863 г. жители Беларуси назывались сынами «единого Польского Отечества». «Яська – гаспадар з-над Вільні» никогда не выступал против польской традиции борьбы за независимость. В знаменитых «Письмах из-под виселицы» Калиновский призвал белорусов поддерживать борьбу «варшавских братьев» против царизма:

«Поэтому, народ, как только услышишь, что братья твои из-под Варшавы бьются за правду и свободу, тогда и ты не оставайся позади, но, схватившись за что сможешь, за косу, топор, всем миром иди воевать за свое человеческое и народное право, за свою землю родную».

Своеобразным ответом литвину В. К. Калиновскому стали «Рассказы на белорусском наречии», напечатанные в Вильне в 1863 г. Анонимный автор «Рассказов» ясно осознавал особый характер поляков и противопоставлял их «литвинам», которые «жили с белорусами в большом согласии». С поляками связывалась потеря независимости, ополячивание и окатоличивание:

«Много польских панов начало переезжать в русские и литовские края; также много панов белорусско-литовских, чтобы занять кресло в польском сенате, отрекалось от родной веры и родного языка; начали строить костелы на русских и литовских землях; римско-католическое духовенство принялось стараться, чтобы всех литвинов и белорусов сделать католиками. Для литовских и белорусских земель настали очень тяжелые времена».

Литвинскую традицию в историографии продолжил **Адам Киркор** (1818–1886). Именно он был автором исторической части «белорусско-литовского» тома «Живописной России» (1882). А. Киркор, в частности, упомянул о борьбе, которую вели польские политики во главе с краковским епископом З. Олесницким против стремления Витовта «создать сильное независимое государство и стать королем Литвы и Руси». Люблинскую унию автор расценил как политическую смерть Великого княжества. Тем не менее он не выразил никакого осуждения в адрес польских политиков. Наоборот, о том же З. Олесницком и его соратниках А. Киркор заметил, что они были «людьми разумными, глубокими политиками и настоящими патриотами» своего Отечества (Польши). Аналогичную позицию исследователь занял в отношении к польскому культурному доминированию на белорусских и литовских землях в XVII–XVIII вв.

«Нельзя не согласиться, что как в образовании, так и в гражданских правах и установлениях и, наконец, в сознательном чувстве патриотизма поляки имели значительное преимущество перед литовцами и белорусами. Этим и объясняется, что по закону природы высшая и более сильная цивилизация поглотила слабейшую и более молодую».

Совершенно иную характеристику получил образ поляка в публицистике белорусских народников, которые в начале 80-х гг. XIX в. попытались теоретически обосновать существование белорусской нации. В «Письме Данилы Боровика» (1882) отмечалось, что до XV в. белорусский народ жил самостоятельной жизнью, имел собственное государство («Литву») и сам определял свою судьбу. Все изменилось с появлением культурно-религиозного и политического влияния Польши. Его результатом, по мнению автора, стала полонизация «высшего класса белорусского народа» и утрата государственности. Аналогичных взглядов на белорусскую историю придерживались издатели народнического журнала «Гомон» (1884). Они утверждали, что ближайшие западный и восточный соседи обычно смотрели на белорусов как на материал для ассимиляции и стремились растворить их в «великорусском или польском море»:

«Политика насилия продолжалась целые столетия, начиная с владычества Польши и кончая господством московского абсолютизма».

Следующим шагом на пути становления белорусской историографической традиции стал перенос публицистического варианта национальной концепции истории Беларуси на научную почву. Первым это попытался сделать **Митрофан Довнар-Запольский** (1867–1934). В 1888 г. историк выступил на страницах газеты

«Минский листок» с серией статей под названием «Белорусское прошлое». Он не сомневался в существовании белорусской нации, история которой сохраняла сильные традиции «народовластия» и государственной самостоятельности. Однако, по его мнению, распространение религиозного и политического влияния Польши нанесло сильный удар по самостоятельности и демократическим традициям. Деятельность польских политиков М. Довнар-Запольский охарактеризовал как стремление «насадить» шляхетскую аристократическую республику и подогнать под польско-католический образец все народы края. Эта политика обернулась для Беларуси установлением «польско-католического ига», что заставило белорусов искать помощи в Москве, чье отношение к культурным особенностям белорусов ничем не отличалось от польского.

«Польша навязывала Беларуси шляхетскую аристократическую республику, Москва – боярскую олигархию. И первое и второе государства целиком исключали из политической жизни демос, тогда как белорусский народ по своим историческим и народно-бытовым традициям был в высшей степени демократичен».

В работах М. Довнар-Запольского народнический тезис о «двух бедах» белорусской истории («российской» и «польской») получил научное обоснование, и вес его неизмеримо вырос. Поляки все больше и больше превращались в одного из главных врагов Беларуси.

Большое место поляки занимали на страницах «Краткой истории Беларуси» (1910) Вацлава Ластовского (1883–1938), которая представляла собой первую попытку белорусов научно-публицистически осмыслить историю своей государственности. Историю ВКЛ В. Ластовский объяснял при помощи знакомой концепции «двух бед». Он доказывал, что Польша и Москва, всегда враждующие друг с другом, в своем отношении к Белорусско-Литовскому государству сошлись на общей платформе его уничтожения. Агрессия Москвы, по его мнению, способствовала экспансионистским целям польских политиков: «Иоанн III словно загонял Литву и Беларусь в руки поляков». Именно с этой агрессией В. Ластовский связывал заключение Люблинской унии (1569), которую он вслед за А. Киркором охарактеризовал как политическую смерть Белорусско-Литовского государства.

Этой «политической смерти», по мнению политика и историка, сильно поспособствовало «ополячивание» высших кругов белорусского этноса в XVI–XVIII вв. Впрочем, в этом процессе В. Ластовский видел скорей самополонизацию, чем итог польской политики национального гнета. Он с осуждением писал о шляхте, которая «оставляет все родное, белорусское, забывает о национальном деле, чье место занимает дело шляхетства».

Шляхте и магнатам В. Ластовский противопоставил народ, который «становился им чужд со всеми своими бедами и несчастьями», но «сумел сберечь свой старейший язык, обычаи». Причины крестьянско-казацкого движения в Беларуси в 1648–1651 гг. он видел преимущественно в национально-религиозной политике верхов Речи Посполитой. Войско гетмана Януша Радзивилла, сражавшееся с повстанцами,



он назвал «польским» и привел строки из песни пинчан, уцелевших после разорения Пинска в 1648 г.:

Дзень і ноч буду маліці,  
Дзень і ноч буду прасіці,  
Каб загінулі ляхі.

Речь Посполитую XVII–XVIII вв. В. Ластовский называл «польской Речью Посполитой». Ее правители, по его мнению, несли полную ответственность за уничтожение свободы вероисповедания. Именно политика религиозного угнетения не католиков, проводимая шляхтой вместе с католическим духовенством, заставляла православных искать поддержки в Москве, а протестантов – в германских государствах. Вмешательство соседей и привело к разделам страны.

В «Краткой истории» проводилась идея тождества негативной роли поляков и «москалей» (русских) в белорусской истории. Если «польская беда» преобладала в авторской трактовке истории XV–XVIII вв., то «московская» – в истории XIX в.

Таким образом, на стадии закладки фундамента белорусской национальной историографии происходил постепенный переход от трактовки поляков как «наших» («своих») к их восприятию в качестве одной из главных (вместе с русскими) бед отечественной истории. В образе поляка стали явно преобладать негативные черты. Среди главных претензий белорусской элиты к западному соседу фигурировало уничтожение государственной независимости и самостоятельности Белорусско-Литовского края (исторической Литвы), «ополячивание и окатоличивание» высших кругов белорусского общества, ликвидация традиции «народовластия», установление крепостничества. Положительные характеристики (борьба против царизма, патриотизм, высокий культурный уровень) встречались только в текстах В. К. Калиновского и А. Киркора – людей, принадлежавших еще к литвинской традиции. К началу XX в. эти положительные черты в образе поляка совершенно исчезли. Возобладала концепция «двух бед» белорусской истории, объяснявшая все превратности белорусских исторических судеб или польским, или «московским» (русским) влиянием. Единственное, что немного смягчало «польский образ» в сравнении с «московским» (русским), – это неоднозначные оценки полонизации: некоторые авторы («Рассказы на белорусском наречии», В. Ластовский) усматривали в последней элементы самополонизации.

Эволюция образа поляка была результатом перемен в национально-культурной ситуации. Белорусская нация формировалась как этнокультурная категория, и для ее идеологов важно было сохранять и развивать в первую очередь этнические и культурные приметы белорусскости. Определенную роль сыграл также социальный конфликт в белорусской деревне, зачастую приобретающий форму национальной борьбы «белорусского мужика» против «польского пана». С началом политического этапа белорусского Возрождения этот конфликт мог обостриться еще больше. Однако долгое время такого обострения не наблюдалось. «Краёвая» позиция большинства белорусских поляков, в основе которой лежало восприятие Белорусско-Литов-

ского края (исторической Литвы) как своего Отечества, была отличной почвой для сотрудничества. Польские *краёвцы*, как и белорусские деятели, воспринимали Белорусско-Литовский край как субъект истории и мечтали о его превращении в субъект политики.

В межреволюционный период (1907–1917) *краёвую* идеологию разделяли руководители белорусского движения братья Луцкевичи, Вацлав Ластовский. Но их отношение к *краёвой* концепции было исключительно прагматическим. Белорусские деятели стремились использовать *краёвость* ради укрепления позиций белорусского движения. Они оставались «белорусскими *краёвцами*» и ясно сознавали специфику национальных интересов даже местных белорусских поляков. Вместе с тем надо отметить почти полное отсутствие антипольских выпадов на страницах «Нашей Нивы». Исключением были только ответы на антибелорусские заявления членов польской Национально-демократической партии. Более того, «Наша Нива» даже пропагандировала достижения польской культуры, прежде всего литературы.

#### Комментарий историка

*Краёвцы* начала XX в. предложили альтернативное видение роли поляков в истории Белорусско-Литовского края. Большинство *краёвцев* происходило из культурно ополяченной шляхты бывшего ВКЛ. Однако чувство принадлежности к польской нации сочеталось с осознанием Литвы-Беларуси в качестве своей Родины. Последнее обычно играло решающую роль, когда надо было принимать политические решения. Ядром *краёвой* идеологии была идея политической (гражданской) нации («нации литвинов»). Идеологи *краёвости* (Роман Скирмунт, Михал Ромер) главным критерием национальной принадлежности объявили чувство *краёвого* патриотизма. Этнокультурные особенности разных народов считались делом второстепенным. Соответственно ядром *краёвой* историографии стала идея национального единства поляков, литовцев и белорусов, обусловленного общей исторической судьбой этих народов на территории бывшего ВКЛ. В качестве «других» или «чужих» фигурировали только русские и евреи.

В 1917–1918 гг. Литва-Беларусь стала ареной острых политических и национальных конфликтов. Началась борьба за создание национальных государств. В этих условиях *краёвцы* как явление региональное утратили свои позиции.

Белорусский национально-освободительный проект 1918 г. (Белорусская Народная Республика) потерпел неудачу. Не последнюю роль в этом сыграло отрицательное отношение к белорусской государственности со стороны польских политиков. Антон Луцкевич в 1920 г. в брошюре «Польская оккупация в Беларуси» писал: «Вся буржуазная Польша открыто начала борьбу с белорусским народом».

Брошюра А. Луцкевича была переполнена фактами глумления и насилия польских армейских властей над белорусскими крестьянами и интеллигенцией. Она написана крайне эмоционально – возможно, сказались обманутые надежды белорусов на тех, кто еще совсем недавно воспринимался как «свои». Непосредственным результатом этого конфликта стал советско-польский Рижский договор (1921) и раздел Беларуси, который разрушил идею независимого белорусского государства и вызвал дальнейшее ухудшение польско-белорусских отношений.

Межвоенная Польша была национальным польским государством, проводившим политику государственной (национальной) ассимиляции непольских народов, в том числе белорусов. Это чувствовалось уже на самых первых этапах ее истории. В 1921 г. **Игнат Абдиралович** отмечал в известном эссе «*Адвечным шляхам. Дасьледзіны беларускага сьветагляду*» [Извечным путем. Исследования белорусского мировоззрения]:

«...Органично понятной и приятной польскому сердцу осталась «*idea jagiełłońska*» <...> Тут речь не идет обо всем мире, обо всех славянах, нет – Польша хочет быть «*od morza do morza*». И вот идет насилие над нашими душами, потому что мы случайно тоже оказались между этими двумя морями. Тут Запад идет со всей жестокостью Востока: насилие, принуждение, надругательство, вырывание души белоруса сопровождается всеми атрибутами приятного западного облика».

Совершенно ясно, почему белорусская национальная историография первой половины 20-х гг. XX в. в вопросе о роли поляков в отечественной истории не выходила за границы конфронтационного понимания польско-белорусских отношений. Например, М. Довнар-Запольский в «Истории Беларуси» (1924) много писал о тех потерях, которые понесла Беларусь в результате колонизации первой трети XIX в.:

«Эта эпоха вырвала из Беларуси многих самых выдающихся ее сыновей, которые забыли о своей национальности <...> и отдали свой ум и таланты польской культуре и национальности».

В перечне этих потерь фигурировали Адам Мицкевич и «его школа», Юзеф Крашевский, Владислав Сырокомля, историки Адам Киркор, Теодор Нарбут и др. При этом колонизация трактовалась как сознательный курс на культурную ассимиляцию, проводившийся польскими магнатами, которых представлял Адам Чарторыйский, и польской интеллигенцией в лице ректора университета Яна Снядецкого. Польскому движению начала XX в. историк дал негативную оценку:

«Развитие польской культуры представляло собой опасность для белорусского национального дела, ведь в польское движение, естественно, могли вовлекаться и коренные белорусы».

В главе, посвященной истории борьбы за государственность Беларуси, М. Довнар-Запольский отметил захватнические устремления поляков, сравнив их с политикой насилия со стороны большевистского правительства. Таким образом, на

страницах «Истории Беларуси» поляки остались в отношении к белорусскости однозначно враждебной силой.

\* \* \*

Национальное угнетение, которому подвергалось белорусское население на территориях, присоединенных к Польше в 1921 г., оказало сильное влияние на трактовку исторической роли поляков в работах белорусских советских историков. Одним из самых ярких представителей этой историографии был академик Всеволод Игнатовский (1881–1931), автор первого советского учебника по истории Беларуси («Краткий очерк истории Беларуси», 1921).

Роль поляков в прошлом Отечества В. Игнатовский объяснял исключительно в рамках концепции «двух бед». Например, Люблинскую унию автор считал отрицательным событием и характеризовал как «инкорпорацию Литвы и Беларуси в организм Польши», так что «самостоятельность и независимость Литвы и Беларуси» оказалась утрачена. В результате установилось политическое и культурное господство Польши, обернувшееся тем, что «литвины и белорусы высших сословий ополячивались, отходили от отечества своего, от своего народа». Польская сторона обвинялась в уничтожении «самобытного политического лица» ВКЛ и попытках ликвидации культурной и национальной самобытности княжества. Последнее не удалось лишь благодаря тому, что «низшие классы» сохранили белорусский язык и культуру, попав при этом в подневольное состояние. В. Игнатовский заметил, что белорусский народ «забитый и загнанный, поставленный в состояние “быдла” <...> забыл даже, какой язык и какую национальность он сохранил. В его темном уме все перепуталось и слилось. Пан, католик и поляк – с одной стороны; мужик и “здешний” – с другой стороны, стали для его ума синонимами».

Положение Беларуси не стало лучше и после разделов Речи Посполитой. Историк заметил, что страна «попала из огня да в полымя». Безразличие российских властей к политике ополячивания, действовавшей в Беларуси в течение большей части XIX в., после поражения восстания 1863 г. сменилось курсом на русификацию. Белорусская культура и язык попали во второй половине XIX в. под гнет «феодално-бюрократической империи».

В 20-е гг. XX в. в качестве основных претензией к польскому соседу по-прежнему фигурировали полонизация, ликвидация собственной государственности и независимости, а также крепостничество и рабское состояние белорусского крестьянства. При этом в период своеобразного советского плюрализма образ «польского врага» в определенном смысле уравновешивался образом «имперского русификатора». Однако политические перемены в СССР конца 20-х гг., сутью которых было установление коммунистической диктатуры, совершенно изменили условия развития исторической науки. Настало время полного идеологического контроля.

История как наука подверглась репрессиям. На смену концепции «двух бед» пришел тезис о «враге № 1», которым стали так называемые «польские паны». Секретарь ЦК КПБ Тимофей Горбунов, претендовавший на роль «первого» белорусского историка, одну из глав своей работы «Год под знаменем Советов. К годовщине освобождения Западной Беларуси от панской Польши» (Минск, 1940) так и назвал: «Польские паны – извечные враги белорусского народа».

#### Комментарий историка

От государственной поддержки к репрессиям – такова была судьба польской общины БССР в 20–30-е гг. XX в. Согласно переписи 1926 г., в республике проживало 97,5 тыс. (2,0%) поляков. Они являлись одной из основных национальных групп БССР. В период так называемой «политики белорусизации» их этнокультурные особенности в основном учитывались. В 1921 г. специальным решением правительства за польским языком был закреплен статус государственного наряду с белорусским, русским языками, а также идишем. В 1924 г. существовало 136 польских школ и 7 польских детских домов. В 1927 г. было создано Польское отделение Белорусской ассоциации пролетарских писателей. В местах компактного проживания польского населения организовывались польские национальные сельсоветы; всего их было создано 41. В итоге политических репрессий второй половины 30-х гг. польские национально-административные единицы были ликвидированы. Закрывались польские школы. Апогей антипольских преследований настал в 1937–1938 гг. Начались массовые депортации и физическое истребление польского населения. Анализ статистических материалов свидетельствует, что количество поляков БССР между 1937 и 1939 гг. уменьшилось на 61,5 тыс. Часть их была убита в Куропатах и других местах массовых расстрелов, часть – депортирована в Казахстан и Сибирь.

В 30-е гг. XX в. власти БССР полностью превратили историческую науку в служанку господствующей идеологии. Она должна была идеологически обосновывать проведение массовых репрессий по отношению к польской общине республики. В работах советских исследователей история белорусов обычно сводилась к истории борьбы против экспансии «польских панов», причем последняя сопровождалась насильственным «ополячиванием» и денационализацией. В качестве основных вех борьбы отмечались войны Галицко-Волынского княжества против Польского королевства; народное сопротивление Брестской унии; освободительная борьба, вместе с украинским народом, в XVII–XVIII вв.; события 1863 г. как восстание против (!) «польских панов», которое подавил Муравьев-вешатель. Тяжкая участь белорусского крестьянина в досоветское время трактовалась исключительно как результат польского господства на белорусских землях. В заключение исторического обзора да-

валась характеристика жизни белорусов во II Речи Посполитой. Обычно картина рисовалась ужасающая.

Какие же выводы делались из всего этого? Владимир Пичета:

«Существование белорусов и украинцев под властью панской Польши в окончательном итоге привело бы народные массы к полному физическому вырождению».

Исторические работы 30-х гг., в которых фигурировали поляки, служили и делу идеологического обоснования будущей агрессии СССР против Польши. В 1939 г. СССР вместе с гитлеровской Германией совершил эту агрессию, которую коммунистические идеологи назвали «освободительным походом». События 1939 г. и в дальнейшем оставались фактором, полностью определяющим оценки роли и места поляков в белорусской истории.

Комментарий историка

«Освободительный поход», как известно, был лишь реализацией сталинско-гитлеровского плана раздела Центрально-Восточной Европы, оформленного секретным протоколом к пакту Молотова–Риббентропа от 23 августа 1939 г. Установление советской власти в Западной Беларуси сопровождалось массовыми репрессиями. На основании документов НКВД-КГБ Беларуси историк Александр Хацкевич заключил, что за период 1939–1941 гг. из западных областей республики на восток было депортировано свыше 120 тыс. чел. Основную часть репрессированных составляли поляки. Зачастую они считали белорусов главными виновниками расправ, хотя белорусы и сами являлись объектом политических репрессий.

Дальнейшему росту напряженности в польско-белорусских отношениях способствовала политика немецких оккупационных властей после июня 1941 г., которую по отношению к белорусам и полякам можно охарактеризовать известной формулой *«divide et impera»*. В феврале 1942 г. возникла Армия Краёва (АК), которой суждено было стать основной силой польского движения сопротивления. Главная цель деятельности АК на территории Западной Беларуси (воссоздание польской государственности) расходилась с целями и советской власти, и белорусских партизан. Однозначно оценить деятельность польского движения сопротивления на белорусских землях невозможно. Известно, что в АК сражались не только поляки, но и белорусы, что ее деятельность способствовала освобождению Беларуси от германской оккупации. Но существует много фактов, которые свидетельствуют, что и белорусское население оказывалось жертвой действий АК. Командир Столбцовской группировки АК капитан Адольф Пильх отмечал, что с декабря 1943 по июнь 1944 г. его бойцы убили около 6 тыс. «большевиков». По мнению историка Юрия Туронка, большую часть жертв составляли белорусы, подозревавшиеся в связях с партизанами.



Наступление советской армии принесло множество новых жертв. Преследования охватили не только тех, кто сотрудничал с немецкими оккупационными властями. Многие белорусы и поляки были обвинены в национализме и репрессированы. Началась новая волна депортаций. Согласно подсчетам польского демографа Петра Эберхардта, было депортировано еще около 80 тыс. чел.

Белорусской советской историографии послевоенного периода было свойственно видеть прошлое белорусского народа исключительно в категориях конфронтации. Трагические исторические события обычно объяснялись при помощи образа врага, который в зависимости от конкретного эпизода получал соответствующий социальный, национальный или религиозный облик. Особенно часто этот «враг» одевался в наряд «польского пана». Самым видным представителем такой «историографии» был академик Лаврентий Абецедарский. В своей известной брошюре «В свете неопровержимых фактов» (Минск, 1969) он писал:

«В жестоких условиях католической реакции (белорусский народ. – А.С.) нашел силы сохранить свой язык, свою культуру».

Интересно, что термин «полонизация» в брошюре не использовался. Автор также не стал детализировать тезис о «национальном гнете» со стороны поляков. Возможно, эта осторожность в конце 60-х гг. XX в. была вызвана тогдашней политикой ускоренной русификации. Многие белорусские советские историки в этих условиях стремились вообще избегать анализа ассимиляционных процессов.

#### Комментарий историка

Свобода национально-культурного развития в послевоенной БССР отсутствовала. В республике осуществлялась политика русификации, жертвой которой становилось и местное польское сообщество. После Второй мировой войны русский язык стал единственным языком администрации. В 1947 г. в Гродно была закрыта последняя в Беларуси польская школа. Местных поляков изолировали от польской культуры. Переписи, проводившиеся в БССР, свидетельствуют, что доля поляков во всем населении республики неуклонно уменьшалась: 1959 г. – 538,9 тыс. (6,7%), 1970 г. – 382,6 тыс. (4,3%), 1979 г. – 403,2 тыс. (4,2%), 1989 г. – 417,7 тыс. (4,1%).

Положение стало меняться лишь во второй половине 80-х гг., с началом «горбачевской перестройки». В 1988 г. был создан Союз поляков Беларуси, стали возникать многочисленные польские общества, началось факультативное изучение польского языка в школах, появилась польская газета *Głos nad Niemna* (1989). Перемены углубились, когда распался СССР, открыв путь к созданию независимого белорусского государства. 27 декабря 1991 г. Польша признала независимость Республики Беларусь. Значительная часть местной польской общественности выступила с заявлениями, в которых однозначно связывала свою судьбу с независимой и демократиче-

ской Беларуси. Однако в середине 90-х гг. после победы на президентских выборах Александра Лукашенко в национальной политике руководства страны произошел поворот к возобновлению политики русификации и советизации населения.

Повлияли ли перемены конца 80–90-х гг. XX в. на образ поляка в белорусской историографии? Чем отличается нынешний образ от прежних?

Ситуация в современной исторической науке Беларуси достаточно сложна, и, увы, это обусловлено не только проблемами внутреннего развития самой науки. Государство пытается вернуть себе прежний контроль над гуманитарными дисциплинами, в том числе над историей Беларуси. Под «государственной крышей» модернизируются старые концепции советской историографии. Примером может служить «История Беларуси. Досоветский период. Часть 1» (Могилев, 2003) преподавателя Могилевского педуниверситета Якова Трещенка. Знакомство с ней позволяет говорить о российско-шовинистическом и православно-ограниченном характере написанного и о сознательном обкрадывании белорусской истории. Свою живучесть демонстрирует и старый образ врага. Его роль отыгрывают, в частности, «польские помещики» и католическое духовенство. Люблинскую унию Я. Трещенок оценил как «завершение процесса фактического поглощения Литвы польским королевством». Однако подлинным финалом операции по уничтожению белорусского народа, по его мнению, стала Брестская уния как проявление католической экспансии. Оценки этой «экспансии» носят крайне эмоциональный характер. Вот что утверждает могилевский преподаватель:

«С католической экспансией история связывает порабощение и физическое истребление целых народов, религиозные войны, поражавшие своей жестокостью даже ко всему привыкших современников, ужасы инквизиции и духовное растрепанье иезуитизма, беспощадное преследование всякого свободомыслия. Всё это в полной мере довелось испытать нашим предкам... Окаатоличивание означало полонизацию».

При этом «польские помещики» якобы настолько жестоко угнетали белорусских крестьян, что те оказались на грани физического вырождения. Выжить белорусам помогали только «экономические, церковные и культурные связи с Россией». Но даже «воссоединение с Россией» (термин Я. Трещенка) не изменило положения белорусского крестьянства к лучшему, так как «польские помещики сохраняли здесь свои экономические и социальные позиции».

Восстание 1863 г. в Беларуси и Литве рассматривается как исключительно польское; в его подавлении активно участвовали белорусские крестьяне, которых вела «веками копившаяся ненависть к польскому пану». Беларусь вообще трактуется автором как «яблоко спора в вечном российско-польском противостоянии». Автор утверждает, что в это противостояние «польские шовинисты» (термин Я. Трещенка) якобы пытались втянуть все антирусски настроенные европейские круги, которые всегда несправедливо относились к России и совсем не знали ее. Фактически Я. Трещенок стремится сохранить и модернизировать образ «польского врага» как одного

из главных факторов белорусской истории. При этом стоит задуматься, почему историка, чьи взгляды колеблются между «западноруссизмом» и великодержавным шовинизмом, вообще волнует проблема полонизации. Разумеется, не потому, что у него болит душа за судьбу белорусской культуры. Скорее мы имеем дело с осуждением поляков и политики полонизации в Беларуси лишь потому, что они «испортили» часть единого «русского народа», итогом чего и стало появление белорусов. Кажется, последний тезис, родившийся еще в XIX в., когда российские идеологи стремились доказать легитимность российского владения белорусской землей, и сегодня остается идейным фундаментом рассуждений авторов типа Трещенка. В их работах советский подход модернизируется с помощью «западноруссизма» и православного фанатизма.

\* \* \*

Историки, которые служат президенту и его идеологической доктрине, издаются учебники, проводят пропагандистскую работу, имеют сильные позиции в сфере образования. Но научной деятельностью они не занимаются. Наука остается за представителями национальной историографии. Как же выглядят поляки в работах этих исследователей?

Попробуем ответить на этот вопрос с помощью книг **Геннадия Сагановича** «Очерк истории Беларуси от древности до конца XVIII в.» (Минск, 2001) и **Захара Шибeko** «Очерк истории Беларуси. 1795–2002» (Минск, 2003). Сразу отметим, что указанные работы отличаются стремлением рассматривать белорусов в качестве субъекта собственной истории. В первую очередь это касается книги Г. Сагановича. Четко присутствует желание понять западного соседа. Например, Г. Саганович позитивно оценивает итоги Люблинской унии:

«Уния, заключенная добровольно, стала значительным историческим актом. Общее государство, созданное представителями белорусского, литовского, польского и украинского народов в Люблине, в первую очередь усилиями шляхты в ее борьбе за демократию, просуществовало четыре столетия и не имело себе равных в европейской истории».

Говоря о полонизации и распространении католицизма на белорусских землях, историк не создает врагов, а пытается понять причины этих процессов. В частности, он отмечает огромный образовательный потенциал, которым во второй половине XVII в. располагали католические ордена, и прежде всего иезуитский, создавший лучшие учебные заведения.

«Именно их (иезуитов. – А.С.) работа в школах обеспечивала унификацию шляхетской культуры по польской модели в пределах всей Речи Посполитой».

Захар Шибeko в большей мере придерживается концепции «двух бед» белорусской истории – польской и русской. Поляки, по его мнению, сыграли большую роль

в процессах денационализации Беларуси. Историк отметил полонизацию, имевшую место в начале XIX в. в школах Виленского учебного округа. В итоге белорусская культура «теряла лучшие таланты, которые под всепроникающим воздействием полонизации чуждались белорусскости и отдавали свой ум и способности другой культуре».

Следующим периодом, когда полонизация велась через систему образования, он назвал немецкую оккупацию во время Первой мировой войны. Разрешением оккупационных властей развивать образование на родных языках лучше всего воспользовались поляки. Их преимущество в интеллектуальных и материальных ресурсах, отметил З. Шибeko, с неизбежностью вело к полонизации белорусов в условиях, когда «русское противостояние снималось». Полонизация продолжалась и во время так называемой «советско-польской войны» 1919–1920 гг. на той территории Беларуси, где был установлен «оккупационный режим». Белорусские школы могли работать только в Минском округе. Согласно З. Шибeko, «западные белорусские земли полонизировались, а восточные – грабились. Поляки повторяли маневр предыдущих оккупантов – немцев».

Неприятнь поляков к белорусской государственности наиболее ярко проявилась во время мирных переговоров в Риге. Этим событиям посвящена глава «Как Россия с Польшей делили Беларусь». Но, критикуя польскую политику по отношению к белорусскому национальному движению в первой трети XX в., автор фактически признал, что без независимого польского государства 1918 г. не было бы и БССР. Он также отметил факт антипольских репрессий в БССР, подчеркнул героическое сопротивление поляков армиям Германии и СССР в 1939 г. Концепцию «освободительного похода» З. Шибeko отверг. Сентябрьские события 1939 г. в Западной Беларуси он оценил как совместную советско-германскую агрессию против независимой страны, ставшую началом Второй мировой войны.

Однако в национальной историографии присутствует и другая тенденция. Впервые она проявилась на страницах издания «Сто вопросов и ответов по истории Беларуси». Ганна Сурмач, отвечая на вопрос «Как на Беларуси появились поляки?», подчеркнула разницу между этническими поляками и абсолютным большинством представителей местной (белорусской) польской общественности. Последние, на ее взгляд, являются «белорусами по происхождению» или «ополяченными белорусами». В белорусской историографии начала распространяться идея, что местные поляки – это не что иное, как польскоязычные этнические белорусы. Появилась соответствующая терминология: «белорусские помещики-католики» и «польско-белорусские помещики», «польско-белорусские писатели». Леонид Лыч характеризовал Яна Борщевского, Яна Чачота, Владислава Сырокомлю как «белорусов по национальности, трудившихся для польской литературы». Некоторые исследователи начали употреблять термины «поляки» и «польские дворяне» только в кавычках, подчеркивая тем самым их относительность применительно к местным полякам. Еще дальше пошел Кастусь Цвирка, назвавший Яна Чачота «настоящим белорусским

национальным поэтом». Такой подход, как представляется, перечеркивает историческую специфику белорусских поляков, лишает их права на собственное место в белорусской истории.

#### Комментарий историка

Белорусские и литовские поляки представляют особый этнокультурный феномен, специфику которого подчеркивал еще Михал Ромер:

«Я категорически отвергаю трактовку литовских поляков как “ответвления польской нации, которое живет в Литве” (речь идет об исторической Литве. – А.С.). Если по отношению к нам, литовским полякам, и можно говорить о каком-то “ответвлении” от чего-либо или от кого-либо, то историческая точность требует отметить, что мы – не часть польской нации, пришедшая в Литву, а часть коренного населения края, которое сегодня стало польским. Мы не импортированный экзотический товар, а продукт непосредственной исторической эволюции, происходившей в нашем крае в результате определенных событий политической истории».

Авторитетнейшие современные исследователи Польши, Беларуси и Литвы согласны, что в своем абсолютном большинстве белорусские и литовские поляки были потомками полонизированных автохтонов белорусских и литовских земель. Этнокультурные отличия белорусских и литовских поляков от поляков с этнических польских территорий проявлялись в представлениях о своем местном происхождении, в осознании неразрывной связи с родной землей, в том, что приверженность к польской культуре сочеталась с уважением к местным культурным традициям, в чувстве неразрывности судеб исторической Литвы и Польши. Все это позволяет рассматривать белорусских поляков не как «извечных врагов белорусского народа», а как один из коренных народов Беларуси, имеющих полное право на развитие своего языка и культуры. Заметим также, что это развитие не только не несет угрозы для белорусской культуры, а, напротив, обогащает ее.

Перепись 1999 г. засвидетельствовала, что в Беларуси проживало свыше 396 тыс. поляков (3,9%). При этом 57,6% польского населения заявили, что обычно они разговаривают по-белорусски. Поляки Беларуси оказались самым белорусскоязычным народом страны.

Особого внимания заслуживают современные оценки феномена полонизации. Среди работ последнего времени обращают на себя внимание тексты Л. Лыча. Полонизация трактуется этим историком почти исключительно как принудительное ополячивание. В частности, он утверждает, что «идеологи королевской власти и католической церкви (в Речи Посполитой. – А.С.) стремились всеми средствами и как можно скорее ополячить белорусский народ, подорвать его веру в самобыт-

ность». Причем одним из главных средств ополячивания являлся «католицизм». На страницах «Энциклопедии истории Беларуси» Л. Лыч определил полонизацию как «систему мероприятий государственных органов, культурных учреждений и католического духовенства по ассимиляции белорусского народа». Первые симптомы полонизации он заметил уже после Кревской унии. Главная причина утраты частью белорусов своей культурно-языковой самобытности в период Речи Посполитой, согласно Л. Лычу, заключалась в сознательной деятельности светских и духовных властей этого государства. Он категорически отверг путь добровольного принятия белорусами польской культуры и польского языка. Л. Лыч считал, что полонизация продолжалась и после присоединения белорусских земель к России. По мнению исследователя, она ослабла только после разгрома восстания 1863–1864 гг.

Стоит заметить, что некоторые белорусские исследователи, рассматривая исторические процессы времен средневековья, часто пользуются терминологией, возникающей только в период новой и новейшей истории, когда, собственно, и проходил процесс формирования наций. Но известно, что Речь Посполитая представляла собой феодально-сословное шляхетское государство и не была механизмом реализации каких-либо национальных интересов. Надо отметить и то, что политические привилегии для католиков нельзя считать признаком политики национальной ассимиляции, ведь конфессиональная принадлежность не тождественна этничности или национальности. Термин «поляк» большую часть времени, пока существовала Речь Посполитая, был термином не национальным, а политическим и сословным. И лишь в таком смысле эту страну можно считать «польским государством». Попытка охарактеризовать процессы полонизации времен Речи Посполитой в категориях политики национальной ассимиляции, проводившейся властями межвоенной Польши (1921–1939), только запутывает ситуацию. Характерное для многих исследователей отождествление католического и польского не позволяет объяснить факт принадлежности к католической церкви множества деятелей белорусского национально-культурного возрождения начала XX в.

Вячеслав Веренич и Михаил Пилипенко обратили внимание на обоюдный характер культурных влияний. В. Веренич считает, что полонизация «русского и литовского боярства» в XVI–XVIII вв. почти равнялась по этническим масштабам процессу ассимиляции («белорусизации») польских колонистов из низших сфер общества (XII–XIV вв.). По его мнению, именно влияние белорусского языка стало определяющим в формировании особой «*польщизны литовской*». М. Пилипенко связал с «польскостью» появление новых форм административного деления, городского самоуправления, нового календаря, а также распространение католицизма и определенные воздействия на белорусский язык (обогащение словарного состава и др.). В. Веренич отметил спонтанную самополонизацию сельского населения Виленщины и Гродненщины во второй половине XIX в. Он же утверждал, что отождествление католического и польского пришло в Беларусь уже после разделов Речи Посполитой и было связано с политикой царских властей. Именно последние на-



вязывали обществу термины «русская вера» и «польская вера», что способствовало русификации православных и полонизации католиков.

Проведенное нами исследование польского движения на белорусских и литовских землях в последние полвека существования Российской империи (1864–1918 гг.) убедило в целесообразности использования не только термина «полонизация», но и термина «самополонизация» или «спонтанная полонизация» – чтобы обозначить явление, имевшее место, например, в белорусской католической деревне в последней четверти XIX в. При этом полонизированные круги населения не утрачивали связи с Родиной. Обычно они считали себя не частью иноземной нации, а «местным элементом», неотъемлемой составляющей этнокультурного и общественно-политического ландшафта исторической Литвы. Чем-то они напоминают бельгийских валлонов, совмещавших принадлежность к французской культуре с чувством этнической самобытности и с патриотизмом бельгийского гражданина. Только, в отличие от валлонов, белорусские и литовские поляки не имели своего оригинального этнонима.

В современной белорусской историографии при оценке роли поляков в отечественной истории налицо противоречивые тенденции. «Историки-пропагандисты», открыто служащие современному политическому режиму, стремятся сохранить прежние советские оценки и даже усилить их с помощью элементов идеологии «западноруссизма». При этом, однако, их обвинения по адресу поляков в проведении политики национальной ассимиляции, в политических антибелорусских интригах выглядят перепевами мелодий великорусских шовинистов XIX–XX вв. Последние кляли поляков фактически за то, что их присутствие помешало России на 100–200 лет раньше захватить белорусские земли как «исконно русские» и завершить процесс русификации еще в XIX в. Кроме того, стенания об ужасах прежней (и современной!) полонизации призваны отвлечь внимание от ускоренной русификации, которая происходит в стране в настоящее время.

В национальной историографии по-прежнему функционирует негативный образ поляка. Стереотипы сознания российской и советской эпох преодолеваются с трудом. Набор основных претензий к польскому соседу выглядит традиционно: полонизация социальных верхов белорусского общества, ослабление Белорусско-Литовского государства (ВКЛ), политика национальной ассимиляции в 20–30-е гг. XX в. на территории Западной Беларуси и др. Но эволюция во взглядах историков «национального лагеря» налицо. В частности, она проявляется в сознательном желании понять соседа и рассматривать многие политические события прошлого как элементы совместной польско-белорусско-литовской истории, в которой основные действующие лица были не только политическими конкурентами, но и партнерами. Перемены видны и в более глубоком осмыслении процессов полонизации (самополонизации). Образ польского врага постепенно преодолевается, хотя к польскому вкладу в отечественную историю остаются достаточно серьезные претензии.

Ширится понимание того, что конструировать из поляков (и русских) образ врага средствами исторического исследования – значит вредить развитию национального сознания. Подобные конструкции формируют чувство исторического бессилия. Белорусы не воспринимают себя в качестве субъекта собственной истории. Историческая традиция активно способствовала возникновению той нищенской психологии, о которой писал в стихотворении *Перад будучыняй* (1922) Янка Купала:

З кійком жабрачым так мы, паўналеткі,  
Брыдзем, паўзем у свет – скрозь неўпапад  
І прысягаем, клічам Бога ў сведкі,  
Што мы – не мы, што нехта вінават.

[*Так с нищенским посохом мы, совершеннолетние, / Бредем, ползем в мир – вечно невпапад / И клянемся, призываем Бога в свидетели, / Что мы – не мы, что виноват кто-то.*]

\* \* \*

В августе 2004 г. во время экспедиции по «скирмунтовскому Полесью» (Пинщина) я вновь посетил могилу Романа Скирмунта в старом парке на окраине деревни Поречье. Имя этого политика вернулось из небытия только в 90-е гг. А в 1999 г. силами деятелей польских организаций Пинска была восстановлена его могила и поставлен крест с надписью на польском языке. (Правда, местные жители утверждали, что крест поставлен не там, где он похоронен на самом деле.) В последний приезд в Поречье метрах в двадцати от «польского» креста я увидел еще один крест с надписью по-белорусски: «Раман Скірмунт (1868–1939)». Таким образом, у премьер-министра БНР (апрель – май 1918 г.) и сенатора межвоенной Польши (1930–1935 гг.) спустя полвека после трагической гибели и долгого замалчивания его личности советскими историками теперь целых две могилы – «польская» и «белорусская».

Исследование жизни и деятельности Р. Скирмунта убеждает, что это был человек польско-белорусского пограничья, в сознании которого белорусское не противоречило польскому и наоборот. В своей политической деятельности он стремился к взаимопониманию и согласию между поляками и белорусами, видя в этом определенный шанс для независимой и демократической Беларуси. Не получилось. Современные могилы (!) Романа Скирмунта напоминают о тех политических и культурных границах, которые в XX в. разделили поляков и белорусов, и одновременно выглядят как символ взаимного нежелания понять соседа. Вряд ли эта традиция отвечает национальным интересам обоих народов.

## АСИММЕТРИЯ РАЦИОНАЛЬНОСТИ: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ПОСТКОММУНИЗМ

Уже стала привычной ситуация «на краю хаоса», положение, когда правление – это попытка восстановить способность к порядку, феномен гоббсовского общества, которое пытается заменить собой государство, терпящее поражение вместе с системой «реального посткоммунизма» и поэтому неспособное гарантировать управляемость. В основе этой ситуации лежит **асимметрия рациональности, или вектор власти, которую глобальная логика осуществляет над посткоммунистическими перифериями**. Напоминаю, что под асимметрией рациональности я понимаю способность отбора и навязывания рациональных процедур и институтов, предназначенных для другого масштаба рынков и другого исторического времени, чем уровень и время посткоммунистических стран. Ценой, которую платят последние, является неуправляемость, сложность построения полного, экономически артикулированного капитализма и десубстанциализация социальной **матери**, когда формы действия на самом деле существуют, а субъекты, их осуществляющие, отсутствуют.

Глобальная логика (и вносимая ею асимметрия рациональности) сталкивается с локальными (региональными) культурными ресурсами. Это от них в значительной мере зависит возможность выработки модели власти, способной вернуть управляемость, например, посредством постижения **логики в хаосе** или **сочетания решений разных рациональностей**. Кажется, что философия контроля в китайской культуре (с ключевой категорией **времяпространства**, определяющей смысл отдельных элементов; **децентрализованной** эпистемологией, отвергающей категории **отличия и субъекта** как отправной точки; **многоценностной**, а не бинарной **логикой**; традицией

самоконтролирующего общества и философски обоснованной способностью к **метарегуляции**) составляет лучшую основу для выработки стратегии в отношении асимметрии рациональности, чем та же «крестьянская» культура Центрально-Восточной Европы (следовательно, Польша). В этом последнем типе культуры **социальные факты рассматриваются** (конструируются) **через призму их корреспонденции с мифологизированной, логически единой и развивающейся линейно нарратией**<sup>1</sup>. Этот вид эпистемологии совершенно бессилен перед хаосом, вызванным множеством рациональностей много сегментного рынка, в котором каждый институализированный сегмент имеет разные исторические корни, направляющую функцию и масштаб, в котором реализуется. При такой культурной ориентации трудно выразить и принять неизбежное в условиях глобализации разрушение порядка, опирающегося на иерархично организованную, однородную рациональность (то ли субстанциальную, то ли формальную).

В свою очередь культура России (с мотивом «единства» и концепцией, в которой нижний уровень выражает логику более высокого уровня, будучи его «уменьшенной» версией<sup>2</sup>) в состоянии понять феномен асимметрии рациональности, что сделать трудно в очерченном нами ранее культурном контексте. Однако российская культура не обладает в такой степени, как хотя бы культура Китая, мыслительными инструментами для выработки институциональных стратегий в отношении асимметрии рациональности.

Наконец – мещанские периферии Западной Европы (Венгрия, Чехия), перенимающие вслед за ней множество сопутствующих герменевтик (а следовательно, и множество нарратий, каждая из которых имеет свою собственную внутреннюю рациональность), в состоянии функционировать без серьезных противоречий в ситуации, созданной асимметрией рациональности<sup>3</sup>. Это объясняется тем, что в данном культурном контексте была акцептирована неизбежная сегментация общественной действительности. Причем как на институциональном уровне, так и на познавательном.

Реляция асимметрии рациональности, характеризующая нынешнюю стадию вхождения посткоммунистических стран в орбиту глобальных процессов, в корне отличается от реляции зависимого развития, которая характеризовала в прошлом вхождение стран Латинской Америки в мировую систему.

Во-первых, сейчас свобода институционального маневра значительно меньше. «Онтология возможного» так ограничена, что в посткоммунистических странах наблюдается отсутствие осцилляции между этатизмом и либерализмом (характерной для Латинской Америки) или попыток использования стратегии *import substitution*.

Во-вторых, в посткоммунистических странах нет политических циклов (известных по Латинской Америке) с их внезапными переходами – от авторитаризма к демократии и наоборот. Но и тут появляются проблемы, похожие на те, которые в Латинской Америке провоцировали государственные перевороты (безработица, пауперизация, коррупция, слабое государство). Удивительную политическую ста-

бильность в этих странах можно объяснить дисциплинирующим влиянием глобальных структур, и прежде всего иррелевантностью (несущественностью) политики. Когда она уже не в силах «делать разницу», а сетевой характер государства привел к декомпозиции «центра», одновременно исчезает арена для олигархических структур. Уменьшается также давление сил, требующих политических изменений.

В-третьих, отсутствие технической ниши в международном разделении труда для посткоммунистических стран. В результате они в основном играют роль рынка и являются сферой реализации прибыли от уже инвестированного в развитых странах (и Азии) капитала.

В-четвертых, асимметрия рациональности дискретно пронизывает всю посткоммунистическую систему. И это явление более существенно с точки зрения долгосрочных возможностей (и форм) развития, чем – также современная – двойственность экономики (и общества), которая была доминантой зависимого развития в Латинской Америке. Зато одинаковая черта в обоих случаях – это популизм как политическая артикуляция дилемм развития и экспрессия «несформировавшегося» среднего класса относительно своего положения (в посткоммунистических странах ввиду «незавершенности» капитализма, в Латинской Америке – ввиду двойственной экономики, в которой рано появляются барьеры дальнейшего роста).

В Польше последствия асимметрии рациональности (в виде неуправляемости незавершенного капитализма) проявились раньше всех. С одной стороны, это было связано с радикальным и поспешным введением – без попыток медиации – рациональных с перспективы глобальной логики институтов, например преждевременной либерализации финансовых рынков и продажи банков заграничному капиталу. С другой, с быстрым пуском в оборот и использованием резервов периода коммунизма и выявлением отсутствия экономической артикуляции посткоммунизма (другими словами – отсутствия внутренних пружин развития).

Разницу способов вхождения отдельных регионов мира в орбиту глобализации хорошо демонстрирует таблица из Бюллетеня Всемирного банка, отражающая уровень роста дохода на душу население за последние 20 лет.

Средний (*unweighted*) ВВП на душу населения, избранные регионы и группы

Регион или группа стран	ВВП на душу населения (цены 1995 г.)			Уровень роста ВВП на душу населения (% в год)	
	1960	1978	1998	1960–1978	1978–1998
Африка	1,214	2,147	2,432	2,0	0,6
Азия	1,971	5,944	7,050	6,3	0,9
Центрально-Восточная Европа и страны бывшего СССР	2,093	5,277	4,851	5,3	-0,4

Индустриальные страны	8,257	14,243	20,990	3,1	2,0
Мир	3,277	5,972	7,456	3,4	1,1

Источник: *Transition (The World Bank Newsletter)* 2003 (January-March). Т. 14. № 1-3. С.13

Анализируя на примере Польши феномен незавершенного капитализма, доминирующий в современной стадии глобализации (характеризующейся асимметрией рациональности), я постараюсь пояснить сущность этого явления.

Попробую объяснить динамику посткоммунизма, помещая его в конкретный «круг» реляции в рамках глобального процесса, обращая особое внимание на феномен асимметрии рациональности и **ключевую роль времени**. Дискретный выбор решений подчинен требованиям глобальной логики и связан с «историческим временем» наиболее экономически продвинутого «круга» глобального рынка. Страны периферии и полупериферии не могут пойти той же дорогой, которую уже прошли развитые страны в прошлом. Вынужденные процедуры и институты «подтягивают» их до современного вида последних. Это сочетается с перескакиванием через стадии и нарушением последовательности. Такая (чаще всего мнимая) институциональная компатибельность (формальная интеграция) должна с точки зрения развитых стран и транснациональных корпораций уменьшить риск взаимодействия с перифериями и полуперифериями, снижая издержки подобных взаимодействий.

Асимметрия рациональности имеет, однако, и свою обратную сторону. Благодаря этой самой глобальной логике иногда укрепляется своеобразие отдельных стран периферии и полупериферии – хотя и здесь нарушается их историческое время. Вынужденная неотрадиционализация – например, признание фирмой либо международной организацией традиционного (религиозного, кланового) центра авторитета в качестве партнера – имеет своей целью создание (посредством этого акта признания) центра власти, способного на заключение контракта и гарантирующего предсказуемое, стабильное участие в международном разделении труда. Общества, вынужденные (склоненные) глобальной логикой к «облачению в такое платье», бывают зачастую значительно более «модерными».

**Обе личины асимметрии рациональности (вынужденная компатибельность с нарушением естественной, эволюционной последовательности институциональных форм и/или также «неорганичная» неотрадиционализация, примененная на основе подражания** – срисованная, слишком сознающая саму себя и идеологизированная, инструментальная в отношении глобальных процессов) приводят к возникновению *institutional mix*. Такая смесь уже не позволяет управлять с помощью техник из репертуара «модерного» государства, основанного на единых, иерархично организованных стандартах рациональности и имеющего четкий центр.



Накапливающиеся, нераспознанные до конца связи создают постепенно автономизирующуюся систему. Ее анонимная власть часто вступает в конфликт с номинальной политической властью – именно так и произошло в Польше.

Этот институциональный *collage* еще больше усложняется, когда полупериферии (как посткоммунистические страны), борясь с асимметрией рациональности и пытаясь компенсировать ее последствия, начинают использовать зачастую инновационные институциональные стратегии. Они призваны обеспечить управляемость и аккумуляцию капитала. Политический капитализм, капитализм общественного сектора или, наконец, государственный капитализм без государства, имеющий своей целью аккумуляцию доверия и восстановление прерванной циркуляции трансферированного на данный момент капитала, – это частные примеры таких инновационных протезов в рамках реального посткоммунизма. Чаще всего они приводят к дальнейшей деформации и государства и рынка.

Отдельные аспекты глобального процесса остаются противоположными друг другу. Конфликт концепций и целей, принятых в рамках каждого из них, неразрешим: смотрите хотя бы анализ Рэндела Коллинза, касающийся постоянного конфликта между материальным обменом и метаобменом<sup>4</sup>. Эту ситуацию хорошо отражает кантовский тезис о невозможности избежания противоречия во время мысленного разложения целого на элементы, посвященный неизбежной коллизии между трансцендентальным и эмпирическим смыслом мыслимых категорий<sup>5</sup>. Даже больше, произвольная, безапелляционная институализация отдельных аспектов (функций) глобального процесса ведет селекцию относительно дискретного, продолжительного и многоаспектного потока событий. В результате эти аспекты (функции) реализуются (концентрируются) в сегментах глобальной системы реляций, каждый из которых характеризуется своим начальным «историческим временем» и своим (после интервенции асимметрии рациональности) *institutional mix*.

Политические конфликты, составляющие главную форму общественной артикуляции, не в состоянии отразить этой ситуации. Ключом к ее пониманию являются конфликты между абстрактными аспектами глобального процесса, а также – между институциональными формами, претворяющими в жизнь эти аспекты, но относящимися к разным «логикам». Это преимущественно дополитические конфликты, когда их трудно свести к интересам отдельных общественных групп и они остаются чаще всего за пределами поля общедоступной перцепции. Последняя же напоминает создание, которому Кант дал имя догматической метафизики, неспособной на понимание процессов антиномического характера. Эти конфликты также трудно втиснуть в рамки стереотипных моделей доминанции однородной рациональности и линейной причинности.

Глобальная логика ограничивает свободу маневра всех участников процесса, а гегемоном становятся постепенно безличные, нагроможденные правила и связи. Каждая из вносимых в глобальный процесс, столкнувшаяся и смешанная с другими институциональная форма есть до определенной степени самостоятельной сценой

действий; имеет свою память, риторику и заученную, независимую от контекста, динамику. Это еще больше углубляет неуправляемость и впечатление репродуцирующегося хаоса.

До этого времени в анализах глобализации наиболее близко к понятию сложности и антиномичности этого процесса подошли, по-моему, Майкл Хардт и Антонио Негри<sup>6</sup>. Пересматривая анализ Римской империи, сделанный Полибием, они определили зарождающуюся ныне **глобальную систему реляций как процесс, соединяющий пространство и исторические времена**. Власть глобальной логики старается вырвать элементы из их прежних исторических контекстов и освободить их от императивов и естественных, эволюционных ограничений **циклов** развития. Вектором этого процесса (это уже мое собственное дополнение к этому анализу) является вводимая здесь категория асимметрии рациональности.

Хардт и Негри писали: *Empire is thus understood not so much as rule over universal space and time, but rather as a movement that gathers together the spaces and the temporalities through the powers of the social forces that seek to liberate themselves from the natural cyclical character of the time of history*<sup>7</sup>.

В их и моем подходе **универсальное время, представленное посредством глобальной логики, борется с историческими временами, различными в разных регионах мира**, и является идентичным историческому времени и модели развития наиболее развитых рынков. Эффектом такого глобального процесса является, как я уже указывала, *institutional mix*, объединяющий решения и процедуры, отобранные глобальной логикой (и укоренившиеся в «универсальном» времени, или – историческом времени наиболее развитого сектора глобальной структуры реляции), с институтами периферии и полупериферии, остающимися до сих пор либо на том же пути развития, но на его раннем, не таком продвинутом этапе, либо – на другом пути.

**Навязанная компатибельность сочетается здесь с вынужденной, неестественной неотрадиционализацией** и сталкивается с **защитными и компенсационными стратегиями**, применяемыми в отношении асимметрии рациональности и **использующими локальные (региональные) культурные ресурсы**. Исправность и управляемость возникших таким образом совокупностей решается за счет качества связей между этими формами иной логики. Наиболее важным здесь является умение применять техники метарегуляции, в частности культуурообусловленная способность высвобождения от мышления, навязывающего один тип рациональности и пытающегося исключить противоречия. Иначе: управляемость требует выучки – как жить с противоречиями. Важной также является особая **диалектика иррациональности**, составляющая связующий элемент и буфер, смягчающий антиномичность процесса в масштабе «макро». По Максус Веберу, как мы помним, это была политика, время от времени «переориентирующая» бюрократическую рутину и отменяющая на определенный момент иерархично ориентированные стандарты формальной рациональности, но ключевым механизмом

оставалась «харизма»<sup>8</sup>. В глобализирующемся мире, где роль государств (и политики в их масштабе) подвергается деструкции, необходимо найти новый механизм **креативной иррациональности**. Можно было бы, например, воспользоваться в объяснении или описании некоторых процессов в западном мире многоценностной логикой, иррациональной с перспективы бинарной логики, представляющей собой до сих пор фундамент западной цивилизации. Последнюю уже, впрочем, подверг сомнению **герменевтический плюрализм** европейской культуры, избегающий однозначности и подвергающий сомнению просвещенческий идеал Разума. Функциональность ошибки; неизбежность антиномии; противоречивость как нормальное, внутреннее свойство предмета, а не его патология; времяпространство как показатель рациональности элемента (в данном масштабе и моменте) – все это составляет иррациональную эпистемологию с перспективы просвещенческого идеала. Может быть, однако, принятие именно такой перспективы необходимо, чтобы мысленно уловить процесс глобализации. Нужно, однако, отойти от статичного анализа структур (приписывающего неизменную идентичность отдельным элементам) и перейти к динамичному анализу процесса. Нужно указать, что противоречия между аспектами глобального процесса неизбежны, но в то же время все эти аспекты функционально необходимы. **Хаос поэтому имеет свою логику.**

Асимметрия рациональности, или вектор власти, которую глобальная логика осуществляет над перифериями и полуперифериями, имеет структурообразующую силу. Иногда можно прямо говорить о «структурном насилии». Это прекрасно отражается на примере посткоммунистических стран. Последствия перенятия ими институтов и процедур с нарушением исторически устоявшейся секвенции (известной из истории Запада) и без характерного общественного контекста являются очень важными и ключевыми для понимания функционирования этих стран. Возможно, такое нарушение было неизбежным, учитывая, что коммунизм уже вырвал эти страны из их естественной эволюции и возврат к состоянию до коммунизма все-таки невозможен. Однажды вырванные из своего исторического времени и подвергнутые радикальному давлению глобальной логики, мы платим сегодня двойную цену. Это, с одной стороны, незавершенный капитализм, а с другой – неуправляемость и перманентное функционирование на краю хаоса.

Итак, во-первых, асимметрия рациональности (и созданный ею *institutional mix*) усложняет формирование в посткоммунистических странах завершеного, экономически артикулированного капитализма.

Несамостоятельная аккумуляция капитала, использующая подпитку извне (политический капитализм, капитализм общественного сектора); прекращение экономического роста после исчерпания прямых резервов эффективности с времен коммунизма и накопительного потребительского спроса; прерванная циркуляция: экономика-капитал-инвестиции-экономика; систематическое (потому что репродуцируется монетарной и фискальной политикой) укрепление модели общества беднеющих потребителей (субсидированных через сферу общественных финан-

сов), а не производителей; возврат на уровень после Второй мировой войны – это только некоторые элементы незавершенности капитализма. Они имеют признаки устойчивости, если радикально не увеличивается наплыв заграничных инвестиций и структурных фондов из Европейского союза.

Политическое выражение незавершенности капитализма – нарастающий популистский нажим как артикуляция «неофомившегося» среднего класса и усиливающаяся антиполитичность общества. Он вызван очевидным бессилием политиков (и иррелевантностью политики) с одной стороны и коррупцией капитализма общественного сектора – с другой. Несамостоятельная аккумуляция капитала, питаемая потоками, исходящими не только от экономики, характерна для незавершенного капитализма и ведет к особой «энронизации» (смотри афера Энрона) государства. Последнее, расщепленное бюджетное государство и государство коммерциализированное (реализующее свои задачи *via* рынок), с серой сферой между двумя сегментами, скрывало во взаимной задолженности обоих сегментов и в «креативной бухгалтерии» фактический дефицит общественных финансов.

Во-вторых, эффектом асимметрии рациональности, видимым в посткоммунистических странах, является **репродуцирующаяся неуправляемость**. Уничтожение системной саморегуляции, принимая во внимание нарушение ее цикла, вызванное наложением механизмов иной логики и нарушением свойственной очередности их введения; трудность «распознавания себя» (и собственной логики) и отсутствие основной для управления *self-referentiality*, или ориентации на себя, а также автоматического, уже без распоряжений сверху, устранения нарушений на всех уровнях; иррациональный общественный дискурс, не способный на артикуляцию «общего блага» в условиях глобализации, – лишь некоторые причины этой неуправляемости. Упрямое воздействие на иерархичную систему и механическое дисциплинирование только ухудшают ситуацию. Необходимыми же являются новая интерпретация понятия «контроль» и нажим на техники, сочетающие разные «логики», стандарты рациональности и временные перспективы. Как я уже однажды указывала, не все культуры имеют эпистемологические основы, а также мыслительные и институциональные ресурсы, делающие возможным выработку такой метарегуляции.

Следует согласиться со Стюартом Кауффманом, ученым из Института исследований сложных систем в Санта-Фе, обладателем награды Genius Award, присуждаемой фондом МакАртура, что **организация** – это система, способная к самовоспроизведению и реализации **полных циклов работы**<sup>9</sup>. Под этим понимаются направленные расходы энергии, преобразующие материю так, чтобы получить позитивный эффект с точки зрения целей системы. Организация должна также владеть умением **автокатализа** – создания механизмов, ускоряющих процесс работы и направляющих сэкономленную таким образом энергию на развитие.

**Самоорганизация системы**, служащая оптимальной связи энергии, материи и информации, а также ограничению энтропии, наиболее четко протекает в ситуа-

ции бытия **между**. Другими словами – на краю хаоса, когда тяготение к нему либо определенному порядку более-менее схоже.

Напомним, что по мнению исследователей сложных систем, **порядок** отличается от **хаоса** меньшей цифрой комбинаций элементов. В условиях хаоса она так огромна и изменчива, что нельзя предвидеть функционирования целого, хотя единичные действия, рассматриваемые изолированно, имеют детерминистический характер. В ситуации порядка каскад непредвиденных следствий внутренних потрясений меньше, чем в хаосе. Там восприимчивость к импульсам несоизмерима с их значением, а лавина последствий мощна, учитывая отсутствие сопротивления устойчивых структур. Порядок характеризует также растущее сходство процессов, а хаос – их нарастающая деконцентрация и пропадающая системность.

В ситуации **между** определенным порядком и хаосом система концентрируется на себе, выискивая катализаторы собственной, неимитированной организации, совершает мутации и рекомбинации, прибегает к неиспользованным ресурсам и связям, а также удваивает усилие, чтобы развиваться, сохраняя структуру и энергию.

Парадокс посткоммунизма заключается в том, что в отношении реальной интеграции с глобальной экономикой (потoki материи и энергии) он находится между порядком и хаосом. Он мог бы, и должен, использовать инновационные меры, ведущие к самоорганизации. Но одновременно в формальном плане (поток информации, право, процедуры, уставы институтов) порядок посткоммунизма внешне уподобился порядку высокоразвитых стран. Это блокирует самостоятельный, активный поиск своей ниши. Выбор институтов уже сделан и подчинен принципам асимметрии рациональности. Формальная организация, компатибельная с институтами развитого мира, к которому мы стремимся, соответствует функциям цели и требованиям исторического времени того мира, а не функциям цели нашей стадии развития (предварительная аккумуляция).

Посткоммунизм организован таким образом, который не способствует репродукции (до смешного низкие амортизационные отчисления и антиинвестиционные правила игры). Не прилагает достаточно усилий для создания добавленной стоимости. Поедает сам себя, используя и потребляя резервы, в том числе поступления от приватизации. Не умножает, а только перераспределяет ресурсы, концентрируя их неэкономическими средствами в избранных сферах общественной структуры, а часть трансформируя за пределы системы. Он не способен к саморегуляции и постепенно утрачивает ценное свойство системности. Этому способствует резкое сокращение временной перспективы принятия решений. **Но ведь структура и система существуют прежде всего в воображении, как устойчивые и принятые ограничения в процессе труда и каналы движения энергии.** Прерванная цир-

куляция капитала (так как он не возвращается в виде инвестиций на территории, где возник) и атрофия предприимчивости, нацеленной на определенный цикл воспроизводства, – только некоторые следствия драматического сокращения временной перспективы и связанного с ним кризиса доверия.

**Все это ведет к хаосу, несмотря на формальное приближение к порядку!** Потому что это порядок другого, не нашего, исторического времени. Рациональный, но для другой стадии развития. **Асимметрия рациональности, устраняя креативную самоорганизацию, устраняет заодно эволюцию.** В результате – и консерватизм, и либерализм теряют почву под ногами. Первый если и не может продвигать организацию, соответствующую историческому времени посткоммунизма, хотя бы подчеркивает значение истории. Второй, учитывая свой антиисторизм, даже не в состоянии понять, в чем состоит проблема.

Итог: Отдельные аспекты глобализации осуществляются в узлах институтов (организаций), ориентированных на иные цели и стандарты рациональности. Каждый узел функционирует в ином историческом времени, хоть разделяет с другими календарное время.

Особый порядок сформировался на полуперифериях, к которым также принадлежат посткоммунистические страны. В отличие от периферий они восприимчивы к соблазнам и санкциям, вынуждающим к принятию решений из «круга» рынка исторически иного, чем их собственный. Одновременно функция цели и этап развития полупериферии принципиально отличаются от господствующих в системе, организацию которой она перенимает. В результате возникает особенный *institutional mix*, вырывающий эти страны из их собственного **времяпространства** и переводящий их функционирование на цели иного уровня развития. **Способ организации полупериферий «нацеливает» их на выполнение работы, но направлена она на другую связку целей, а не их собственную.**

Возможно, после первого «подтягивания», подчиненного асимметрии рациональности и ведущего к формальной компатибельности посткоммунистических рынков, необходимо следующее – абсорбция Европейским союзом. Негативные последствия первого «подтягивания», вырывающего страны из их исторического времени, привели к возникновению незавершенного капитализма и неуправляемости. Это делает невозможным теперь самостоятельное генерирование национального капитала, необходимого для развития. **Может быть, признание посткоммунистическими странами своего статуса внутренних периферий (задачей которых является пополнение разумных операций только в более широком, а не их масштабе) изменит метод концептуализации действий, привнося в них «логичность».** Однако этот путь означает **возврат смысла ценой болезненного изменения идентичности.**



## Посткоммунизм: власть системы *contra* система власти

Главные черты посткоммунизма – **незавершенность капитализма**, который не может консолидироваться, а также систематическое (поскольку все время репродуцируется) положение **на краю хаоса** в структурах государства. Этот медленно подступающий хаос имеет три измерения:

1) **прогрессирующую неуправляемость** (иначе – неспособность достижения поставленных целей, сокращение числа и радиуса действия инструментов управления, прекращение саморегуляции и отсутствие системного умения «распознавания себя» – *self-referentiality*);

2) углубляющуюся **антиномичность процессов принятия решений**. Государство все чаще играет против самого себя и одновременно в разных своих воплощениях (и в сопутствующих им разных временных перспективах – краткосрочной и долгосрочной) и конфликтных «логиках» – частичной/отраслевой и политической: оно действует рационально, но только с точки зрения принципов, принятых в каждом из этих воплощений;

3) двойственность общественных фондов, значительная часть которых действует вне контроля государственной администрации и политиков и – что более существенно – согласно другой, а не той, по которой осуществляет свою деятельность оставшаяся часть государства, коммерческой логике, с **серой, «энтронизированной» зоной между бюджетным сегментом и коммерциализированным сегментом**.

«Незавершенность» капитализма в посткоммунистических странах выражается в свою очередь:

1) **в отсутствии артикулированных, экономических механизмов аккумуляции капитала**. В результате мы постоянно имеем дело с **перераспределением**, совершаемым с помощью внеэкономических механизмов как конститутивной чертой производственных отношений. Здесь можно указать на **политический капитализм**, использующий ренту власти, а после угасания его потенциала – **капитализм общественного сектора**, перехватывающий часть коммерциализированных общественных фондов;

2) в угасании экономического роста после исчерпания прямых резервов времен коммунизма;

3) в **прерывании циркуляции капитала** и разрыве связи между сферой финансов и сферой производства. Речь идет не только о трансферте за границу и исполнении финансовыми институтами (с преобладающим участием иностранного капитала) роли инструмента перехватывания материального имущества и сегментов рынка посредством иностранных субъектов, но также о том, что прерван капиталистический цикл воспроизводства. Увеличение капитала происходит главным образом благодаря **обслуживанию общественного долга** (и тесным связям с государством), а также **спекуляциям** в банковской системе, а не благодаря про-

изводственным и инфраструктурным **инвестициям**. Данные тенденции усиливаются еще и фискальной и курсовой политикой, способствующей скорее импорту, а не экспорту, и потреблению, а не производству. Все это становится причиной тому, что в посткоммунистических странах происходит **менеджерская революция, а не капиталистическая**;

4) в слабости в посткоммунизме институтов и ценностей, характерных для **культуры контракта**;

5) в расширяющемся **разрыве** между стандартами рациональности, используемыми на **макро- и микроэкономическом уровнях**. На первом из них вводятся процедуры и правила игры, заимствованные у развитых стран, другими словами – правила, рациональные с перспективы другого исторического времени, а не настоящего исторического времени уровня «микро» или лишь начального этапа аккумуляции капитала. Это следствие политического решения (интеграция в ЕС, членство в ВТО и ОЭСР) и давления глобальной логики, выраженной в **преференциях чуждого капитала**. Асимметрия рациональности ведет к усиливающемуся **противоречию**. **Чем сильнее формальная интеграция посткоммунистических стран со странами ЕС и ОЭСР (иначе говоря – их институциональная компатибельность), тем труднее реальная интеграция**. И тем сложнее на уровне «микро» ввести рациональные с перспективы масштаба рынка и исторического времени стратегии действия или функции цели этого уровня.

Черты **синдрома неуправляемости и незавершенности** наслаивались эволюционно и каждая имела разную цепь причин. Особое внимание нужно обратить на три из них:

1) **логику глобализации, с асимметрией рациональности** в качестве вектора. Эта асимметрия ответственна за разрыв между историческим временем операций (и институтов) уровня «макро» и историческим временем (этапом – типом развития) уровня «микро», навязывая первому рациональные решения, но для другой стадии развития. Это она решающим образом содействовала «незавершенности» посткоммунистического капитализма, особенно преждевременной деиндустриализации, разрыву цикла циркуляции капитала (который в посткоммунизме не возвращается в форме инвестиций в реальную сферу), а также монетарной политике, способствующей импорту, а не экспорту. Эти явления, неблагоприятные с перспективы посткоммунистической экономики, служат дополнению глобальной логики, которая нуждается не в новом потоке товаров, а в новом рынке для реализации прибыли от уже инвестированного капитала. Асимметрия рациональности действует тут как особый **селекционный фильтр**. Навязывает институты, типичные для инфраструктуры уже зрелого капитализма, устраняя решения, вытекающие из задач его начальной стадии, или первоначальной аккумуляции. Это значительно усложняет консолидацию капиталистических структур, соответствующих этой, начальной, функции цели, и укрепляет незавершенность посткоммунистического капитализма;

2) **оборонные и компенсационные стратегии**, имеющие своей целью минимизацию негативных последствий асимметрии рациональности. Они ответственны за очередные **формулы внеэкономического перераспределения**, поддерживающего хромающую в посткоммунизме аккумуляцию (**политический капитализм, капитализм общественного сектора**). Как такую оборонную стратегию можно трактовать также двойственность общественных фондов (и «энронизацию» государства). Коммерциализация этих фондов должна была поэтому скрыть «свертывание» остатков коммунистического социального государства и стать дополнительным источником капитала. Своеобразная «колонизация» государства пыталась также заменить и дополнить в посткоммунизме слабые экономические механизмы аккумуляции. В свою очередь серая зона между двумя сегментами общественных фондов скрывала быстро нарастающий дефицит, который мог бы нарушить формальную интеграцию с европейскими структурами. Польшу это привело к финансовому кризису;

3) **усилия** слабеющего, посткоммунистического **государства**, чтобы **увеличить контроль** над консолидирующейся системой на основе обеих упомянутых причинных последовательностей. В случае Польши здесь можно порекомендовать три стратегии: введение в систему элементов **государственного капитализма**; быструю **одностороннюю «евроизацию»**; **использование либеральной формы как прикрытия для все более громоздких социальных (направленных не на развитие, а на сохранение) и перераспределяющих механизмов**. Конструирование государственного капитализма происходит через консолидацию разрозненного участия государства в экономике. Целью является создание основ **доверия**, так необходимого в экономике, и привлечение трансферированного на данный момент капитала назад в реальную сферу. Здесь идет речь о создании условий сотрудничества частному капиталу при реализации инфраструктурных задач, предложенных государством. Другим элементом государственного капитализма является активное включение государства (гарантии, погашение задолженности) в реанимацию замирающей экономической деятельности на уровне «микро». Это действие сопровождается попытки восстановления регуляционных возможностей государства в отношении частного сектора, а именно – финансового сектора. Эти возможности, однако, систематически ограничиваются требованиями формальной интеграции в ЕС и ОЭСР.

В Польше в последнее время наблюдаются попытки обойти ограничения, вытекающие из союзных стандартов. В правительственных дискуссиях о том, что сделать с «энронизированным» государством (а именно – с коррупциогенным и расточительным сектором коммерциализированных общественных финансов), идеи перевода части общественных фондов в бюджеты самоуправления вытесняются идеей их рецентрализации. Речь идет о создании ширмы, скрывающей запрещенный в Европейском союзе государственный интервенционизм и субсидирование убыточных фирм, а также проведение – с помощью коммерческих учреждений го-

сударства – преобразований форм собственности в частном секторе. Это должно увеличить контроль государства, однако без признаков «рениационализации».

Парадокс этой ситуации, хорошо отражающий **антиномичную раздвоенность государства**, заключается в том, что **оба эти – взаимоисключающие – решения рациональны с точки зрения целей государства**. Перевод общественных фондов из коммерциализированных учреждений в самоуправление позволил бы создать основы для абсорбции финансовых средств, полученных от Европейского союза после вступления и реальной интеграции с ним. Результатов, однако, нужно будет подождать. В свою очередь, рецентрализация, обеспечивающая управляемость в чрезвычайном порядке, также рациональна, но в краткой временной перспективе. Она позволяет скрыть деятельность правительственной администрации, противоречащую союзным процедурам, и сохранить видимость формальной интеграции.

Эта антиномия выявляет не только **противоречие между обоими типами интеграции (формальной и реальной) с Европейским союзом**, но и – **противоречие в рамках связки целей, стоящих перед государством**, относящихся, однако, к **разным временным отрезкам**. Ограниченность средств и кризис общественных финансов, неизбежный при незавершенном капитализме, еще больше углубляют эти противоречия.

Это все, вместе с характерной для реального посткоммунизма **функционализацией патологии**, усложняет рационализацию системы. Иррациональное явление с одной перспективы имеет свое рациональное обоснование с другой перспективы, и обе равноправны. Например, высокие процентные ставки, затрудняющие развитие, учитывая дорогую кредит и слишком сильный злотый (что больше способствует импорту, чем экспорту), привели к переходу части предприятий на кредиты в иностранных валютах. Внезапное понижение ставок и девальвация злотого, рациональные с точки зрения долгосрочного развития, могли бы немедленно привести к волне банкротств. Ошибка слишком высоких процентных ставок была все-таки «функционализованной» и рационализированной.

Если прибавим к этому **утрату** реальным посткоммунизмом ценного свойства **системности** (потому что отдельные сегменты не только руководствуются разной рациональностью, но также тяготеют скорее к центрам распоряжения и внешним стандартам, а не друг к другу и институционально закреплены в разных исторических стадиях капитализма), то мы поймем, почему частичные рационализации не улучшают функционирование целого.

Антиномичность ситуаций принятия решений, в которые вовлечено посткоммунистическое государство (когда взаимоисключающие решения одновременно рациональны и противоречивы), ведет к углубляющейся неуправляемости, и даже **автопараличу**. Подобный эффект имеет функционализация патологии. В свою очередь утрата ценного свойства системности не только вызывает дезинтеграцию государства и экономики, но также затрудняет их изменение желаемым образом.

Другая, после государственного капитализма, реакция на неуправляемость реального посткоммунизма – это идея быстрой евроизации. Она должна была бы ускорить реальную интеграцию в европейскую экономику благодаря исключению курсового риска, привлечению иностранных инвестиций и дисциплинированию финансовой политики государства (что означало бы ее фактическую ликвидацию и подчинение политике Центрального европейского банка).

По мнению многих экспертов, это, однако, является рискованным шагом, потому что направлено против инструментов регуляции, остающихся в руках государства, и не дает гарантии стабилизации в случае кризиса евро<sup>10</sup>. Акт односторонней «евроизации» все же не гарантирует охватывания стабилизационной политикой Центрального европейского банка. Не полностью оцененные издержки формальной интеграции денег, по отношению к глубоким отличиям уровня и структуры интегрированной таким образом экономики, могут еще больше уменьшить шанс посткоммунизма на дальнейшее развитие. В случае бывшей ГДР издержки были огромными, несмотря на социальные трансферты Западной Германии в качестве помощи<sup>11</sup>. Предложение односторонней «евроизации» является логичным следствием более ранней формальной интеграции с ЕС и очевидным противоречием между этим предложением и реальной интеграцией. Это противоречие можно ликвидировать – конечно, только мысленно, а не в действительности, – если не включать в алгоритм принятия решения интереса национальной экономики. Такая, начально теоретическая, абсорбция посткоммунистической экономики более широкой системой (а односторонняя евроизация ее ускорит) придаст большую (с перспективы ЕС) рациональность мерам, которые в более узком масштабе этой экономики кажутся патологическими. Парадоксально, что хотя логическая ликвидация своей идентичности и отказ от вычисления рациональности собственного масштаба происходили бы исключительно в воображении, это могло бы привести к реальному улучшению ситуации. Возросла бы вера в разумность действий, а впечатление порядка могло бы увеличить желание инвестирования и вызвать фактическое развитие. Эти логичные аргументы противостоят опасению по поводу высоких общественных издержек всей операции, а вся ситуация дает представление, как опасны могут быть интеллектуалы у власти.

Тут стоит обратить внимание на особый парадокс. Отход от идентичности собственного масштаба (через выведение ее из алгоритма, служащего оцениванию рациональности действий) будет легче проходить после акции односторонней «евроизации», стирающей различия между рынками разного уровня развития. Такой шаг позволяет делать вид, что здесь речь идет только об условности расчета, и одновременно скрывать, что уже не существует системы в масштабе бывшей посткоммунистической национальной экономики и государства. Поэтому заимствованная организация работает четко, но в интересах более широкой структуры.

Третья стратегия, пытающаяся справиться с незавершенным капитализмом, или негласное усиление социальных функций внешне либеральной формы, имеет ряд

аспектов. Это, во-первых, скрытое перераспределение, служащее интересам политического класса, но использующее либеральную формулу коммерциализации задач государства. Во-вторых, сдерживание не способствующих развитию решений, например высоких процентных ставок с учетом их социальных функций. Сильный злотый (с повышением стоимости от наплыва спекулятивного капитала) – это также более высокий реальный размер зарплат по отношению к ценам импортированных потребительских товаров (в Польше в 2001 г. это около 40% товаров на рынке<sup>12</sup>). Парадоксально, но оппозиция между интересами спекулятивного капитала и общественными интересами исчезает достаточно быстро. Интересы обеих сторон являются следствием одного фактора (высокие ставки) и действуют против интересов национального производственного капитала. Они в конце концов реализуют глобальную логику, которая требует на перифериях только потребительского рынка и трансфертов капитала, а не нового потока благ и новых инвестиций. Также возврат в переговорах с ЕС к вопросу непосредственных доплат (ареалу, а не производству) выполняет социальную функцию за счет современных экономик. Сокращение в посткоммунизме социальных функций в макроэкономической политике (при одновременном ограничении прикрывающих действий) уничтожает познавательные функции рынка и является выражением экономической неотрадиционализации в смысле возврата к *embedded* процедурам, погруженным в некоторой степени в процедуры иной логики.

Давайте примем, что возникающий реальный посткоммунизм формируют три причинные последовательности:

- логика глобализации, вносящая асимметрию рациональности, ведущую к неуправляемости государства и незавершенности посткоммунистического капитализма;

- оборонные и компенсационные стратегии, введенные в посткоммунизме, в частности политический капитализм и капитализм общественного сектора, ведущие к дальнейшей деформации и государства, и экономики;

- внесение государством элементов государственного капитализма и идей односторонней «евроизации», а также социализирование внешне либеральных решений во имя стабилизации, имеющих своей целью дисциплинирование и возвращение управляемости.

**Распад системности, антиномичность принятия решений и функционализация патологии** затрудняют выход из ситуации, сформированной этими рядами причин. Более того, каждый из них имеет собственную динамику, неожиданные последствия и дополнительные факторы. А кроме этого между ними самими еще происходят сложные и полностью непредвиденные взаимодействия.

Три упомянутые причинные последовательности образуют систему, решающую функционирование всего целого. Она становится все более автономной по отношению к политической и административной власти. **Эта система остается нерас-**



**познанной.** Ее существование определяется по следствиям: репродуцирующемуся хаосу и экономической стагнации на очень низком уровне.

Ситуацию усложняет еще и то, что понятия, используемые для анализа обсуждаемых явлений, зачастую неточны. Слова «больше рынка» или «больше государства» не являются адекватными ситуации, так как суть проблемы – принципиальное изменение и феномена власти, и самого рынка. И экономика и государство функционируют таким образом, который не удастся понять, не приняв во внимание глобальную логику и ее вектор в лице асимметрии рациональности.

Культурный контекст посткоммунизма в Центрально-Восточной Европе не содержит познавательных (эпистемологических) инструментов, которые сделали бы возможной выработку **техник метарегуляции**. А последняя необходима, чтобы восстановить управляемость несмотря на множество «логик», характерных для сетевого государства и глобализирующейся экономики. Здесь не подходит парадигма, апеллирующая к единой, иерархично организованной рациональности, поскольку она оперирует антиисторическим и антиинституциональным взглядом на рынок и недооценивает необходимости релятивирования смысла отдельных институтов в зависимости от масштаба и исторического времени (а также функций цели) рынка, с перспективы которого этот смысл оценивается.

Эти явления проявляются в разной степени во всех посткоммунистических странах. Слабее всего – в Китае. Потому что там категория **времяпространства** является ключевой категорией культуурообусловленной эпистемологии. Открывая систему миру, было обращено внимание на необходимость сохранения институтов собственного исторического времени, сознательно сопротивляясь вносимой глобализацией асимметрии рациональности.

Описанные механизмы особенно выразительно проявляются в Польше. Потому что здесь политика стабилизации, последовательно проводившаяся в начале 1990-х гг. под названием «программы Бальцеровича», привела к быстрому началу использования, концентрации и расходования резервов времен коммунизма, что выявило системные барьеры дальнейшего развития, связанные с незавершенностью капитализма. Здесь также существовала давняя традиция менеджерских экспериментов, которые позднее переродились в политический капитализм. В Польше, в конце концов, политический зонтик над правительством, раскрытый Солидарностью, позволил провести, несмотря на общественные издержки, решения, соответствующие глобальной логике (а не локальным, историческим условиям реального формирования капитала), в частности преждевременную либерализацию финансовых рынков и ускоренную, также слишком раннюю, деиндустриализацию в соединении с распродажей банков. Асимметрия рациональности реализовывалась в Польше без каких-либо попыток медиации. Этому способствовал **антиисторизм либерализма**, который превратился в идеологию начала трансформации. Было проигнорировано институциональное измерение рынка и **значение времяпро-**

**странства.** Другими словами – недооценена необходимость релятивирования рациональности решений до стадии развития.

Вторая группа стран – это мещанские анклавы Центральной Европы и балтийские страны (Чехия, Венгрия, Эстония, Латвия и Словения на Балканах). Здесь мы также имеем дело с эффектом асимметрии рациональности в форме незавершенного посткоммунистического капитализма. Этот эффект был, однако, ослаблен **высшим уровнем общественного капитала** (образование, инфраструктура, культура труда) и – в итоге – высшим технологическим уровнем инвестированного иностранного капитала и сохранением локальных предприятий-партнеров (а не – как в Польше – деиндустриализацией). Культурный капитал этой группы стран также (с эпистемологией, толерантно относящейся к сосуществованию многих герменевтик) облегчает сохранение управляемости, несмотря на асимметрию рациональности.

Третья группа – это Россия, Болгария, Румыния, часть балканских государств и бывшие центральноазиатские республики СССР. Отсутствие или половинчатость реформ, неотрадиционализация (частично, впрочем, инициированная глобализацией), политическая нестабильность (с локальными войнами как особым механизмом перераспределения собственности) заблокировали эффект асимметрии рациональности. Остались также со времен коммунизма значительные резервы неудовлетворенного спроса, с одной стороны, и материальных ресурсов – с другой. Последнее дает этим странам, если бы они попытались, шанс на выработку модели институтов, соответствующих задачам их собственного исторического продвижения в построении капитализма. Хаос и социальная нестабильность, а также коррупция и вывоз капитала сводят этот шанс к нулю. Эти явления, если их трактовать поверхностно, похожи на те, что происходят сейчас в Польше. Однако у них другое происхождение. В Польше мы имеем дело с логичным результатом трансформации и особой системой: **реальным посткоммунизмом**, или **промышленными перифериями с незавершенным капитализмом**. А в названных выше странах – со следствием утери системности времен коммунизма и отсутствия новой, с бытием «между» вместе с половинчатостью реформ и разрушением государства.

Идейный хаос, сопровождающий рождение посткоммунизма, вытекает из того факта, что освещенная здесь драматичная **борьба различных «логик» и исторических времен** (локального времени и времени, навязанного в рамках асимметрии рациональности) не может превратиться в «историю». Поэтому эта борьба не была выражена в символической форме, что облегчило бы ее возникновение в обыденном сознании. Нет ее и в языке политики. Она интерпретирует дилеммы посткоммунизма категориями персональных и групповых конфликтов, а также недостатка ресурсов. Поэтому не замечает структурного (и неизбежного) конфликта между аспектами глобального процесса разных стандартов рациональности. Эти стандарты меняются по мере изменения масштаба, в котором данное действие оценивается, а также исторического времени институтов, посредством которых оно реализуется.

**Этот конфликт в посткоммунизме был еще больше усилен асимметрией рациональности и скудостью материальных ресурсов.**

Невозможность выражения (а потому и особая «незаметность») реального посткоммунизма и трудность определения, чем был реальный социализм, которую мы помним из прошлого, имеют разные причины. Причиной трудности определения реального социализма была идеологическая «предполагаемая действительность», блокирующая понимание и выражение реальной действительности. Отбрасывание этих идеологических принципов было трудным, так как нарушало внутреннюю рациональность целой системы и обнажало его абсурдность. А это ударило по всем акторам системы, не только по партийной номенклатуре. Невозможность же определения, что такое реальный посткоммунизм, – это не только следствие идеологии (уже упомянутый антиисторизм либерализма), но также особая культурная парадигма, усложняющая постижение сосуществования в посткоммунизме различных исторических времен и «логик».

Половинчатое и запоздалое увлечение идеалом «модерного» правового государства (с иерархично упорядоченными стандартами единой формальной рациональности) в момент, когда это государство под влиянием глобализации перестает существовать, усложняет еще больше выражение дилемм посткоммунизма, вносимых глобализацией и ее асимметрией рациональности.

Польша представляет собой пример модели описываемых здесь и характерных для посткоммунизма тенденций. Следствия асимметрии рациональности в лице неуправляемого государства и незавершенного капитализма проявились в Польше наиболее сильно.

### ***На краю хаоса – без самоорганизации***

Как я уже указывала, **неуправляемость** сочетается прежде всего со «сворачиванием» инструментов управления, способных справиться с вызовами и дилеммами посткоммунизма. Это вызвано увеличением поверхностной компатибельности процедур и институтов с теми, которые характерны для стран высшего уровня развития, и отбрасыванием тех, которые соответствуют уровню развития посткоммунизма. Коллизия между формальной и реальной интеграцией в этой ситуации неизбежна. А с ней – растущая конфликтность целей, стоящих перед государством, и в результате его **антиномичная раздвоенность**. Хотя взаимоисключающие шаги имеют, каждый сам по себе, позитивное свойство рациональности с перспективой отдельных целей государства. Поэтому здесь связка целей является внутренне противоречивой. Это видно наилучшим образом на примере несоответствия между первичной аккумуляцией капитала в посткоммунистических странах и формальной интеграцией с мировой экономикой. Последняя все же добивается ограничения производства и подавляет защиту посткоммунистических стран в неравном соперничестве с глобальным капиталом.

Другим выражением антиномичной раздвоенности государства является все более частое, вместе с исчерпанием резервов, противоречие между тем, что есть рациональным в долгосрочной временной перспективе, и тем, что рационально в краткосрочной перспективе. Антиномичность выявляется здесь в том, что в управлении должны учитываться обе эти перспективы. Примером служат хотя бы упомянутые ранее взаимоисключающие концепции перемен в секторе коммерциализованных общественных фондов, обсуждавшихся в Польше при разработке бюджета 2003.

Такая коллизия целей и временных перспектив приводит к неуправляемости, которая уменьшает шанс выполнения основных задач.

Очередным источником неуправляемости является постепенная **децентрализация государства**. И снова – это следствие не только усиливающейся «сетевости» последнего (и того, что некоторые паутины тяготеют к стандартам, установленным за его пределами), но также **сознательной деполитизации**, составляющей реакцию власти на собственное бессилие. Бросающийся в глаза пример – **расщепление государства** введением дополнительного измерения, нового институционального пространства, за пределами политических влияний. Речь идет о многократно упомянутой здесь коммерциализации более половины общественных фондов и создании государственных учреждений, действующих согласно иной рыночной логике, а не той, что доминирует в государстве. Этот шаг должен был не только создать возможность **параэкономической аккумуляции капитала**, но также повысить интеграцию государственного аппарата (постепенно преобразованного в **политический класс**) и облегчить правительству побег от непосредственной, политической ответственности за сворачивание социальных функций государства.

**Коммерциализация государства**, которой я хочу заняться более плотно, также косвенно связана с глобализацией. Поэтому ее можно трактовать как **стратегию формирования капитала в условиях опоздания**, с одной стороны, и **глобального соперничества** – с другой. Коммерциализация некоторых задач (а также учреждений и фондов) государства и выполнение этих задач рынком являются попыткой свертывания, ограничения пределов посткоммунистического «опекающего государства», а не его сохранения в условиях глобального соперничества.

Используя определение «коммерциализация посткоммунистического государства» я имею в виду тот факт, что некоторые его функции (охрана здоровья, обеспечение по старости, часть социальной опеки, а также реструктуризация промышленности и сельского хозяйства, распоряжение бывшим военным имуществом, запасами государственной земли и лесов, приватизация, подготовка больших инфраструктурных инвестиций, таких как в автострады) выполняются выделенными из государственного организма коммерческими учреждениями. Основой коммерциализации государства является переход распоряжения общественным имуществом в руки именно таких учреждений, которые функционируют согласно рыночным правилам, но имеют право совершать операции с этим имуществом в

свою пользу, а также самостоятельно определять условия вознаграждения за выполнение возложенных на них задач государства.

Заметим попутно, что больше половины группы из поляков, имеющих самые высокие доходы (по данным Налогового управления), составляют люди, связанные именно с этим «общественным» сектором. Сфера такой коммерциализации в Польше значительна; в большей части министерств, центральных и воеводских управлений зафиксировано по несколько целевых учреждений и фондов. Кроме того, действуют коммерческие учреждения, выполняющие задачи государства, но как бы параллельные правительственной администрации. Доходы сектора, определенного как «общественный», составляют вместе 47,3% ВВП, а его задолженность – 55% ВВП. Только обслуживание этой задолженности поглотило в 1998 г. около 7,7% всех общественных доходов. Часть целевых учреждений и фондов перечислена в законе о бюджете (хоть они и не принадлежат к бюджетным статьям и не подлежат парламентскому контролю); остальные функционируют полностью вне этого закона и политического надзора. В распоряжении второй группы находится около 5 млрд злотых ежегодно, или почти половина годовых поступлений от налога НДС, взимаемого с субъектов хозяйствования<sup>13</sup>.

Следствием коммерциализации государства, или выполнения части его задач посредством рынка, является введение в организм государства стандартов рациональности, отличных от тех, которые были связаны с этими задачами раньше и остаются такими относительно других задач. Это изменяет как **формальную рациональность** – когда часть учреждений, созданных государством и принимающих от него задания, уже подвергается регулированию нормами торгового права и находится вне действия административных инструментов контроля и координации, так и **субстанциональную рациональность** – когда речь идет о принципиальной смене иерархии целей, или порядка того, что хочет максимализироваться, и того, что трактуется только как «издержки», требующие реализации на минимально удовлетворительном уровне.

Коммерческая логика минимизации издержек, принятая государственными учреждениями после реориентации на рациональность рынка, ведет, в частности, к маргинализации общественных услуг высокой стоимости, трактованию «общего блага» наравне с другими «товарами», в конце концов – к сокращению при выполнении функций государства элемента сотрудничества, если только оно не способствует уменьшению издержек. Кооперация как ценность сама по себе (подобно альтруизму и солидарности между поколениями) не входит в эту коммерческую рациональность. Выполнение задач государства посредством рынка не только разгосударствует (так как происходит за пределами действия традиционных политических инструментов), но также и разобществляет. Одновременно не увеличивается видимым образом рациональность рынка.

Как доказывает пример Польши, невыполнение двух институциональных условий коммерциализации общественных фондов значительно уменьшает выгоду от преобразования их в дополнительный источник капитала. Эти условия – **слишком высокое начисление процентов с кредитов** в банках (чтобы не появилось искушения использовать политическое давление с целью перехвата коммерциализированных фондов как «мягкого финансирования»), а **также сохранение в руках национального капитала и государства контроля над банками**, владельцами которых они являются. Невыполнение этих условий вытекает, по-моему, из непонимания принципов внутренней логики стратегии коммерциализации государства. В результате, однако, этот болезненный для общества маневр преобразуется – вопреки предположениям его авторов – в **новую форму перераспределения и новую форму клиентеллизма**. И все государство, и общество платит в этой ситуации высокую цену за **лишь мнимую деполитизацию** распоряжения общественными финансами. Потому что вместо рыночной рационализации их затрат имеем другую форму политизации, на уровне отдельных политиков или политических партий.

Коммерциализация посткоммунистического государства представляет собой сознательный выбор. Он продиктован, в частности, аргументами, уже давно выдвинутыми школой *public choice*. Она указывала на расточительность, вытекающую из административной и политической логики распоряжения общественными средствами, например из подчинения ритма расходов избирательным циклам. Выполнение функций государства учреждениями, созданными, правда, самим государством и входящими в него, но уже «наружными» в смысле этого типа рациональности, формально представляет собой выражение общей тенденции мира институтов, лишь бы экстернализовать задания, поручая их специализированным наружным организациям. Однако, если лучше присмотримся к процессу коммерциализации государства в Польше, окажется, что ситуация совершенно иная, так как **в структурах государства появляются субъекты другого (уже гражданско-правового) статуса и другого вида рациональности**. Экстернализации же подлежат общественные фонды, трактуемые этими субъектами как капитал и выходящие на рынок. В посткоммунистических странах эта последняя черта – нахождение дополнительных, внутренних источников капитала – является, впрочем, главной чертой. Поэтому своеобразная колонизация государства коммерциализацией общественных фондов облегчает формирование капитала в условиях опоздания и неравных шансов в глобальном соперничестве. Ценой за поиск источников капитала внутри государства является, однако, кроме специфического разгосударствления и разобществления системы, не столько деполитизация, сколько другая политизация в расходовании общественных фондов. Коммерциализация государства усиливает также его «паутинный» («сетевой») характер. Потому что рядом с подвергшимися глобализации территориями, уже регулируемые правовыми стандартами и рациональностью, относящейся к масштабу действий большему, чем государственный, появляются клиентелистические, организованные рынки вокруг коммерциализи-



рованных учреждений и общественных фондов. В этих условиях то, что обычно называется **слабым государством**, после более тщательного анализа означает **рассеивание компетенции принятия решений, сужение набора инструментов управления** и, прежде всего, **существование зон, относящихся к принципиально разным стандартам рациональности и целям деятельности**.

Феномен коммерциализации государства полностью меняет не только институциональную ткань государства и степень (и способ обеспечения) управляемости (организованности), меняется также характер связей между государством и экономикой.

**Это уже не политический капитализм первой фазы трансформации, когда шансы формирования капитала зависели от «ренты» в силу настоящей либо недавней власти** (персональные связи; доступ к информации; «общественный капитал», возникающий из бывшего политического статуса лиц, помещенных в новые, уже рыночные институты; в конце концов, структурная власть, влияющая на форму новых правил игры и доступ к инфраструктуре рынка, которая опирается на ресурсы, оставшихся со времен коммунизма). В период политического капитализма именно политические решения формировали правила межсекторного перехода капитала – из государственного и бюджетного сектора в частные руки. Хорошим примером является особая формула, которую я называю «большевистским либерализмом» первых лет трансформации. С одной стороны, политическими решениями (решение премьер-министра Тадеуша Мазовецкого в марте 1990 г., подтвержденное распоряжением министра финансов Лешеком Бальцеревичем в ноябре того же года) было обеспечено коммерческим банкам возмещение долгов (в том числе и невыгодных кредитов) с начислением процентов Национального банка Польши. С другой – административным путем была создана спираль задолженности в государственном секторе посредством приказной, нереалистичной переоценки амортизационных обязательств; административного распоряжения о получении оборотных средств *via* кредит; изменения условий выплаты ранее невозвращенных кредитов, в том числе центральных инвестиций; административного замораживания некоторых цен (например, угля). Этот политический по своей природе маневр должен был ускорить формирование финансового капитала и производство долгов (и банкротства), чтобы придать динамику приватизации (через несостоятельность) государственного сектора.

Сейчас мы имеем дело со второй фазой создания основ капитализма, которую я предлагаю назвать «капитализмом общественного сектора» или «капитализмом отделенных властей», реализующейся уже ниже уровня «политики». Чертой новой формулы является симбиоз части администрации государства с рыночными субъектами (так называемый коммерциализированный общественный сектор). Формула эта работает уже за пределами действия инстру-

ментов контроля и координации, которыми обладают государство и политики, хоть возникла в силу политического решения.

Со времени этого решения (1998) произошла, однако, качественная перемена. Возможность выделения и коммерциализации задач государства заполнилась социальным содержанием. Более того, возникший на стыке государства и рынка симбиоз (своеобразная корпорация) был назван («общественный сектор») и тем самым в некоторой степени легализован и даже открыт для иностранного капитала.

В рамках этого симбиоза государственные учреждения, выполняющие его задачи, пытаются эксплуатировать рыночный механизм, а актеры сцены рынка пробуют перехватить часть общественных средств, функционирующих уже как капитал. Отсутствие надзора над зоной финансирования рыночных субъектов (надзор Национального банка Польши охватывает только банки) способствует клиентеллизму, чрезмерной задолженности и гибкому финансированию избранных (часто по партийному принципу) клиентов.

В результате меняются принципиально и государство, и рынок. Первое, как я уже указывала, утрачивает однородность в онтологическом смысле (так как имеет в себе учреждения разного правового статуса и разных видов рациональности), во властном смысле (так как часть государственных учреждений постоянно находится вне пределов действия обладаемых государством инструментов координации), в конце концов – в процедурном смысле. Поэтому в государстве некоторые субъекты функционируют в рамках иной, а в отношении бедности средств и просто конфликтной логики, и этот конфликт не регулируется открыто и стандартно. **Он разыгрывается скрыто, в исполнительном аппарате государства, между сегментами бюрократии и коммерциализированными учреждениями** в лоне одного и того же министерства. В наихудшем варианте – эти **организмы сплавляются в одну, служащую самой себе корпорацию**. Ситуация еще больше усложняется, если эта корпорация входит время от времени **в симбиоз с внешними элитами**. Ими являются либо организации, в принципе представляющие в отношениях с государством интерес определенных сегментов общества (профсоюзы, объединения работодателей и предприятий), либо элиты отдельных партий. Это, впрочем, увеличивает устойчивость формулы коммерциализации государства, потому что облегчает циркуляцию элит, приток ресурсов и персонала, осуществление структурной власти и возникновение «организованных рынков», опирающихся на кооптации. Данный механизм не создает открытого, свободно конкурентного рынка: и он, подобно государству, состоит из «паутинок», спянных клиентеллизмом, политическими союзами и скрытыми служебными связями (как негласные, пользующиеся общественными фондами общества, руководимые специальными службами).

Этот переход от «политического капитализма» к «капитализму общественного сектора» завершил первый этап трансформации. Кажется, что за переходом дошло до возникновения системы, уже способной к самостоятельному воспроизведению и саморегуляции. Поскольку все же в фазе «политического капитализма» методом ускоренного создания капитала (главным образом финансового) центрально, т. е. на политическом уровне, было инициировано особое сплетение административных действий и рыночных методов, постольку в фазе «капитализма общественного сектора» центральная инициатива ограничена до минимума. Поэтому возникли дополнительные факторы, в частности интересы партийных элит – как в управляющей коалиции, так и в оппозиции, – способствующие дальнейшему выделению и коммерциализации общественных фондов. Лишь кризис общественных финансов (2001) и дисциплинирование Европейским союзом дали надежду обуздания описанных здесь практик. Все это усиливает впечатление «децентрализации» государства (отсутствия четкого центра, способного управлять целым). **В результате государство перестает быть не только «центром доверия» (*locus of trust*), но также точкой соотнесения (принятым ограничением) для индивидуальных решений.** Речь идет о решениях как отдельных граждан, так и субъектов хозяйствования, а также, что еще хуже, самих государственных чиновников и политиков.

По моему мнению, до сих пор остается верным утверждение классической китайской философии, что **государство существует так долго, как долго интерес представляемого им целого учитывается в решениях субъектов, осуществляющих свою деятельность на его территории.**

Уходу от единой процедурной рациональности государства и его способности к артикулированию интересов целого, заключенного в его границах, сопутствует основательное изменение смысла таких понятий, как «власть» и «контроль», а также специфическая **деполитизация демократии.** Традиционные политические институты демократического государства перестают быть главным центром осуществления власти: это, однако, не означает, что возникает альтернативный центр. Потому что те же самые факторы, которые ослабляют, деполитизируют демократию и противоречат ее сущности (в частности, глобализация и особая колонизация государства, основанная на преобразовании общественных фондов во внутренний источник капитала), также блокируют появление альтернативных по отношению к демократии авторитарных правительств. Такие правительства не слишком вероятны, учитывая лишение государства функций управляющего центра, рассеивание ресурсов власти и сокращение числа инструментов управления, связанных неизбежно с глобализацией, с одной стороны, и коммерциализацией общественных фондов – с другой. Невозможны также срединные положения, например популистская демократия, противоречащая своей алокативной логикой как глобализации, так и коммерциализации задач государства. Вероятнее всего можно ожидать появления «псевдоальтернативных» правительств, существующих исключительно в сфере риторики и символических жестов. Здесь я имею в виду **демократический цеза-**

**ризм**, или возникшую демократическим образом власть одной формально сильной личности<sup>14</sup>. Более реальной стратегией, служащей, чтобы сохранить впечатление единства процедур и «целостности», является **состояние перманентной временности, или режима чрезвычайного положения**, введенного согласно демократическим процедурам, или мозаика таких режимов в разных отраслях деятельности государства<sup>15</sup>. Однако наиболее правдоподобной является **иррелевантная демократия**, ограниченная до **роли легитимирующего и репродуцирующего политический класс ритуала**, именно «класс», а не «элиты» власти. Так произошло в Польше. Порой с таким отмиранием государства (как иерархично организованной структуры процедур с единым горизонтом рациональности) сочетаются более или менее удачные попытки сохранения целостности и «организованности» с помощью иных институтов, а не классических «политических». Примером служит «единое информационное пространство» в Российской Федерации, действующее в рамках структуры ФАПСИ (Федерального агентства правительственной связи и информации), созданной спецслужбами и контролирующей запас знаний для всех акторов системы<sup>16</sup>. Таким образом поддерживается элементарное сотрудничество. Этому сопутствует использование **военной формы** (технической инфраструктурой и логистической рациональностью) в качестве **костяка государства**<sup>17</sup>, а также ведение перманентных войн на окраинах как интегрирующей основы структур государства. В Польше во время перехода от политического капитализма к капитализму общественного сектора (а после кризиса общественных финансов в 2001 г. – к попыткам создания элементов государственного капитализма при очень слабом государстве) можно было наблюдать две другие бросающиеся в глаза перемены. Имею в виду, во-первых, зарождение (1993) и ослабление (1997) олигархии «первого поколения» (связанной с бывшими центральными управлениями внешней торговли и специальными службами); и, во-вторых, исчерпание ресурсов политического капитала власти, накопленного за последние годы коммунизма. Происходило также постепенное объединение старой и новой партийной номенклатуры в единый политический класс.

Термин «олигархия» здесь употребляется в том значении, которое придается ему в контексте Латинской Америки<sup>18</sup>. Речь идет о центре структурной власти, имеющей политические и экономические ресурсы, позволяющие ему влиять на правила игры, форму институтов и селекцию кандидатов на должности в государстве. **Олигархия как «промежуточная структура власти»** ставит своей задачей в условиях **зависимого развития** (с этим мы имеем дело и в Латинской Америке, и в посткоммунистических странах) охрану «отношений внутренней зависимости» (с которыми она связана экономически) с одновременным сохранением шансов на формирование национального капитала<sup>19</sup>. Выполнение этой задачи требует от олигархических структур медиации между национальным капиталом и иностранным, а также администрацией государства. Прогрессирующая глобализация и связанный с ней переход политических органов на роль одного из многих субъектов, опре-

деляющих условия деятельности и трактование государства, как если бы оно было одним из многих – равных ему – гражданско-правовых субъектов, значительно затрудняют олигархии такую медиацию. Также потому, что иностранный капитал уже ведет непосредственные переговоры с менеджерами фирм и чиновниками в министерствах и либо поглощает национальный капитал, либо сваливает его на местные рынки или в серую зону.

В условиях посткоммунизма оказалось, что у олигархии слишком мало капитала, чтобы сохранить контроль над приватизацией финансового сектора<sup>20</sup>. Она была также слишком разделена (доказательством чему в Польше являются конфликты в коалиции СЛД-ПСЛ, выражающие конфликты между сегментами олигархии, ориентированными на разные рынки и разные стандарты политики институционализации<sup>21</sup>). В результате из-за денежных и организационных причин олигархия не смогла осуществить контроль над новыми потоками коммерциализированных общественных средств (пенсионные фонды). Члены олигархии начали, каждый на свой страх и риск, спасать свой, уже достигнутый потребительский статус. Это было связано с вхождением в качестве молодых партнеров в связи с иностранными фирмами и предложением ресурсов власти, быстро подвергающихся коррозии. Дополнительным фактором, который ускорил разложение посткоммунистической олигархии, было описанное здесь отмирание государства. Поскольку своеобразная «децентрализация» ликвидировала также и ширму, из-за которой олигархия дергала за ниточки структуры политической власти. Эволюция государства от «государства авторитета» к «государству паутин» подвергла коррозии единство олигархии, а вступление в НАТО (и новые режимы доступа к закрытой информации) вынудило к перестановкам в личном составе капиталопромышленных и капиталоторговых групп стратегического значения. Незавершенность посткоммунистического капитализма (и слабость механизмов аккумуляции национального капитала) стала причиной тому, что роль медиатора между национальным и иностранным капиталом значительно уменьшилась. Это место заняла медиация между интересами политического класса и менеджеров приватизированных фирм и интересами иностранного капитала, проводимыми коммерческими брокерами. Олигархия «другого поколения», значительно более малочисленная, чем «первого поколения», – это в случае Польши главным образом люди, связанные с капитализмом общественного сектора: брокеры приватизации больших размеров и бенефицианты значительных общественных заказов, а также владельцы СМИ. Эта среда разделена так же, как фрагментировано государство.

Оговоренные механизмы (связанные по-разному с глобализацией) напоминают те, которые в Латинской Америке привели к разложению (или по крайней мере значительному ослаблению) олигархии.

Другим явлением, сопутствующим формированию «системы», автономной по отношению к номинальной власти (после перехода от политического капитализма к капитализму общественного сектора) стал феномен «политического класса». Ис-

пользование термина «политический класс», а не «элита власти» популярно среди лиц, занимающих государственные должности. Можно удивляться, вытекает ли это самосознание из констатации, что их власть – из-за перечисленных причин – ограничена, или, может быть, означает осознание удивительной общественной гомогенизации этой среды и отдельных (уже системно обусловленных коммерциализацией государства) связей с экономикой? Существенным фактором является также, пожалуй, тот факт, что термин «класс» хорошо отражает особую пульсацию **центробежных тенденций (сочетающихся с другими символическими идентификациями) и одновременно – предчувствие общности интересов**. Эта общность касается хотя бы сохранения формулы коммерциализации общественных финансов (позволяющей циркуляцию элит), а также сохранения – благодаря удержанию пропорциональной избирательной системы – возможности устранения от власти людей «антисистемной» ориентации, подрывающей существующие связи между государством и экономикой.

После перехода от «авторитетного государства» к «государству паутин» (где каждая «паутина» соотносится с разными стандартами рациональности, а иногда и масштабом деятельности, который не покрывается масштабом государства) изменяется также принципиально смысл понятия «власть». Теперь управляемость государства (его *governability*) зависит прежде всего от двух факторов: качества метарегуляции (или способа соединения сегментов разных логик, например коммерциализированных учреждений и фондов с остальным государством) и институциональных возможностей редукции – на выходе – последствий внешних потрясений. Примером служит стабилизирующая роль государственного контроля в сфере конвертируемости валюты в Китае, которая – при политической воле к избежанию девальвации – предотвратила углубление финансового кризиса в Азии<sup>22</sup>.

А примером отсутствия таких возможностей является, к сожалению, Польша, где дошло даже до функционализации патологии, когда приток спекулятивного капитала удерживает силу злого.

Сочетание рынков различной рациональности придало динамику спирали российского кризиса в 1998 г.: те же самые механизмы, которые были рациональны в малом масштабе, после объединения, в новом, большом масштабе, создали неуправляемую и нерациональную ситуацию. Добавим – нерациональную в краткосрочной перспективе, хотя в более долгой перспективе кризис возвратил нарушенное деятельностью олигархии равновесие между сферой финансов и сферой производства.

Предупреждение кризисов в новой ситуации должно заключаться (как показывает пример России) не столько в линейном контроле отдельных переменных (так как они ни в России, ни в Юго-Восточной Азии не превысили критических значений), сколько в способности удержать – на основе **размытого управления**<sup>23</sup> – **динамику подсистем** («паутин») в **определенных пределах**. В случае Польши речь шла бы, например, о торговом дефиците, учитывая кооперативный



импорт иностранных фирм<sup>24</sup>, или о задолженности коммерциализированных государственных учреждений. Важно также контролирование связей между этими подсистемами, чтобы предупредить взаимное усиление последствий потрясений и их трансмиссии.

Основой этого типа контроля являются:

– способность к раннему распознаванию сущности и последствий «структурной причинности», когда эффект внезапных перемен в контексте, окружающей среде или остальных частях системы скачкообразно изменяет функционирование данной «паутины»;

– правильное понимание смысла реляции между подсистемами<sup>25</sup>;

– обладание резервами для раннего введения локальных компенсационных действий. Частью *governability* есть способность поддержания фикции правового государства, а также – максимального ограничения правовой разъединенности государства (хотя бы отсутствия правовых последствий и неизбежного произвола в решениях споров между акторами подсистем с разными стандартами рациональности).

Внезапная смена масштаба деятельности, переворачивающая причинные реляции, изменяющая характер критической массы, «катализирующей» определенные реакции (и даже логику данного сегмента государства или экономики после встраивания его в новое «целое»), – это только одна из многих возможных причин неожиданного начала кризиса. Качество «мостов» между «паутинами» разных рациональностей и повышение восприимчивости чиновников к этим различиям – это тоже важные моменты в предупреждении кризисов. И здесь нужно считаться с возможностью резких, радикальных перемен тенденций/направлений. Ведь смысл действий изменяется немедленно после изменения плоскостей нормативного соотношения (и стандартов рациональности) и характера реляций, хотя форма остается неизменной.

**Смысл (эссенция) институтов преобразуется, как видно, в другом ритме, чем их правовая форма и в значительной степени независимо от нее.** Например, сокращение связей в структуре может начаться незаметно, без изменений формы, учитывая реориентацию потоков информации, которые действуют как фермент, потому как сокращают (ускоряют) реакцию<sup>26</sup>. Также изменение связей («мостов»), контекста и масштаба действий выделяет в тех самых институциональных структурах аспекты, которые раньше были скрытыми (например, китайская стратегия освобождения локальных рынков посредством прекращения императивных отношений между местными властями и министерствами). Слабость посткоммунистического государства, анализируемая с описанной здесь точки зрения, связана главным образом с неоднородностью стандартов рациональности (когда определенные сегменты уже руководствуются рациональностью рынка, хотя продолжают выполнять задачи государства), отсутствием инструментов контроля и координации между субъектами разной рациональности и – в общем говоря – не-

пониманием политиков нового характера власти (и управляемости), в котором основным измерением является метарегуляция.

Описанные здесь механизмы, приводящие к неуправляемости посткоммунистического государства, помещают последнее на краю хаоса. Согласно теоретикам сложных систем, это ситуация, которая способствует **инновационной самоорганизации**, поиску новых связей и внутренних катализаторов порядка. **В случае посткоммунизма такие действия были, однако, заблокированы формальной интеграцией с евросоюзными структурами**, уменьшая шанс на соответствующую реальную интеграцию. Наиболее сильно это проявляется в посткоммунистической экономике.

### **Незавершенный капитализм (случай Польши)**

Незавершенность посткоммунистического капитализма связана со **слабостью механизмов аккумуляции капитала** и их **несамостоятельностью**; **исчерпанием потенциала экономического роста** после израсходования поверхностных резервов времен коммунизма; появлением **внутренних барьеров** развития, вызванных преждевременной в этой стадии **деиндустриализацией**; **прерыванием цикла капиталистической репродукции** как на агрегированном уровне «макро» (трансферты капитала за границу, финансовые институты, которые более охотно обслуживают общественный долг, а не кредитуют инвестиции), так и на уровне «микро» (амортизационные отчисления, не покрывающие восстановления имущества, низкая степень инвестиций); **слабостью культуры контракта** и таким сокращением временной перспективы принятых в экономике решений, что это противоречит сущности капиталистической предприимчивости; в конце концов, с организацией системы (процедуры, институты, связи), работающей в пользу всего целого, но большего масштаба, чем данная система, и с другой функцией цели. Эта переориентация связана с очевидным **противоречием между формальной интеграцией в мировую экономику** (основанной на процедурах, предписанных так называемым вашингтонским *consensus*, продвигающим решения, характерные для проблем, стоящих перед рынками на значительно более высокой, чем посткоммунизм, стадии развития<sup>27</sup>) и **реальной интеграцией**. Это как раз ошибочное решение в выборе институтов, принятое в начале трансформации, в сочетании с вносимым глобализацией «структурным насилием» несет ответственность за начало более серьезного, чем это следовало из упадка коммунизма и роспуска СЭВ, экономического спада<sup>28</sup>.

Недооценка последствий противоречия между реальной и формальной интеграцией или следствий описываемой в этой книге асимметрии рациональности – навязывающей посткоммунистическим странам рациональные решения для другого, а не их масштаба и другого исторического времени, – привела к ошибочным

прогнозам относительно шансов развития посткоммунистической экономики. Так, Лоренс Саммерс, в то время вице-председатель Всемирного Банка по делам развития, ожидал завершения экономического спада в Польше уже в 1991 г., а в других странах – в 1992 г. и в общем около 4% экономического роста на территории Центрально-Восточной Европы к концу декады<sup>29</sup>. В действительности уровень экономического роста в этом регионе упал в 1990–1991 гг. практически на 17%, в 1992 г. еще на 3,6%, а к концу декады (1998–1999) возрос всего лишь на 2,3%, стабилизируясь на весьма низком уровне. Гжегож Колодко обратил внимание, что продолжительность и глубина трансформационного экономического спада была меньше в тех посткоммунистических государствах, которые пытались реформировать свою экономику в рамках прежней системы<sup>30</sup>. На мой взгляд, это связано с образованием общественного капитала и инфраструктурных ресурсов, которые затем, уже в период посткоммунизма, ослабили негативные последствия асимметрии рациональности (а именно – деиндустриализацию), хотя и не были в состоянии устранить их полностью.

В Польше выражением незавершенности посткоммунистического капитализма является хрупкое, рецессивное равновесие на низком уровне, которое установилось после исчерпания резервов времен коммунизма. В этом контексте нужно перечислить три механизма, представляющие собой прочные препятствия для развития, связанные с асимметрией рациональности, вносимой глобальной логикой:

1) **тенденция понижения уровня роста потенциального ВВП.** Речь идет о возможном по отношению к существующему (и потенциальному – в актуальных условиях экономики) предложению в росте. Преждевременная деиндустриализация (доля промышленного производства ВВП в Польше в 2001 г. составляла только 22%, что катастрофически мало на начальном, аккумулятивном этапе капитализма<sup>31</sup>) вместе с ограниченными возможностями инвестиционных фирм (половина биржевых компаний в 2001 г. понесла потери, а средняя прибыльность составила 0,6%, что привело к утрате кредитоспособности), а также небольшими шансами увеличения предложения посредством импорта, учитывая слабую конкурентность экспорта, становятся, таким образом, причиной тому, что возможности предложения экономики растут очень медленно. В итоге сокращается разрыв между наблюдаемым ВВП и потенциальным ВВП (который не угрожает ростом инфляции, но определяется как раз возможностями предложения экономики). Поэтому уже рост ВВП до уровня 3% и связанное с ним увеличение спроса угрожали бы ростом инфляции, учитывая барьер предложения<sup>32</sup>. А это и так слишком низкий рост, чтобы прекратить нынешнюю безработицу (около 20% трудоспособных граждан) и уменьшить расстояние, отделяющее от развитых стран! Только новые инвестиции могли бы изменить ситуацию, но незавершенный посткоммунистический капитализм не в состоянии произвести соответствующие средства, а иностранные инвесторы чаще всего провоцируют дальнейшую деиндустриализацию (проникновение, сочетающееся с изгнанием национальных кооператоров и заменой их сотрудничеством с

собственной страной)<sup>33</sup>. Пропадают также сбережения беднеющего общества. Опасное понижение потенциального уровня роста и его приближение к существующему уровню (несмотря на то что он и так низкий), связанное с небольшими возможностями предложения польской экономики, является следствием деиндустриализации, навязанной глобализацией и вступлением в международное разделение труда, подчиненным принципам асимметрии рациональности. Рост ВВП выше потенциального уровня означал бы новый скачок инфляции, поглощающий эффект роста;

2) **устойчивая зависимость производства** (и это не только на экспорт) от кооперационного импорта. Приватизационная политика правительства, не заботящаяся об интересах национальных партнеров (и подверженная внешнему давлению, чтобы освободить на внутреннем рынке место для иностранных производителей), стала причиной тому, что сейчас около 65% всего импорта – это кооперационный импорт (среди прочих комплектующие). Для сравнения, в Китае 65% импорта – это инвестиционный импорт. Зависимость от кооперационного импорта угрожает Польше ситуацией, в которой **всякий рост ВВП автоматически вызовет ухудшение баланса торгового оборота**. Вспомним, что подобная высокая чувствительность импорта к росту национального дохода (как снабженческого импорта, так и потребительского, извлекающего выгоды из роста) проявилась в Аргентине перед финансовым кризисом (2002): каждый процент роста ВВП вызвал рост импорта на 2,6% ;

3) **функционализация патологии**. Высокие процентные ставки в Польше, уже много лет сдерживающие развитие, компенсируют иностранным инвесторам высокие риски, вытекающие из преждевременной либерализации финансовых рынков. Связь с асимметрией рациональности здесь непосредственна. Высокие ставки привели к чрезмерному повышению стоимости злого за счет экспорта. Понижение процентных ставок (и девальвация злого) могло бы, однако, ударить по фирмам, которые задолжали иностранным банкам, устанавливающим более низкое начисление процентов на кредиты. Этот долг в 2001 г. превысил в Польше 30 млрд американских долларов. Итак, что с одной точки зрения является патологией, с другой (и обе имеют право на существование) представляет собой элемент рационального механизма. Множество рациональностей, относящихся к разным стандартам, определяемым условиями деятельности, связано с характерным для посткоммунизма противоречием между формальной и реальной интеграцией в мировую экономику. Это усиливает хаотичность действий, блокирует изменения (потому что то, что рационально с одной перспективы, нефункционально с другой) и устанавливает стагнационное равновесие на низком уровне. Постепенно возникает **система, обросшая дополнительными факторами и – несмотря на многочисленные дисфункции – стабилизированная тем, что издержки его перемен растут**. Разрыв между формальной и реальной интеграцией становится все более очевидным, но уклонение от принятия процедур с признаками асимметрии рациональности грозило бы Польше маргинализацией. Потому что кочующий ка-

питал может найти другие страны, которые пойдут на риск преждевременной институциональной компатибельности.

Этим механизмом, представляющим собой результат давления глобальной логики, сопутствует **дефицит капиталистической культуры контракта**. Уровень взаимного доверия, необходимый в рыночных сделках, в посткоммунизме очень низок. Принцип равных шансов на рынке нарушается коррупцией и клиентеллизмом, характерным и для политического капитализма, и для капитализма общественного сектора. Отсутствуют также черты синдрома «капиталистической предприимчивости». Речь идет о долгосрочной временной перспективе; ориентировании на полный цикл капиталистической, расширенной репродукции, с фазой инвестиции, а не на немедленную прибыль; лояльности по отношению к клиентам и сотрудникам, а не деятельности во вред фирмы<sup>34</sup>.

Основой описанных здесь явлений является подспудный, глубинный финансовый кризис, когда потребности государства в ссуде растут значительно быстрее, чем видимый на поверхности бюджетный дефицит. Этому способствует «энронизация» двухмерного государства (с серой зоной между бюджетным сегментом и сегментом коммерциализованных общественных фондов), а также многочисленные островки отделенных властей с быстро влезаящими в долги самоуправлениями, больничной кассой и коммерциализированными учреждениями. Эти потребности в ссуде – это, кроме бюджетного дефицита, также компенсации, заемы и так называемые внешние отрицательные сальдо. Их финансирование происходит главным образом через эмиссию и продажу казначейских билетов. В 2001 г. это принесло 70,4 млрд злотых, из которых 91,4 % пошло на выкуп билетов, для которых подошел срок выплаты. В то же самое время бюджетный дефицит составлял 15,4 млрд. В 2002 г. Министерство финансов выставило на рынок бумаги ценностью почти 120 млрд злотых, из которых 70% должно было пойти на покрытие старых долгов<sup>35</sup>. Уровень эмиссии угрожающе приближается к уровню целого бюджета. В структуре долга постепенно уменьшается доля иностранных обязательств (в 2002 г. – 33,5%) и быстро возрастает национальный долг, главным образом по отношению к коммерческим банкам. Значительный масштаб задолженности принуждает Государственное казначейство к постоянному присутствию на национальном финансовом рынке. Это уменьшает доступность кредитов для фирм (теперь банки выдают кредиты в Польше только для 14 % инвестиций и 17% текущих оборотов, тогда как в развитых странах – примерно для 70%) и повышает цену этих кредитов (процентные ставки). Последнее не только затрудняет развитие, но также осуществляется за счет следующих поколений, которые будут вынуждены возвращать накапливающийся сегодня общественный долг. Не хватает средств на действия, которые могли бы позволить использование в будущем евросоюзных структурных фондов: и здесь будут нужны «связующие» кредиты. Торможение инвестиционных процессов; слабющий внутренний спрос; ослабление конкурентоспособности экспорта из-за повышения стоимости злотого; безхозяйственность сектора общественных финансов, ориентированного в значи-

тельной степени на клиентеллистическое перераспределение; банки с иностранным капиталом, в незначительной степени кредитующие развитие, но зато все чаще служащие инструментами перехватывания имущества и сегментов рынка<sup>36</sup>; драматическое ухудшение функционирования всей экономики из-за платежных заторов; взаимная задолженность и утрата кредитной способности – это все внешние симптомы болезни, которую я называю здесь **незавершенным капитализмом**.

Парадоксально, но **логичным шагом** в этой ситуации мог бы быть отказ от мышления в масштабе национальной экономики. Тогда то, что с перспективы этого масштаба является патологией, проявит свою функциональность в более широкой системе. Восстановленное таким образом чувство смысла понесенных расходов может принести плоды увеличением доверия, концентрацией рассеянной сегодня энергии и настоящим развитием в масштабе посткоммунистической экономики. Как я уже указывала, идеи односторонней «евроизации» негласно обращаются к именно такому образу мышления. С одной стороны, мы имеем здесь издержки, которые тяжело предугадать, – экономические, общественные и политические, с другой – надежды на большую однозначность и разумность. Искушение **редукции теперешней антиномичности ситуаций выбора** через **отказ от перспективы собственного масштаба и времени** (и мысленное погружение в большую систему) имеет признаки «гегелевского приема». Ожидается, что антитезис приведет к полезному синтезу, а принятие точки зрения большей системы увеличит рациональность действий и на низшем уровне, от которого мы мысленно освободились. Элементы подобного рассуждения можно найти в анализах немецкого социолога Ульриха Бека (Ulrich Beck)<sup>37</sup>. По его словам только отход от мышления в масштабе общества, замкнутого в пределах национального государства, позволит уменьшить неопределенность и постичь смысл, скрытый в глобальной логике. Однако подобные слова легко писать с перспективы богатого государства, в котором концентрируются большие прибыли от участия в процессе глобализации. В посткоммунистическом государстве, таком как Польша, **где ценой за половинное (формальное) вступление в глобальные структуры является неуправляемость государства и незавершенность капиталистической экономики, где сосредотачивается много расходов, в том числе перенесенных из развитых стран** (когда глобализация радикально изменяет расклад расходов и прибылей), труднее убеждать общество перестать мыслить в категориях своего масштаба и своего времени. Не подходят логичные аргументы, утверждающие, что после ошибочных решений начала трансформации, когда забыли о значении «временипространства» и ввели преждевременные институты рынка другого поколения, следует еще раз совершить то самое «подтягивание». **Ошибку лечить ошибкой**, дающей смысл всей операции, – это тяжелый рецепт для общества, в котором, как в Польше в течение последних десяти лет, число живущих на уровне социального минимума и ниже возросло с 20 до 56%<sup>38</sup>.



Обладатель Нобелевской премии Йозеф Штиглиц (Joseph Stiglitz), до недавнего времени главный экономист Всемирного банка, выступил недавно с принципиальной критикой политики международных финансовых институтов в отношении так называемых вступающих рынков<sup>39</sup>. Анализируя следствия глобализации, он не использовал категорию «асимметрии рациональности», ключевой в моем подходе. Напоминаю, что речь идет о векторе власти, который глобальная логика осуществляет над трансформирующимися экономиками, навязывая им рациональные процедуры и институты, но для отличной от их собственной стадии развития и для отличного от их собственного масштаба функционирования. Однако главные тезисы Йозефа Штиглица написаны в том же ключе. Поскольку, по его мнению, глобализация принесла наибольшие прибыли тем странам (главным образом в Юго-Восточной Азии), которые воспользовались процессом вступления в глобальные связи в своих целях. Другими словами – использовали предписания международных финансовых институтов выборочно, например воспротивились преждевременной либерализации финансовых рынков. Такая **либерализация** вместе с **помощью, оказываемой лишь при выполнении условий** (*conditionality requirements*), часто вмешивающаяся в мелкие решения на уровне «микро» (разные случаи приватизации, реструктуризация конкретных отраслей<sup>40</sup>), навязывание слишком ригористической финансовой и монетарной политики, а также способ выделения помощи в кризисных ситуациях (*bailouts*), обеспечивающий прежде всего интересы иностранных банков, которые выделяли кредиты (а не национальных фирм в пострадавших странах), – это главные, по мнению Штиглица, ошибки финансовых институтов. Они увеличили издержки трансформации и замедлили развитие вступающих рынков. Сложности увеличило еще и «лицемерие», как пишет Штиглиц, развитых стран, навязывающих входящим рынкам либеральные принципы, но блокирующих выход продуктов из этих территорий (текстиль, продовольствие) на собственные рынки, а также деформирующих (посредством субсидий) соотношение цен не в пользу экспортируемых из развивающихся стран продуктов<sup>41</sup>.

Сейчас и другие высокие чиновники международных финансовых институтов признают, что преждевременная либерализация финансовых рынков в трансформирующихся экономиках (в том числе и в посткоммунистических) была ошибкой. Они считают, однако, что не было другой достаточно убедительной альтернативной институциональной стратегии<sup>42</sup>. Мне кажется, что это неправда. Упадок старых систем регуляции (коммунистическая либо – как в Латинской Америке – бюрократично-авторитарный этатизм) располагал вступающие рынки «на краю хаоса». **Другими словами, они оказались в ситуации, которая – согласно теоретикам сложных систем – способствует креативной, инновационной самоорганизации**<sup>43</sup>. Ее элементы можно было увидеть как раз в Юго-Восточной Азии. С одной стороны, поэтому там традиционные, местные рынки были новаторским способом встроены в глобальное разделение труда, с другой – таким образом избегли риска преждевременной либерализации финансовых рынков. Особенно это проявилось

на примере Китая, где была использована инновационная идея построения в экономике трех колонн, задуманных так, чтобы взаимно компенсировать образующиеся в каждой из них противоречия. Сегментация экономики (с государственным сегментом, специальными зонами, основанными на иностранном капитале и сегментом отделенной групповой, общественной собственности, постепенно преобразующейся в частную собственность) основывалась на различиях в правилах игры в отдельных сегментах, ограниченном перемещении между ними и вырабатываемой сверху различной политике в отношении каждого сегмента, позволяющей ему экспансию или же свертывающей его. Например, проблемы государственного сектора в данной провинции (безработица) улаживаются, облегчая там экспансию частного сектора (коммунального). Это делало возможным сохранение ультрастабильности (динамического равновесия) во всей экономике. Однако было решено пойти на риск нарушения этого равновесия по двум причинам. Во-первых, как отмечалось, это было равновесие на слишком низком уровне. Во-вторых, сектор государственных компаний в некоторой степени паразитировал на динамике и адаптивных способностях двух остальных сегментов и сам рационализировался слишком медленно. Более того, субсидирование этого сектора конкурировало с выделением кредитов для значительно более эффективного сектора групповой (частной) собственности, а все еще сильная политизация центральных решений (и требования политической ультрастабильности) не предсказывала принятия радикальных, более ригористических действий по отношению к государственным компаниям. В этой ситуации вступление во Всемирную Торговую Организацию было *just on time*. Оно отменяло прежний механизм, обеспечивающий ультрастабильность, но одновременно снимало с политического центра ответственность за дальнейшие судьбы секторов государственной собственности. Был введен единый рыночный механизм, хотя все еще и без полной либерализации финансовых рынков. Риск, связанный со вступлением в ВТО, должен был также, как ожидалось, стать новым импульсом для креативной самоорганизации и рекомбинации прежних институтов. Здесь видно характерное для культур Юго-Восточной Азии, использующих категорию «времяпространства», трактование времени как движущей силы, которая будит в предмете дремлющие в нем возможности. Условием, однако, является сочетание подходящего момента с подходящим для этого момента и этого масштаба действием. Это понимание значения времени (подходящего времени, чтобы что-либо сделать) составляет, по-моему, ключевую черту азиатской политики институционализации.

В Центрально-Восточной Европе также появились институциональные инновации. Правда, они не были противопоставлены (как в странах Азии) асимметрии рациональности, внесенной глобальной логикой, а только попытались сократить ее негативные последствия. Так можно воспринимать стратегию «политического капитализма», а затем – «капитализма общественного сектора», которые еще больше деформировали и рынок, и государство.

Йозеф Штиглиц не доходит до такого сурового диагноза, каковой представлен в этом разделе. Однако описываемая здесь незавершенность посткоммунистического капитализма – с деиндустриализацией, прерыванием цикла капиталистической репродукции, формальной интеграцией в ОЭСР и ЕС, усложняющей реальную интеграцию (в смысле получения достойного места в международном разделении труда), в конце концов, со структурными барьерами развития – является в значительной степени следствием критикуемых Штиглицем действий. Речь идет о действиях, реализующих либо интересы кочующего, международного капитала, либо догматично претворяющих в жизнь принципы антиисторически понятого либерализма.

Возврат посткоммунистических стран на путь развития после введения институтов, соответствующих глобальной асимметрии рациональности и израсходованию прямых резервов, невозможен без серьезной инвестиционной поддержки извне. **Ибо уже не имеется внутренних источников аккумуляции капитала.** Вероятно, это будет происходить позже, в рамках экономических процессов, руководствующихся рациональностью более широкого масштаба, а не масштаба посткоммунистических стран. Абсорбция большей системой, осуществленная хотя бы и в воображении, подчеркивает разумность абсурдных шагов, когда рассматривается в масштабе определенной экономики. Восстановление смысла – это также шанс на восстановление доверия. А без него рынок не в состоянии функционировать.

**Логичное *auto da fe*** – как конечная стадия трансформации от коммунизма к растворению в глобальной экономике (с анклавами, руководствующимися исключительно рациональностью самосохранения) – произойдет медленно и подспудно. Тем лучше: исчезнуть как целое, организованное рационально с перспективы собственного масштаба, и даже не заметить этого – оптимально с точки зрения сохранения нации. Это будет, однако, «сохранение» уже не в культуре, как в XIX веке (потому что она растворилась в глобальной массовой культуре), а в незнании неадекватно интерпретированных, без понимания их настоящей логики, форм и особенно – описанного здесь феномена асимметрии рациональности!



После двенадцати лет существования и интенсивных институциональных преобразований посткоммунизм перестал быть системой в смысле организации, распознающей собственную идентичность и функционирующей для собственной расширенной репродукции. Одержала победу рациональность другого масштаба и другой стадии развития.

Этому содействовала ускоренная деиндустриализация, связанная с несколькими факторами. Во-первых, это административное ограничение объема денежных средств в обращении во время так называемой стабилизационной политики в начале 1990-х гг., что препятствовало задействованию ресурсов посткоммунистиче-

ских государств. Во-вторых, принятие концепции реструктуризации промышленности, основанной, опять же, на административных лимитах, а не на инновационной смене характера целых отраслей, как это имело место в той же Японии. Далее, продажа предприятий их заграничным конкурентам, которые предпочитали вести дело с собственными партнерами. В Польше к числу факторов нужно добавить еще и курсовую политику, искусственно усиливающую национальную валюту. Все это привело к практически 70-процентной доле снабженческого импорта во всем импорте и постоянному дефициту торговых средств.

Переориентация посткоммунистических рынков и их человеческих и материальных ресурсов на выполнение «работы» для ЕС и глобальной экономики была также связана с преждевременной либерализацией финансовых рынков и продажей банков иностранному капиталу. Это сделало посткоммунистические экономики (особенно те из них, которые на Западе называют «лидерами трансформации») территорией вложения прибылей от уже инвестированного в развитых странах капитала и облегчило использование трудовых ресурсов. Ценой, которую заплатили посткоммунистические страны, стал некомплектный капитализм с прерванным циклом экономической репродукции, с автономизацией финансовых операций и их отрывом от сферы производства и инвестиций; со слабеющими – после исчерпания прямых резервов – механизмами аккумуляции национального капитала; со значительно сокращенной временной перспективой, противоречащей сущности предпринимательства. Рынки в посткоммунизме очень отдаленно напоминают идеальную познавательную ситуацию Хайека. **Поэтому невидимая рука глобализации сыграла здесь на пару с невидимой рукой рынка.** Они подчинились глобальной асимметрии рациональности, нарушающей эволюционную последовательность исторических, институциональных форм рынка, характерных для развития западного капитализма. Посткоммунистические страны, подвергшиеся «структурному насилию», приняли решения, которые не соответствовали целям их стадии развития (аккумуляции национального капитала). Это привело к поверхностной (лишь увеличению институциональной компатибельности), формальной интеграции посткоммунистических стран с развитыми странами. Застопорилась креативная самоорганизация и затруднилась реальная интеграция, соответствующая потенциалу посткоммунистических стран в начале трансформации.

Конечно же, страны, которые не проводили реформ, погрязли в хаосе, и их положение более плачевно. Однако это не меняет того факта, что в свою очередь **успешные реформы**, оправдавшие ожидания международных организаций (в том числе и ЕС), в результате **превратили внутреннюю структуру стран, которые проводили данные реформы, в структуру, работающую на пользу более широкой системы и с иной функцией цели, нежели их собственная. Поэтому формальная интеграция оказалась синонимом подверженности асимметрии рациональности, представляющей собой вектор власти глобальной логики над полуперифериями.** В ходе трансформации эти страны

забыли об **онтологическом смысле времени и историческом характере рынка**, отдельные «круги» которого требуют разных и свойственных только им институциональных конфигураций. Формальная интеграция привела к смешению рыночных институтов разных уровней развития. Следствием стала утрата коммунизмом ценного свойства системности.

Логичным последним аккордом будет, как кажется, **полное самоуничтожение. В объективном смысле** как системы труда на благо собственного масштаба (лейбницеvской монады) и в смысле идентичности. Ведь только **забывание о себе** (и прекращение соотнесения оценки трансформации со стандартами рациональности собственного масштаба и собственного исторического времени – например с императивом аккумуляции национального капитала) позволит постичь более широкий смысл этой трансформации.

В посткоммунизме, подобно тому как это было в коммунизме, **ключом к пониманию действительности является воссоздание ее онтологического статуса (способа существования). В коммунизме** фундаментом системы было **подведение действительности под ранее избранное понятие**. Поэтому идеологически мотивированная коллективизация собственности фактически свела экономические интересы к одной лишь экономической репродукции и вынудила партию-государство к принятию на себя роли «замены общества». Этот статус данный гибрид узурпировал себе еще с начала революции, ссылаясь на миф авангарда. Но все, чего он добился, – всего лишь иллюзия контроля. Поэтому, несмотря на впечатляющую некоторых способность приведения идеи в жизнь, данный артефакт вобрал в себя лишь сферу регулирования, не установив власть над материальными потоками. Контролировались лишь собственные образования. Единственной реальной сферой, подверженной тотальной власти, оказались произвольные решения о вопросах жизни или смерти. Таким образом, коммунизм оказался способным к реализации лишь собственных принципов (если **привел действительность в состояние, соответствующее избранной на стартовой точке понятийной системе, которая сделала партию-государство единственным дееспособным субъектом в историсофическом смысле**), хотя сам он оказался лишь **видимостью**, поскольку не обладал мыслительными категориями и понятиями, позволяющими понять и контролировать реальное функционирование созданных им образований. **Принципы внедрялись в жизнь, но эффект получался иной, нежели предполагалось, и его нельзя было понять на языке внедрявшихся принципов**. Этот **двойной способ** существования коммунизма, который был институциональным артефактом, осуществляющим принятые принципы и положения, и одновременно **игнорировал язык, вытекающий из данных принципов**, является, по-моему, ключом к пониманию его обреченности на поражение. Эта ситуация напоминает уязвимость конструкции логического парадокса. Искусственность реальности, возникшей после воплощения в жизнь идеологических принципов, не проникла в сферы материально-технических потоков. Поэтому

в процессе ликвидации рынка был ликвидирован механизм, универсализирующий и объективизирующий понятийные категории, отражающие данные потоки. Те же самые действия, которые создавали впечатление тотального контроля, привели к невозможности контролирования собственного функционирования.

Неуправляемость, вызванная невозможностью распознавания, чем она является, а также отсутствие контроля над материальными потоками сделали коммунизм, как оказалось, легкой жертвой глобализации, с посткоммунизмом как промежуточной стадией.

Онтологическое своеобразие коммунизма, в котором была ликвидирована категория «капитала» и рыночные механизмы, оказалось здесь слабым подспорьем, так как глобализация содействовала **политическому воссозданию данных механизмов**. Сперва она облегчила возникновение гибридной структуры (политический капитализм, сочетающийся с подключением части коммунистической номенклатуры к международным финансовым операциям с 1970-х гг.), а впоследствии содействовала ее легализации и появлению интересов, связанных с дальнейшей трансформацией, уже подчиненной глобальной асимметрии рациональности.

Посткоммунизм, подвергшись асимметрии рациональности, разрушил себя гораздо быстрее, чем это сделал коммунизм, поскольку он преобразовал свою внутреннюю организацию в институциональную структуру, работающую на благо более широкой системы (рынка), с иной (с точки зрения на другие стадии развития) функцией цели. Посткоммунистические экономики стали ресурсом в соперничестве между развитыми странами.

Асимметрия рациональности как вектор, определяющий направление институциональной трансформации, коснулась в основном тех посткоммунистических стран, которые были лучшими учениками в процессе строительства институциональной компатибельности. Уничтожение актом односторонней «европеизации» возможности мысленного введения интереса собственного масштаба и собственного исторического времени будет продолжением этого пути. Как видно, здесь идет **движение в обратном направлении**, чем при коммунизме. **Там избранные в начале понятия преобразовались в реальность, но оказались неспособными к контролю над ней.** Здесь, в посткоммунизме, **реальное действие (политика институционализации**, подчиненная асимметрии рациональности, а не интересам собственного масштаба и собственного времени) принудило к изменению категорий мышления о себе и отказу от трактовки себя как единой плоскости соотношения. Тем самым произошел переход от анализа в категориях структуры (в которой ось конфликта определяло столкновение различных рациональностей и исторических времен посткоммунизма, с одной, и развитого капитализма – с другой стороны) к стратификационному подходу. Сравнение статусов, выраженное языком более развитой стороны (евро), скрывает факт работы посткоммунизма в пользу рынка более широкого масштаба (а следовательно, в пользу именно той стороны). Данный эффект не выявился так сильно при вступлении в зону евро за-



падных стран. Ведь их экономические структуры и уровень развития были сближены. Вместе с тем существует мнение, что трудность принятия в расчет идентичности собственного масштаба является только вопросом условности расчета. Это позволяет скрыть факт, что данной идентичности в институциональном смысле уже не существует, так как **нет в рамках посткоммунистической экономики организации, работающей в пользу ее масштаба, а посткоммунистическое государство не обладает инструментами и необходимыми мыслительными категориями, чтобы остановить описанный процесс утери собственной системности. Также не хватает политической воли, чтобы это сделать. Издержки некооперации** (например, невступления в ЕС) кажутся еще большими по сравнению с издержками подверженности асимметрии рациональности. И здесь, наконец, появляется особый парадокс: сама асимметрия рациональности (и следующие из нее деиндустриализация, зависимость от импорта и недостаток способности к генерированию национального капитала) значительно увеличила издержки некооперации. А сегодня они еще больше зависят от данной асимметрии, которая представляет собой вектор глобальной логики.

*Перевод с польского Анастасии Гвоздевой*

### **Примечания**

- <sup>1</sup> О посредничестве перцепции действительности через поиск равнозначной корреспонденции с мифом см.: Eliade M. *Le Sacré et le Profane* (1956; wyd. Polskie: Sacrum i profanum / tłum. R. Reszke. Warszawa, 1996).
- <sup>2</sup> О концепции «единства» в философии и культуре России см.: Акулинин В. Н. Философия единства от В. С. Соловьева к П. А. Флоренскому. Новосибирск, 1990.
- <sup>3</sup> Об этом писал Ф. Феер: “Between Relativism and Fundamentalism: Hermeneutics as Europe’s Mainstream Political and Moral Tradition” в: Deutsch E. (red.). *Culture and Modernity*. Honolulu, 1991.
- <sup>4</sup> Collins R. *Market Dynamics as the Engine of Historical Change* // *Sociological Theory*. 1990 (Fall). № 2. P. 8.
- <sup>5</sup> Kant I. *Krytyka praktycznego rozumu* / tłum. J. Gałeccki. Warszawa, 1972 (Biblioteka Kłasyków Filozofii).
- <sup>6</sup> Hardt N., Negri A. *Empire*. Cambridge, Mass., 2000.
- <sup>7</sup> Ibid. P. 37.
- <sup>8</sup> Weber M. *Wirtschaft und Gesellschaft*, цит. произвед.
- <sup>9</sup> Kauffman S. *Investigations*. Oxford, 2000.
- <sup>10</sup> См.: Nuti M. *Costs and Benefits of «Euroization» in Central and Eastern Europe* // *Transition (The World Bank Newsletter)*. 2002 (March-April).
- <sup>11</sup> Б. Шульц доказала, что монетарный союз между ГДР и ФРГ с июля 1990 г. повлек за собой не только рост расходов на проживание в Восточной Германии (который получился после расчетов 3800 DM на душу населения в год), но также спад экспорта из ГДР (на 75%) и закрепление диспропорции развития обеих частей Германии. Уже в 1994 г. с западных земель на восток потекли товары ценностью 255 млрд DM, когда в обратном направлении – только 45 млрд DM. Это углубило прогрессирующую

- щую деиндустриализацию бывшей ГДР, где в нынешнее время создается только 6% промышленной продукции объединенной Германии, а треть жителей в индустриальную эпоху не имеет работы. См.: Schultz B. Germany, the USA and Future Intercore Conflict // Bornschiefer V. Ch. Chase-Dunn. The Future of Global Conflict. London, 1999.
- <sup>12</sup> На основе: Polska ekonomia 2001. Raport roczny. Warszawa, 2001.
- <sup>13</sup> См.: Polska ekonomia 2001. Raport roczny, цит. произвед.
- <sup>14</sup> См. статью L. Whitehead „The Alternatives to Liberal Democracy: A Latin American Perspective” (Political Studies. 1992, XL, спец. изд., с. 146–159).
- <sup>15</sup> Ср. дискуссию между Мао Цзе-Дуном и Лю Шао-Ци во время работы над первой конституцией КНР. Когда второй отметил, что формула неурегулированной «управляющей роли коммунистической партии» не сходится с идеей «сильного государства», первый указал – как решение этой дилеммы – на армию, имеющую «естественную» (в условиях китайской коммунистической революции) харизму, которая действует и без правового урегулирования. Условием эффективности этой формулы является, однако, военная угроза. Специалисты видят в этом одну из предпосылок вступления КНР в корейскую войну, несмотря на сопротивление самих военных (ср.: Staniszki J. Post-communism: The Emerging Enigma. Цит. произв., разд. 6).
- <sup>16</sup> Его основой были информационные связи между звеньями государственной администрации, параллельные служебным связям и координированные внеконституционным ФАПСИ, созданным бывшим КГБ и дающим работу на данный момент около 100 тыс. человек. Банки данных, монополия на информацию в масштабе федерации, коммерческое администрирование доступом к Интернету, в конце концов, предоставленная еще Ельциным (1995) привилегия на программное обеспечение институтов центра, в том числе центрального банка – дают этому учреждению огромную власть над ресурсом, ценным для всех участников системы: информацией. Сохранение единого контроля над этим ресурсом, основным также в экономической деятельности (обеспечение безопасности, продажа через Интернет и пр.), позволяет предотвратить центробежные тенденции и координировать определенные процессы, даже когда в номинальных структурах государства царит полный хаос (Grajewski A. Tarcza i Miecz 1991-1998. Warszawa, 1998, rozdz. VII).
- <sup>17</sup> См.: Staniszki J. Post-communism: The Emerging Enigma. Цит. произв. Раздел 4.
- <sup>18</sup> Ср.: Ianni O. „Kryzys państwa oligarchicznego w Ameryce Łacińskiej” // Stemplowski R. (red.). Ameryka Łacińska. Dyskusja o rozwoju. Warszawa, 1987.
- <sup>19</sup> Там же. С. 164–165.
- <sup>20</sup> См. одобрение в 1996 г. консолидации банков и создания финансовых групп и более раннее мнение Сейма (1992) об условиях приватизации банков.
- <sup>21</sup> Об институциональном измерении этого конфликта я писала в: „Polityka instytucjonalizacji w perspektywie historycznej” // Studia Polityczne. 1996. № 4, 5.
- <sup>22</sup> Многие аналитики (среди них П. Кругманн из Института технологии Массачусетса в статьях в интернет-газете Slade) подчеркивают, что о подверженности глобальным потрясениям говорит качество релейции между государством и экономикой (в том числе институциональные возможности создания буфера, например, контролем государства над курсовой и валютной политикой).
- <sup>23</sup> Термин из сферы современной теории управления, относящийся к fuzzy logic и контролю посредством мониторинга и корректирования целой системы переменных (трактованное как black box) в определенном, допустимом промежутке, а не концентрация на линейной динамике отдельных переменных.

- <sup>24</sup> Кооперационный импорт фирм с иностранным капиталом составляет около 70% от всего импорта, когда экспорт – это около 25% от всего экспорта в 1998 г. Эти фирмы, следовательно, способствуют увеличению дефицита во внешней торговле. Согласно тезису Питера Друкера, во время глобализации инвестиции иностранного капитала служат удержанию мест работы в родной стране и получению нового рынка: *The Global Economy and the Nation State // Foreign Affairs*. 1997 (September-October). P. 159–172.
- <sup>25</sup> Например, ошибочное предположение при реструктуризации угольной шахты, что частный сектор возьмет на работу уволенных горняков, сочетается с предположением существования отношений субституции, а не дополнения.
- <sup>26</sup> Ср.: Kawade Y. *Molecular Biosemiotics: Molecules Carry out Semiosis in Living Systems // Semiotica*. 1996. № 3/4. P. 195–215.
- <sup>27</sup> См.: Williamson J. *The Washington Consensus Revisited // L. Emmerij (red.). Economic and Social Development into the XXI Century*. Inter-American Development Bank. Washington D.C., 1997.
- <sup>28</sup> Stiglitz J. *Globalization and its Discontents*. New York, 2002.
- <sup>29</sup> Summers L. *The Next Decade in Central and Eastern Europe // Ch. Clague, Rausser G.C. (red.). The Emergence of Market Economies in Eastern Europe*. Cambridge Mass.-Oxford UK, 1992. P. 25–34.
- <sup>30</sup> Kołodko G. *Globalizacja a perspektywy rozwoju krajów posocjalistycznych*. Toruń, 2001 (табл. № 3, с. 59).
- <sup>31</sup> См.: *Podsumowanie gospodarczego aspektu ostatnich 4 lat w Polsce // Polska ekonomia 2001*. Цит. произв. С. 6–10.
- <sup>32</sup> Jankowiak J. (главный экономист Банка BRE S.A.) *Priorityt: reforma finansów publicznych // Polska ekonomia*. 2001. Цит. произв. С. 37–38.
- <sup>33</sup> После продажи Польской Телекоммуникации S.A. французскому инвестору польский партнер-поставщик кабеля (Kable Ożarów) был вытеснен французским поставщиком товара аналогичного качества, что привело к банкротству польского предприятия. Такого типа проникновения вместе с банкротствами прежних партнеров касались около 30% приватизации 1990-2001 гг.
- <sup>34</sup> Примером служит Щетинская Верфь. Ее собственники и управление преобразовали компанию в холдинг, что увеличило расходы, но позволило взять кредит на огромные суммы под залог имущества Верфи и выделить часть этой суммы на созданную одним из дочерних предприятий фирму, импортирующую топливо. На ситуацию наложились действия банков с долей иностранного капитала, заинтересованных в получении верфи, которые отказали в кредите на завершение строительства уже заказанных кораблей. Все это привело к банкротству Щетинской Верфи.
- <sup>35</sup> См.: Zdyb M. *Doświadczenia i perspektywy // Polska ekonomia*. 2001. Цит. произв. С. 34–37.
- <sup>36</sup> Судьба промышленности в Польше является здесь хорошим примером. Действия банков, отказывающих в кредитовании – несмотря на заказы, – отражают интерес в перехвате сегмента международного рынка строительства кораблей конкурентами из материнских стран этих банков. Следствием отказа поэтому в лучшем случае является свертывание масштаба деятельности верфи, в худшем – ее банкротство.
- <sup>37</sup> Beck U. *Spółeczeństwo ryzyka / tłum. S. Cieśla*. Warszawa, 2002.
- <sup>38</sup> Данные из исследований семейных бюджетов. Главное Управление Статистики, 1991-2001 гг.

- <sup>39</sup> Stiglitz-Rogoff Debate on Globalization and Its Discontents // Transition, The World Bank Newsletter. 2001. Т. 13. № 3. Р. 10–11.
- <sup>40</sup> Так было в Польше, когда Всемирный банк предупредил об изъятии фондов на реструктуризацию банков (около 1 млрд USD), если бы была сделана попытка консолидирования банков перед приватизацией. Польский сейм двукратно (1991 и 1994) одобрял такую консолидацию, однако предупреждение Всемирного банка перевесило. В итоге в 2002 г. около 80% вкладов в банках на территории Польши имел иностранный капитал.
- <sup>41</sup> „Stiglitz-Rogoff Debate...”, цит. произв.
- <sup>42</sup> Ср. высказывания Кеннета Рогоффа (Kenneth Rogoff) и Томаса С. Доусона (Thomas C. Dawson). Последний в своем выступлении в Клубе МІТ в Вашингтоне (июль 2002) отметил: Let me acknowledge the validity of some of Stiglitz’s criticism of the IMF. One criticism is that the US Treasury and the IMF showed excessive zeal in encouraging countries to open up to short-term foreign capital in the mid-1990s. The critics say that the entry, and often the subsequent hasty exodus, of foreign capital into economies that are too small or whose financial sectors are ill-equipped to regulate and absorb the capital can be devastating (выделено мной – Я. С.); „Stiglitz-Rogoff Debate...”, цит. произв., с. 12.
- <sup>43</sup> См.: Kauffman S. Investigations. Oxford, 2000.

## БЕЛОРУССКАЯ СИСТЕМА: МОРФОЛОГИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ, ГЕНЕАЛОГИЯ

*В королевстве Арльском, епископстве Валанс, есть высокая башня, которую называют башнею епископа Валантена, башня эта ночью не принимает стражников. Если какого-нибудь стражника назначат стеречь башню ночью, утром его обязательно найдут в долине, что у подножья башни. В долину стражники переносятся без повреждений, никто из них не боится упасть, не боится, что его отнесут неизвестно куда, не чувствует, что его несут, и не чувствует удара о землю. Гервасий Тильберийский. Чудеса Дофине. XIII в.*

### Вместо введения

Когда я был студентом, для меня, как и для многих моих коллег, методологически неразрешимым был вопрос, почему Беларусь непопулярна как объект исследования, а режим, несмотря на жесткую критику оппонентов, не испытывает потребности в собственной концептуализации. По какой-то непонятной причине Беларусь (белорусская ситуация) практически не становилась объектом рефлексии в рамках академического сообщества. Впрочем, воля к саморефлексии, кажется, никогда не была отличительной чертой белорусского общества, а интерес к Беларуси почти всегда трактовался как проявление «националистических» настроений. Это положение начало кардинально меняться лишь на переломе тысячелетий, и теперь мы действительно можем говорить о наступлении новой интеллектуальной и политической ситуации. Количество отечественных рефлекс-

сий и аналитик значительно возросло. Увеличилось и число зарубежных исследований. Затем началось стимулирование исследования Беларуси – и тут же появились соответствующие диссертации, как будто Беларусь стала независимой только в 2000 г. Но, кажется, лишь совсем недавно возникло ощущение, что Беларусь уже имеет современную историю и генеалогию, а значит, она нечто большее, нежели просто бытовая реальность и административная территория. Выяснение причин и предпосылок названных процессов требует отдельного разговора, поэтому мы здесь лишь обозначим этот важный факт. Между прочим, именно в это время начинается концептуализация и самописание режима, которые с 2003 г. выливаются в попытку создания «идеологии белорусского государства».

Описание Беларуси извне обычно все еще сводится к достаточно странным и весьма наивным схемам. Для западной «аналитики» Беларусь – практически всегда «черная дыра», с добавлением эпитетов «неразвитая», «аграрная» и т. д. Не так давно, читая рекомендации для иностранцев, которые должны были посетить Беларусь в рамках одного околополитического проекта, встретил фразу: «Беларусь – малоцивилизованная страна; интернет и мобильная связь появились здесь только два года назад». Такие представления типичны, к сожалению, не только для около-, но и для реальных политиков (как не вспомнить Л. Вульфа с его «Inventing Eastern Europe»<sup>1</sup>). Да и для своих ближайших соседей мы или «метастазы сталинизма», или «потерянный советский рай», а украинец М. Рябчук связал белорусский режим с курьезным советско-креольским национализмом, хотя белорусский советский национализм не курьезнее украинского «малороссийства». Одним словом, описание Беларуси извне представляется весьма странным, но еще более странен был низкий – до последнего времени – уровень самоописания, которое обычно сводилось к интерпретации Беларуси как аномалии или оправданию (нормализации) ее «специфического» развития.

Самописание режима 2002–2003 гг. (наиболее явно отразившееся в корпусе текстов «идеологии белорусского государства» – учебниках, программах курса для вузов, статьях) – во многом представляет собой ответ на оценки Беларуси извне. Зависимость корпуса самоописания от внешних «критических» дискурсов весьма значительна. Это, по моему мнению, является свидетельством тому, что самописание – процедура до определенной степени вынужденная. «Белорусская модель» в поиске самоцентрированности строит свою идеологию на оппозициях (мы – они), что приводит ее к перманентному «пограничному» состоянию.

Описание режима оппозиционной политологией в 2001–2003 гг. также испытало изменения. Увеличилось количество книг, посвященных режиму и А. Лукашенко персонально, из которых упомянем политтехнологическую «Нашествие» и «Случайный президент». Повышается внимание к анализу властных структур, постепенно теряет свое значение «революционная парадигма», застрявшая на анализе феномена современного режима как а priori патологического и недолговечного,



что сочеталось с табуированием ряда тем (типа финансирования оппонентов власти) и некритическим отношением к собственной позиции.

Сегодня мы можем констатировать наступление новой интеллектуальной ситуации – постепенный переход от «борьбы» к «критике» («апологетике»), и это симптоматично, особенно с учетом того, что сама политическая ситуация изменилась незначительно. Наблюдается стремление к нормализации исследовательских и идеологических дискурсов, а это значит, что социальные изменения, вызванные существованием нынешнего режима, носят достаточно глубокий культурный характер.

### ***1. Лукашенко и революция***

*Сознание* 1994 г. – это сознание кризиса, ощущение которого проникает во все сферы общества. Даже в послании Конституционного суда за 1994 г. документе, который по определению не должен содержать политических, а тем более экономических оценок, чувствуется дух упадка:

*Республика Беларусь... находится сегодня на одном из самых трудных этапов своего развития. Несмотря на меры, принимаемые властью для выхода из кризиса, экономическая ситуация остается тяжелой. Падает уровень жизни большинства населения. Высокими темпами растет преступность...<sup>2</sup>*

Из этого отрывка видно общее настроение, которое системно охватывало газеты, телевидение, политические партии и даже государственные органы, отражая своеобразный «Zeitgeist».

Сейчас стало даже модно ностальгически вспоминать начало 1990-х как «золотое время» экономической свободы, национального «возрождения» и демократии, но на самом деле это прежде всего было время кризиса, которое требовало революции, решительных и радикальных преобразований. Революция – в первую очередь политическая акция (и только потом экономическая и культурная), поэтому свой «революционный проект» имели практически все политические силы того времени. Каждый из таких проектов – «национальное возрождение», «восстановление СССР», «радикальные либеральные реформы» – главным своим врагом видел «существующую реальность», проникнутую кризисом, социальными болезнями, инфляцией и безработицей. Все это связывалось с «бюрократией», «номенклатурой», «государственной машиной» в целом, персонифицировавшей коррумпированность и несправедливость.

Главным резервом революции являются народные массы. Апелляция к «народу/нации» и искренняя уверенность в том, что массы поддержат перемены, была характерна в равной степени как для БНФ и коммунистов, так и для альтернативных политических проектов, одним из которых и стал А. Лукашенко.

*Бюрократия.* Логика революции требует особого отношения к «бюрократии». Государственный аппарат – средство эксплуатации, пространство коррупции и неэффективности – достоин только ненависти. Символическая дистанция между «номенклатурой» и А. Лукашенко подчеркивается до сих пор, последний пытается занять позицию над властью, что ему в значительной степени удастся как в информационном поле через СМИ<sup>3</sup>, так и юридически – в соответствии с изменениями в Конституции 1996 г. президент формально перестал возглавлять исполнительную власть и приобрел статус «главы государства».

После победы аппарат государства становится единственным средством удержания ситуации, но символическая дистанция между первым лицом и «вертикалью» сохраняется, граница между «я» и «они» не исчезает, что позволяет президенту в значительной степени снимать с себя ответственность за действия правительства и других исполнителей «поручений».

*Враги.* Революционное настроение новой власти 1994–1996 гг. было направлено также против проекта национального «возрождения» и ориентировалось на политическое и культурное «восстановление» советского прошлого. Проект «возрождения» искоренялся настолько жестко, насколько это было возможно (он был практически полностью вытеснен из политического поля и в значительной степени – из культурного). Этот проект воспринимался как главный источник нестабильности 1996 г. и позднейшего времени, к тому же подавление «уличного противостояния» способствовало накоплению политического капитала для экспансии в Россию. Только начиная где-то с 2000 г. на первое место «идейного» и политического врага выходит проект «либеральных реформ»<sup>4</sup>.

*Экспансия.* «Настает такой момент, когда территория, которую заняли партизанские отряды, становится тесной, они проникают в районы, где сталкиваются с крупными силами противника. Тогда отряды объединяются, создавая монолитный фронт, и переходят к позиционной войне, которую обычно ведет регулярная армия» (*Че Гевара*). «Монолитный фронт» для нового режима, стремившегося к экспансии, векторно был связан с востоком. «Революционный пафос» захватывает идеологическую инфраструктуру режима, где начинает доминировать панславизм, различные варианты панрусизма, неославянофильства (с элементами коммунистической риторики) и т. д. Администрация президента опекает различные русские националистические группы (в частности, радикальный СС «Белая Русь»), а Русское национальное единство (РНЕ) чуть ли не занимается персональной охраной президента (или даже занимается).

Во второй половине 1990-х радикальные российские коммунисты/националисты (как, например, Анпилов) были готовы прямо-таки «умереть как солдаты» за режим Лукашенко, воплощавший возможность сломать созданную «западными империалистами» всемирную логику развития событий. Революционный проект А. Лукашенко рассматривался именно как символ такого слома, а сам он – как персона, проявившая волю к тому, чтобы не играть по привычным политическим правилам,

что раньше могли себе позволить только лидеры непризнанных государств вроде Приднестровья.

## II. После революции

Революционное настроение не может сохраняться долго, если не подкрепляется реальными политическими достижениями – слом происходит где-то в конце 1990-х. Стратегия экспансии, руководимой собственной политической миссией (которая имела только частичный успех в подписании ряда договоров, меморандумов и протоколов с Россией), сменяется стратегией самосохранения и адаптации к неблагоприятному и враждебному окружению. Имперское сознание, пронизанное политическим «нонконформизмом», предчувствием апокалипсиса и падением глобального (или, по крайней мере, регионального) порядка, вытесняется тактикой контекстуализации и локализации режима. *Поиск* своего места сменяется его *огораживанием*. На смену дискурсу экспансии приходит дискурс контекстуализации, а риторике «революции» – фразеология «традиции». Внутренний враг уступает место внешнему, и даже оппозиция перестает восприниматься как группа «деструктивных элементов» и националистов и превращается в «кучку марионеток, руководимых Западом», что далеко не одно и то же.

Новая ситуация способствовала системной колонизации режимом политического, информационного, социального и даже культурного пространства, которое все больше начинает соответствовать структурам белорусской власти. Всю первую половину 1990-х политическая и культурная «партизанка» могла еще полностью сохранять свою независимость и социальную значимость. Бесчисленное количество интеллектуальных, литературных, политических и общественных инициатив возникало, жило и умирало в параллельном «официальном» «независимом белорусском обществе», «оппозиции» и т. д. Достаточно вспомнить существование после референдума 1996 г. параллельных законодательных и исполнительных органов: Верховный Совет XIII созыва, Национальный исполнительный комитет, различные журналы, газеты, неформальные сообщества.

Постепенно, однако, «независимое пространство» колонизируется социальными практиками нового режима и сужается до минимума. После 2001 г. «институциализация» (включение в существующие структуры) вообще становится стратегической целью практически всех политических и культурных проектов, что значило не только возобновление попыток сотрудничества с государственными институтами, но и возвращение в них (если это было возможным) ради получения большего пространства для деятельности, в том числе для карьерного роста.

«Независимое белорусское общество» растворилось, «оппозиционные» политики, философы, литераторы, юристы и экономисты пожелали быть просто квалифицированными политологами, философами, литераторами, юристами и эконо-

мистами, без жесткой политической ориентации. Вновь стало важно иметь право выступать от имени «структур» и подчиняться правилам корпоративной этики.

Соответственно изменились и средства политической борьбы – массовые акции протеста («сопротивления») 1996–1999 гг. уступили место системной практике участия в избирательных кампаниях<sup>5</sup>. Наступило то, что можно назвать «смертью идей». Идеи окончательно проиграли место технике/технологиям. Политические субъекты все больше внимания уделяют технологиям, а обсуждение идей, даже в «идейных» партиях, становится делом вторичным. Теперь сама победа над режимом воспринимается исключительно как технологический/технократический переворот при активном участии внешнеполитического фактора. Не значит ли это, что *идея* современного белорусского режима (как совокупность социальных практик) в основном была принята участниками политической игры?

Более того, во второй половине 1990-х радикальные национальные организации демонстрировали свою искреннюю ненависть к представителям власти и особенно правоохранительных органов (символизировавших «врага/оккупанта»), то сегодня служба в армии или МВД для членов таких организаций считается полезной.

Система власти, созданная в 1994–1997 гг., смогла интегрировать значительную часть «нелояльного» политического и культурного пространства. Рейтинг *президента* может быть любым, но сохраняется большая масса людей, которые поддерживают *режим* как совокупность понятных и привычных социальных практик.

### III. «Восточноевропейская альтернатива» и «global world»

Еще в 1960-е гг. Европа была конгломератом разнородных политических проектов. Испания находилась под руководством Франко, не принимавшего до конца правила европейской политической игры. Португалия создавала в границах своей империи многорасовую «лузо-тропиканскую цивилизацию» и социально-политическую систему на принципах корпоративизма. Восточная и Центральная Европа объединились в единый «советский блок», «второй мир», противостоявший «первому миру» как системе. Свой особый путь определенное время пытались провозгласить Греция и Югославия, наконец, коммунистическая Албания проводила политику изоляции от Европы, уделяя большое внимание сотрудничеству с Китаем. Франция, Италия, Западная Германия и Великобритания только начинали формировать интеграционный центр будущего ЕС.

Европейское пространство (точнее, пространство того, что теперь принято называть «Большой Европой») было местом развития достаточного количества разных – непохожих – политических проектов.

Однако с начала 1970-х эти автономные политические проекты постепенно уступают место «центральному» проекту европейской интеграции, уже через 20 лет (в конце 1980-х – начале 1990-х) этот проект одерживает тотальную победу. По-

литический ландшафт делается как никогда однообразным. Все «альтернативные» режимы испытали коллапс.

С падением «системы социализма» в 1989–1991 гг. Европа стала единым политическим проектом, который захватил мысли большинства населения и элит, значительно расширив свое влияние на Восток и став политической и культурной целью новой восточноевропейской политики, объектом желаний и ожиданий.

Возникновение монолитного европейского ландшафта поставило все возможные «альтернативы» (как правые, так и левые) в позицию анклавов, оппозиционных (иногда маргинальных) политических партий, интеллектуальных групп, институций и, иногда, стран. Эти варианты сопротивления имели совершенно разную природу и основу, но использовали подобную стратегию выработки собственных правил игры через нарушение принципов политкорректности. Такие анклавы, имея советскую или национальную основу, выступали и выступают как оппозиция политическому либеральному проекту глобализации, хотя обычно и не ставят себя вне европейского контекста.

Поэтому триумф «Большой Европы» оказался неполным, поскольку остались анклавы нестабильности, наиболее устойчивыми из которых были Сербия и Беларусь (хотя сюда еще можно добавить Хорватию, Боснию и Приднестровье). Чувство солидарности с Сербией (до 2000 г.) белорусский режим имел не столько через ее принадлежность к славянскому миру, сколько благодаря «нестандартному» режиму. В 2000 г. режим С. Милошевича в Сербии пал и Беларусь осталась, похоже, единственной страной в Европе, которая не только не отказалась от своей прежней политической стратегии, но и усилила «альтернативные» элементы в идеологии, «построенной не на зарубежных однотипных проектах, а с опорой на исторический опыт нашего народа»<sup>6</sup>.

Беларусь позволяет себе нарушать многие правила экономики и политики, которые были признаны аксиомами для этого региона, и своим собственным опытом утверждает один из лозунгов антиглобалистов – «мир может быть другим» (что, правда, не означает лучшим). В этом белорусский режим, если бы имел достаточно хороший PR и не позиционировал себя как не совсем европейский, мог бы стать притягательным символом для европейской политической альтернативы – как правой, так и левой<sup>7</sup>. Белорусские власти могут позволить себе говорить то, о чем другие страны региона молчат, – открыто выступать против идеи «золотого миллиарда» и однополярного мира. Говорить об американизации как об угрозе для всех стран и, более того, всерьез обсуждать тему «либерального террора», а США или Германию называть «современными империями». Недаром некоторые официальные лица Европы заявили о необходимости сотрудничества с Беларусью, после того как белорусские власти выступили с радикальным осуждением операции США в Ираке. Другие страны Европы не могли себе такого позволить<sup>8</sup>. Но приведенный пример – скорее исключение. По своей внешнеполитической репрезентации Беларусь

продолжает оставаться «серой зоной» или «черной дырой», никому не интересной территорией, которую можно полностью отдать под протекторат России<sup>9</sup>.

Именно в таком контексте формировалось своеобразное идеологическое обрамление белорусского режима. Панрусизм и панславизм второй половины 1990-х как проект радикального отрицания европейской цивилизации постепенно уходит в прошлое, оставляя за собой место только в историческом дискурсе. Все большее значение получает апелляция к белорусскому народу (академик Бабосов даже предложил считать «белорусскость» основой идеологии, что, однако, не было принято), его традициям и государственности. Восточнославянская цивилизация сменяется восточноевропейской, для которой Беларусь и должна исполнять свою культурную и ценностную миссию<sup>10</sup>.

Сколько времени изолированный белорусский анклав сможет продержаться – сказать трудно. Многие страны (Португалия, Испания и др.) сохраняли свои особые политические системы с практиками корпоративизма до смерти своих символических центров – Франко и Салазара. Кажется, что такие системы (пока сохраняется символический центр) могут существовать довольно долго, если исключить внешнюю интервенцию.

#### ***IV. Белорусская модель развития***

«Белорусская модель», «белорусский путь», «выбор» – лингвистические средства самоописания белорусской системы, которые должны передать автономность, самоцентрированность и альтернативность здешней экономической и политической реальности. Эта работа строится вокруг большого количества оппозиций, выстроенных на противопоставлении «собственной модели» и «внешнего стандарта», «пути» и «приказа», «выбора» и «принуждения». Первое представляет собой нечто естественное, органичное, достойное и свободное, второе же – механическое, принудительное и конформистское. Процесс такой концептуализации, однако, еще нельзя считать завершенным.

Феномен «контекстуализации» мышления власти (привязка к проблемам «здешнего бытия», описание своей особенности, поиск своего центра «тут» и формулирование ментальных границ не только на западе, но и на востоке), к сожалению, был практически не замечен и не отрефлектирован политическим сообществом. А тем временем сама постановка вопроса о «белорусской модели развития» значит нечто большее, нежели смену риторики, а именно – что у режима появляется история, точнее, генеалогия, в том числе и интеллектуальная<sup>11</sup>.

Описание «белорусской модели развития» требует делегитимизации экономической теории, поэтому критическое отношение к либеральным «теоретическим схемам» (которые определяются как «профанация» и «примитивная пропаганда») выглядит весьма органично на фоне дискуссий об аномальности, неправильности



и невозможности существования белорусской экономики с точки зрения либеральной экономической идеологии<sup>12</sup>, что сочетается с символической дискуссией с МВФ, персонифицирующим в лучшем случае бездумную, в худшем – умышленно разрушительную экономическую политику. Это не позволяет «отрываться» от нашей «грешной земли», забывать о тех первоначальных условиях, которые «ограничивают наши возможности».

Контекст, национальные и экономические особенности, специфические условия развития «белорусской модели» являются аргументом в пользу того, что нас некорректно сравнивать с Западом и прочими «империями» – поскольку мы только начинаем складываться как государство. Тем более что у нас были не очень благоприятные стартовые условия развития. Локальное отменяет универсальное и ставит свой опыт выше универсальных схем, что дает возможности для экономической альтернативы. Естественно, что в такой риторике нетрудно найти политическую основу (оправдание status quo), но осознание этого не делает предложенные из-за рубежа теоретические схемы исключительно «научными».

Столкновение существования белорусского режима с «логикой» экономической теории в том смысле, как ее представляла местная «экономическая наука», заслуживает особого рассмотрения, поэтому мы не будем останавливаться на нем подробно. Отмечу только, что первый апокалипсис ожидали еще в 1995 г., а затем – как экономисты-практики, так и либеральные теоретики – бесконечно переносили его на ближайшее будущее, пока вера в возможный «кризис» (которая, несмотря на «научную» риторику, была полностью иррациональной) не угадала.

## ***V. Самопонимание и эволюция системы***

*Поверьте, у нас уникальная страна, я до президентства далеко не все знал о ее уникальности.*

А. Лукашенко

В фундамент «белорусской модели» положена еще одна оппозиция, которая должна выявлять ее выразительное отличие от всех стран Центрально-Восточной Европы. «Кризису», «радикальной трансформации», «шоковой терапии», «обвальной приватизации» как неотъемлемым формам политического и экономического ландшафта региона противопоставляются «стабильность», «совершенствование», «осторожность и аккуратность». Вместо слова «реформа» – центрального понятия либерального экономического проекта для Восточной Европы, который «скомпрометировал себя в начале 90-х годов», предлагается употреблять «совершенствование». «Совершенствование» репрезентирует проект модернизации, противоположный проекту «реформ» («катастрофическому пути обвальных реформ») по плану МВФ, ЕБРР, рекомендациям «западных» экспертов и аналитиков, «неприемлемых для белорусского народа».

Развитие обязано быть преемственным, без «кардинальной ломки» существующей системы и «революционных экспериментов», необходимо учитывать «менталитет белорусского народа, его историю и традиции». Развитие не должно основываться на чем-либо «чужом», не укорененном в экономическую и социальную реальность, даже если оно «научно» обосновано и легитимизировано «мировым опытом». Естественно, что для белорусской власти «мировой опыт» не значит «универсальный» и пригодный для нашей реальности. Кстати, такая позиция в некотором смысле верна.

Нужно «стать на плечи» генерации, создавшей существующее общество. «Мы шли и идем от того, что у нас есть... мы ничего не ломали, не разбрасывали и не уничтожали». «Мы выбрали эволюционный путь развития».

Очевидна тенденция к адаптации «системой» лексики консерватизма. На одном из семинаров для руководящего корпуса в апреле 2003 г. элементы идеологии консерватизма были определены как «традиционно характерные для белорусов», что и «сегодня не теряют своей актуальности». Это можно считать еще одним средством концептуализации политического и экономического status quo.

Система, созданная в результате «консервативной» политики, должна обладать не только особенностями в стратегии своего развития, но и соответствующей структурой. Отличительной чертой белорусской модели (в соответствии с само-описанием) выступает *отсутствие олигархических кланов*, что обеспечивается созданием сильно централизованной власти. Но вместе с тем вспомним, что в Беларуси и до формирования современного режима олигархическим системам не было места. Нужно также принимать во внимание процессы теневой приватизации, которая происходит сегодня.

*Отсутствие криминала* во власти и низкий уровень коррупции. В условиях концентрации власти политические проекты как традиционного, так и нового криминалитета невозможны. Монополия на власть принадлежит государственным служащим, директорам предприятий и лишь изредка «бизнесу», если у него есть надежная бюрократическая «крыша».

«Наша модель не привела к *массовой безработице* и обнищанию людей». И в самом деле, уровень безработицы в Беларуси меньше 2–3%, что является низким показателем для Европы и определенным социальным достижением. Хотя насколько это экономически эффективно – вопрос открытый.

Среди других признаков белорусской модели обычно называется предотвращение *деиндустриализации*, низкий уровень *внешней задолженности* и относительно высокий уровень *социальной защиты*<sup>13</sup>.

## VI. Правила власти

*Даже имея властителя, и и ди не могут сравниться с ся, лишенным властителя<sup>14</sup>.*

Конфуций

Политические аналитики любят не только копировать европейские теории и концепции, но и придавать политическому полю привычный для них тип рациональности, редко совпадающий с логикой мышления белорусского режима.

Большинство аналитиков неуклонно эволюционирует к fast-thinking, то есть к простому изложению того, что от них ожидают газеты или «читатели», откликаясь на убеждения и ожидания. Это, соответственно, означает диктат моды и банальных фраз в определении политической ситуации, что сочетается с некритическим отношением к своей позиции и обязательной (само)цензурой. Действительно, аналитик практически не может обсуждать ряд табуированных тем, например финансирование политических структур, хотя такой анализ способен предопределить развитие политической ситуации. Обходя табуированные темы, аналитик может долго рассуждать о менталитете, ценностях, экономических законах и «активности масс», но при этом не затрагивать самой сути политического процесса.

Поэтому многие существенные моменты остаются в тени, и особенно – властные отношения (правила власти) в Беларуси<sup>15</sup>, которые весьма далеки от рациональности, приписываемой им «извне», и от типизированных в СМИ и сознании образов.

Власть – феномен социальной укорененности, который одновременно стимулирует и упрощение власти (оппозиционная аналитика) и ее сакрализацию (официальная пропаганда). Упрощение слишком просто, а сакрализация слишком сложна, чтобы быть реальностью. Власть – это отношение между тем, у кого она есть, и подчиненным ей. Вместе с тем подчиненный активно влияет на поведение хозяина.

### **Что такое президент**

«Things fall apart; the centre cannot hold; Mere anarchy is loosed upon the world»<sup>16</sup>. В отличие от большинства аналитиков, политологов и журналистов, я не склонен преувеличивать роль президента в политико-бюрократической системе нового режима. Он образует центр, но не столько центр «реальной политики», сколько символическую/организационную основу ее легитимности, с которой начинается выстраивание структуры властных отношений. Вопрос о том, насколько президент *определяет* политику государства, остается открытым и далеко не риторическим. Не вызывает сомнения, что он принимает решения и влияет на их исполнение, но *определяет* ли он политику? Решения принимаются на основе информации и аналитики, а их единственным источником для президента является «система», ко-

торая конструирует информационную реальность и делает эту аналитику (часто декларируется, что этим прежде всего занимаются КГК и служба безопасности, но ими список не заканчивается). Прорыв к реальности практически невозможен, да и не нужен. Практика «системы» самодостаточна. Президенту может казаться, что он занимается всем, но, возможно, перед нами всего лишь признак своего рода «психологической инфляции» (К. Юнг)<sup>17</sup> – расширения индивидуального сознания и идентичности на социальные институты и функции. «Мои деньги», «мое государство», «я свою страну»... – доминирование подобной риторики в выступлениях президента, вероятно, является свидетельством именно такого феномена. Психологическая инфляция – ни в коем случае не патология, а особый стиль мышления, который, кроме всего прочего, выявляет определенную потерю чувства реальности. *Взгляды системы становятся собственными взглядами*, и таких примеров в истории современной Беларуси более чем достаточно.

В административных отношениях постепенно возрастает практика делегирования функций, специализация, общая «усталость» центра и снижение внимания к деталям, которое все больше замыкается на контактах с небольшим кругом информационных источников. Главное, что отличает президента от других структур режима, – отсутствие страха политической или какой-либо иной ответственности (угрозы «увольнения», «отставки» и т. д.). Это позволяет игнорировать привычные для бюрократической системы стремления уклониться от персонификации своих функций и децентрализации ответственности и занимать символическую «центральную» позицию в политическом строе.

То, что «центр» режима является преимущественно символическим, никоим образом не означает, что он не имеет реального значения для режима. Место президента очень важное – с него, как уже было отмечено, начинается система сложных отношений властной элиты. Для многих он гарант предпочтений и политических позиций. С большой степенью вероятности можно говорить, что сам режим распадется вместе с уходом А. Лукашенко с политической сцены, по крайней мере, его ожидают значительные трансформации. Таким образом, это «центр», но центр, влияние которого на логику и стратегию развития «системы» достаточно ограничено, а гипертрофированные представления о его функциях (распространенные в массовом сознании) выглядят достаточно наивно.

### ***Правила системы – белорусская корпорация***

Бытует мнение, что в современном мире происходит постепенное превращение небольших государств в большие «Макдональдсы». Чтобы обеспечить свое будущее, небольшое государство становится корпорацией со своей корпоративной этикой (идеологией), узнаваемым и политически легитимным «брендом» (имиджем), рациональной иерархической структурой, корпоративной стратегией (программой развития), менеджментом (а не группой собственников) и т. д. Можно спорить о

том, насколько предложенная модель подходит всем государствам, но организация белорусской власти очень похожа на корпорацию. Это стало особенно очевидно после провала интеграционного проекта с Россией.

Корпорация подчинена принципу эффективности (это не обязательно экономическая эффективность), технологичности, быстрого реагирования, выживания в «океане внешнего риска». «Политические» отношения в ней очень далеки от классической вертикальной схемы, которая делается все более горизонтальной. Власть все чаще интересуется «функция», а не «сознание». В министерствах, департаментах и комитетах уже теперь трудно найти людей, которые серьезно относятся, например, к идеологии режима, что не мешает им лояльно исполнять свои обязанности и служить системе.

Обычно белорусская государственная и политическая машина описывается как централизованная система с определенной иерархией мест локализации власти. Это, однако, только отчасти соответствует истине. Настоящая централизация возможна лишь при условии жесткой специализации функций подчиненных субъектов – тогда роль центра как координатора возрастает максимально. В Беларуси наблюдаются скорее процессы концентрации власти государственным аппаратом, но в пределах самой системы власть достаточно дисперсна. Если выполнение определенной функции (например, продажа государственного имущества на определенную сумму) требует согласования с президентом, это значит не только то, что Совет Министров не может решить этот вопрос без «центра», но и то, что к принятию решения присоединяется Администрация президента и, возможно, еще несколько государственных органов. В реальности процедура получается значительно менее централизованной, чем представляется, а решение оказывается неустойчивым и непersonифицированным. Такая децентрализация также дает большие возможности для «пересмотра» ситуации уже после принятия решения. Это позволяет вступать в игру новым лоббистским группам. В результате действительный *центр* найти сложно ввиду большого количества процедур согласования, консультаций, дублирования функций и т.д. Существует лишь размытое поле, где концентрируются функции и принимаются решения, но в пределах этого поля любой центр имеет относительный характер. Каждый чиновник снижает свой риск, вводя процедуры бесконечного количества виз, замедляет принятие и исполнение решений, даже если это соответствует его компетенции. Еще меньше оснований говорить об устойчивой *иерархии* властных центров, ибо никакой стабильности здесь тоже нет.

*Концентрация.* Выше было отмечено различие процессов централизации и концентрации, теперь попробуем остановиться на феномене концентрации более подробно.

Баланс контроля и эффективности построен на концентрации различных видов капитала – политического, экономического, культурного и т. д. – в пределах одного «государственного» поля. Логика концентрации присутствует практически во всех административных решениях – от акционирования предприятий и сокращения го-

сударственной службы на 10% (конец 2001 г.) до создания системы «идеологической работы». Каждый социальный институт должен выполнять максимальное количество дополнительных, «факультативных» функций – идеологических, социальных. Исследовательский институт, сохраняя образ «научного учреждения», обязан быть экономически прибыльным предприятием, вести идеологическую работу и выполнять ряд иных социальных функций. Крупная промышленность, концентрируя в себе функции социального, политического и экономического контроля, теперь должна заниматься еще и идеологической деятельностью. Многие государственные институты одновременно озабочены производством, контролем и управлением. И количество таких функций растет.

Концентрация – до определенной степени процесс, противоположный централизации, которая строится на принципе специализации (чем уже специализация, тем больше значение центра). Концентрация приводит к созданию неперсонифицированной и неспециализированной «системы», что и укоренено в белорусскую практику управления. Даже такой деликатный политический проект, как «идеология белорусского государства», с самого начала осуществляется через придание новых идеологических функций государственным институтам, а единый методический и «научный» центр проекта так и не был создан (по крайней мере, пока).

Концентрация ресурсов в пределах государственного поля и одновременная их децентрализация достаточно высоки. Именно поэтому в Беларуси не сложилась олигархическая система. В Беларуси нет «экономической элиты», ибо элита одновременно и политическая, и экономическая, и идеологическая, и социальная, а ресурсы максимально децентрализованы по разным частям социального поля. В таких обстоятельствах процесс централизации экономического ресурса (сведение экономического ресурса к одному центру) противоречит логике системы, а потому вытесняется за ее пределы или подавляется.

Деконцентрация возможна через приватизацию, то есть через введение в «систему» иной логики, иного типа рациональности. Это естественно вызывает сопротивление режима. Например, если речь идет о прибыльном предприятии, приватизация невыгодна потому, что государственная система потеряет прибыль, а вместе с ней и возможность для поиска чрезвычайного ресурса в кризисной ситуации. Результатом является снижение экономической эффективности, но выбор «системы» полностью рационален, если исходить из ее логики и интересов. «...Забрали предприятие, сократили людей, произвели продукт, продали, забрали деньги». Контроль теряется не только над современностью, но и над будущим – возможности прогнозирования и планирования уменьшаются стремительно. Инвестиции для «корпорации» – только одноразовый приток финансов, за что придется платить потерей экономического и, что особенно важно, социального контроля. Кроме того, изменение в составе акционеров неизбежно вызовет требования изменения менеджмента, а это уже вопрос политический.



### ***Власть и символическая игра***

Публичная сторона власти построена на символической игре. С одной стороны, президент дистанцируется от «системы» и может всегда позволить подтвердить свою легитимность обвинениями в сторону бюрократии («я свои обязанности выполняю, но ВЫ [министры, председатели, директора] не справляетесь») и, разумеется, регулярными символическими (селекторные совещания) и реальными (увольнения и аресты) репрессиями. С другой стороны, система настолько деперсонифицирована, что она не может быть за что-то ответственной, а тем более виновной во всех решениях президента. Такая игра отражает логику режима и особенность его социальной репрезентации.

Сколь бы эффектными ни казались селекторные совещания, это лишь символическое проявление ненависти к бюрократии. На самом деле «люди системы» не особенно боятся А. Лукашенко, хорошо понимая, что главное для их карьеры – отношения не с «центром», а с коллегами своего уровня и непосредственным руководством. Персональные отношения с президентом, имевшие свое значение в первые годы его правления, постепенно девальвируются. Значение имеет лишь «кулуарная» борьба – бояться следует своих друзей, коллег и врагов, только их интриги могут привести к действительно негативным последствиям. При нормальном развитии ситуации любое неисполнение поручений президента (типа показателей роста на 6%) всегда можно обосновать и теоретически, и фактически. А группа «кланов» способна уничтожить кого угодно, сколь бы он ни был близок к президенту («хорошие отношения» всегда можно разрушить «правильной информацией»)<sup>18</sup>. Логика развития системы делает функционеров все более зависимыми друг от друга, а не от «абстрактного» первого лица.

### ***VII. Управление и структуры доминирования***

В пределах белорусского поля «система» владеет тремя структурами доминирования. Прямое доминирование (метафорой которого может быть слово «собственность») наиболее важно и занимает «системообразующие» позиции («владение» концернами, предприятиями, колхозами и т. д.). Оно позволяет иметь не только экономический, но и административный контроль (в качестве работодателя) над определенными сегментами общества.

Это частная (внутренняя) собственность системы на средства экономического, культурного и политического контроля. Право собственности на системообразующие институты имеет как экономическое и социальное, так и административное значение. Все директора крупных заводов, образовательных структур, СМИ и т. д. назначаются президентом, а само назначение проходит круг «согласований» в президентской администрации, Совете Министров и т. д. Кому занять пост председателя

колхоза – это не столько экономическое, сколько политическое решение. Право на управление может исходить только от самой системы.

### ***Косвенное доминирование – отношения аренды***

Пока государство способно удерживать *контроль* над предприятием или отраслью экономики, оно его сохраняет. Но не всюду прямое доминирование дает желанные результаты. Система испытывает потребность в «лакунах», как в тени самой себя. Отношение «лакуны» к системе носит характер скорее *вассалитета*, нежели прямого подчинения: здесь лояльность имеет большее значение, чем экономическая эффективность; суть деятельности – в *служении* «системе» (ее конкретным звеньям), а не в структурном *подчинении*. Бизнес, имеющий административную крышу, не подчиняется министерствам и концернам – он служит министрам и директорам заводов. Лояльные СМИ могут самостоятельно формировать информационную политику, но при этом должны всегда способствовать политической стабильности, рекламировать только согласованных кандидатов на местных и общенациональных выборах и обеспечивать их «самостоятельную» политическую карьеру. Примерно такие же функции выполняют лояльные политические партии и общественные объединения, встроенные в систему как персонифицированные проекты, которые работают не столько на режим, сколько на определенные его центры.

Вассальные структуры получают в аренду часть социального и экономического пространства «системы», за что платят, соответственно, арендную плату, которая сочетается с неформальными выплатами и коррупцией. Вхождение в бюрократию – очень часто единственная возможность удержать собственный бизнес.

Для своих функционеров система декларирует большие риски (дисциплинарное взыскание, увольнение и т. д.) и ставит их в полностью зависимое положение. Вассальные структуры имеют своей задачей снижение этого риска – обеспечение дополнительных прибылей, работу для родственников и знакомых и т. д.

С другой стороны, такой бизнес должен полностью сохранять свою лояльность и, главное, знать свое место – как дополнительного элемента государственной системы, находящегося на самой нижней ступеньке политической иерархии. До сих пор значительная часть бюрократии сохраняет органическое чувство презрения к «поганым коммерсантам» и символически дистанцируется от них в своих социальных практиках<sup>19</sup>.

Косвенный сектор доминирования формируется на разных уровнях, включая и самые низкие. Он мало связан с «центром», по крайней мере пока не возникают конфликты с региональной «крышей». Но когда «система» демонстрирует хотя бы незначительные признаки слабости, «арендаторы» политической легитимности начинают демонстрировать свои права и даже пробуют навязать условия чиновникам, которым они платят. Такие попытки перехватить инициативу жестко подавляются.

Это логика системы. Значит, люди, которые «содержат» определенное количество звеньев «системы», утратили чувство реальности. Они начинают думать, что сами овладели ситуацией и теперь не они должны платить за легитимность, а наоборот. Происходят попытки изменить систему доминирования, сделать ее своей собственностью, что на определенных локальных уровнях может иметь успех. Но обычно такие усилия привлекают внимание центра и разных клановых групп и быстро подавляются. Контроль того, кто дает взятку, над тем, кто ее получает, не может быть долгим.

Белорусская власть обычно очень настороженно относится к подобному бизнесу и никогда не признает его частью *себя*. Поэтому она хотя и стимулирует его развитие, но в то же время ограничивает и контролирует. «Репрессии» в этой сфере – обычная политическая игра, результат исключительно клановой борьбы или «головокружения от успехов», которое сочетается с утратой чувства своего места. Но, как сказал бы Ницше, репрессии – это лишь пыль, поднимающаяся над полем битвы, а пыль не должна заслонять того, что происходит на самом деле. Попытки каждый такой случай считать жертвой «политических» репрессий симптоматичны, но не имеют никакого отношения к сущности происходящих процессов.

Кстати, отметим, что желающих получить вассальный статус и со стороны бизнеса, и со стороны общественно-политического сектора значительно больше, чем того социального и экономического пространства, которое сдается системой в аренду, поэтому включение в отношения вассалитета (косвенного доминирования) сталкивается с конкуренцией и многие субъекты этого поля вынуждены быть лояльными к власти, даже не получая за это практически никаких дивидендов.

### ***Вторичные структуры***

Однако далеко не все структуры экономической и общественной сферы получают легитимацию системы. Предприниматели<sup>20</sup>, разного рода общественные инициативы без определенной политической ориентации вынуждены находиться в «свободном» состоянии, мало интересующем систему.

Вторичные структуры интересны системе только как дополнительный (но далеко не основной) источник дохода, поступающий в форме налогов и «дани». Мелкий бизнес находится вне системы, он не получает в аренду ее социальное и экономическое пространство, но заполняет лакуны и пустоты, в большинстве своем не интересные корпорации. Его социальная база – «временно безработные» (политически и социальное незначительные агенты), экономическая – сферы, где «системные» структуры не способны эффективно контролировать ситуацию. Если государственные структуры проявили свой интерес к занятой экономической сфере, забрать ее у мелкого бизнеса не составляет проблемы.

Мелкий бизнес не особенно интересен режиму с точки зрения социального контроля – забастовка торговцев никогда не вызовет и части того общественно-политического резонанса, который могла бы вызвать такая акция на крупном заводе.

Вторичным структурам не придается дополнительных социальных функций, которые есть у государственных заводов или бизнеса, имеющего «крышу». Они исполняют только одну роль – *фискальную*. В соответствии с этой логикой построена система нормативных актов и контрольных органов.

Обычно государство интересуется не то, насколько работа подобной организации эффективна экономически, но то, как эту работу можно контролировать. Местные власти несут ответственность за «беспорядок и воровство» бизнеса. Бизнесу можно дать свободу, но лишь настолько, насколько он поддается контролю и дисциплине – фискальной, социальной, политической. Если не будет дисциплины, не будет предела, а не будет предела – будет «беспредел», то есть нестабильность, которую «система» не может позволить в принципе.

### **VIII. Степени власти**

#### ***(несколько слов о политической системе)***

Белорусская власть «жесткая»<sup>21</sup>, концентрированная и взвешенная, поскольку «приходится учитывать то, что происходит в нашей стране и что происходит вокруг нее». «Без сильной власти, организующей все процессы, мы просто развалимся, как другие, в стране будет сплошной криминал». Такая власть самоописывается как единственная возможность удержаться от распада, фрагментации, кризиса и упадка. «Сегодня могут что хотите говорить о власти, но это не пьяная власть. Это власть, которая отвечает, защищает интересы, решает проблемы...» Президент (как символический и организационный центр этой власти) готов признать «присутствие элементов авторитаризма» в практике своего руководства. Авторитарная власть – вещь необходимая, но ситуационная, «каждое общество в такой сложный период решало свои проблемы с помощью сильной власти».

Белорусская власть соглашается с тем, что ее свойства – тотальность, вес и высокий уровень концентрации. Но в дискуссиях она вынуждена доказывать свой естественный, ненасильственный и легитимный характер. Определения «диктатура», «узурпация» отвергаются, а это значит, что политическая и административная позиция власти требует оправдания и доказательства, что «диктатура – это идеологический накат, пустые слова» и не более того. *В определении своей сущности власть становится на позицию оправдания, это значит, что связь с «критиками» не прерывается.*

### **Принципы**

Белорусский режим подчеркивает свою нормативность, внутреннюю целостность и подчиненность определенным устойчивым принципам, которые должны демонстрировать стабильность. Среди этих принципов политики чаще всего называются справедливость (которая сочетается с жестким контролем и требовательностью), искренность («о фактах надо говорить») и нелюбовь к «насилию» на улицах. Последнему (видимо, по инерции) уделяется особое внимание: многократно подчеркивается, что «улица – это не политика» и все должно быть «цивилизованно», в рамках диалога. Упоминания об уличном противостоянии играют роль негативного фона, когда речь идет об оппозиции, «деструктивных силах» и попытках дестабилизировать политическую ситуацию. Это еще раз подтверждает большую роль уличного сопротивления 1996–1999 гг. в становлении режима (каким бы фатальным и безрезультатным то сопротивление теперь ни казалось)<sup>22</sup>.

### **Инфраструктура режима**

Определяя свою инфраструктуру – институты и организации, которые формально не являются частью государственного аппарата, но выполняют различные вспомогательные функции в пределах «гражданского общества», – власть называет обычно профсоюзы, местные советы и молодежные организации (БПСМ). Не будем останавливаться на подробном рассмотрении каждой из этих структур, отметим только, что такая конфигурация сложилась лишь в 2002 г., когда был установлен жесткий контроль над профсоюзами. Местные советы всегда были лояльно-пассивны в политической жизни. Но после выборов 2003 г. появилось желание сделать из них более активную структуру. О реформе местного самоуправления речь, правда, не идет. Получение местными советами финансовой автономии не имеет принципиального значения – они все равно административно зависят от «центра», да и состав местных органов управления и самоуправления в значительной степени определяется Администрацией президента. Самым главным аргументом против реформы местного самоуправления называется децентрализация, что при наличии диспропорций в региональном развитии и последствий аварии на ЧАЭС приведет в упадок целые районы («поставит их на край гибели»). Что касается БПСМ, то искусственное создание общей (тотальной) молодежной структуры началось в 1997 г. основанием БПСМ. Современное оформление эта структура получила в 2002 г. путем объединения БПСМ и БСМ в единую организацию.

Режим специфически, в сравнении с другими странами региона, относится к партиям. Ни один лояльный политический проект так и не стал влиятельным – это уникальная ситуация, требующая специального рассмотрения за пределами этого текста.

### Политическая дисциплина

*Когда-то, помню, при старом еще мэре Минска, я начал приводить в порядок город. Говорю: это надо сделать так. «Это, Александр Григорьевич, невозможно!» Я говорю: «Не сделаешь – выгоню!!!»*

А. Лукашенко

Если под политикой понимать открытую политическую игру, то белорусская «система», начиная с кризиса 1994–1996 гг. является аполитичной и монолитной. Поэтому в ней разные формы директивного планирования и дисциплинирования политической жизни выглядят абсолютно естественно и логично.

Еще до выборов происходит планирование состава будущих выборных органов и даже открыто декларируется план представительства, типа директивной постановки задачи о сорокапроцентном присутствии в местных советах и парламенте женщин и молодежи или сохранение в выборных органах достаточного количества «опытных кадров» (не меньше 50%). Таким образом, кадровая работа в выборных органах мало чем отличается от назначений в бюрократическом аппарате. Фразы о планировании (предопределенности) итогов выборов транслируются властью достаточно часто, хотя обычно и дополняются демократической риторикой и апелляциями к «праву». Нет сомнения, что персональный состав выборных органов с незначительными исключениями определяется властью еще до выборов.

Политическая дисциплина означает не только планирование состава выборных и невыборных органов, но и дисциплину агентов режима. Вплетенная в сеть фактов и скрытых практик, работа в «системе» определяет ряд требований, наиболее значительные из которых – не «идейность» и «вера» (хотя они иногда и декларируются властями), а разные степени лояльности и функциональная полезность («лояльный профессионализм»<sup>23</sup>). Основа кадровой политики – «преданность Беларуси, государству и патриотизм», «преданность проводимой политике». Соответственно, самый тяжкий политический грех – измена. Измена – наиболее опасное проявление нелояльности, что президент систематически подчеркивает. Разумеется, большое значение имеет компетентность и профессионализм, но «для нашего общества важно, чтобы они [люди «системы»] были честными. Не были предателями. А у нас есть и такие. Если не согласен с политикой, иди открыто в оппозицию. Предателей в команде быть не должно». Именно исходя из этой логики, наибольшую угрозу для власти на местах представляет «жулик», который сочетает в себе элементы политической нелояльности и криминальности. Непосредственно для задач дисциплинирования предназначены нормативные показатели, проверки, директивы, реорганизации и увольнения.



### **Бинарное противопоставление власть/оппозиция**

Для власти политическое поле Беларуси выразительно разделено на сектора в зависимости от уровня лояльности. Несмотря на ряд нюансов, это разделение в основном сводится к бинарному противопоставлению власть/оппозиция. Это противопоставление пронизывает политическую риторику власти и значительно влияет на ее структуру, в которую оппозиция вписывается как масса, мыслящая по схеме «президент – плохой, народ – “быдло”, страна – “задворки Европы”».

Оппозиционность приобретает онтологические черты нелояльности, нестабильности, деструктивности и ориентации на Запад. Восприятие оппозиции как *Другого* подчеркивается даже употреблением *другого* языка. В частности, большинство случаев употребления белорусских слов и фраз в речах президента связано с определением оппозиции («свядомыя», «дэмакраты») и политическими планами оппозиции («у Эўропу», «на Захад»). Употребление белорусского языка становится политическим маркером, определяющим контекст оппозиционности, несмотря на подчеркнуто лояльное отношение к белорусскому языку вообще.

Причина существования оппозиции известна: это либо недостаток информации (и, как результат, непонимание государственной политики)<sup>24</sup>, либо «нечестность», «корыстность» и «неприличное поведение» ряда политических деятелей. Любая оппозиционность может быть снята либо объяснением «фактов истинного положения вещей», либо разоблачением ее своекорыстной политической сути. Для работы в первом направлении создается разветвленная идеологическая инфраструктура с курсами по идеологии в вузах, идеологической работой «в коллективах», агитационными бригадами и государственными СМИ. Для работы со второй категорией «оппозиции» существует концентрированный и жесткий аппарат государства.

### **Анклавы оппозиционности**

Оппозиционность как фактор нестабильности распределена в социальном пространстве неравномерно и, кроме политических партий вместе с близкими к ним структурами, концентрируется в ряде сфер и социальных групп: образование, культура, «молодежь» и т. д. В числе таких анклавов, в частности, выступают вузы и студенты (генераторы и носители самых радикальных идей преобразования общества), чья «непонятная» оппозиционность не может не беспокоить власть. Одна из книг, ставших эмпирической основой этого текста («Исторический выбор Беларуси»), состоит из речей президента перед студентами, и вузы в них выступают как особый объект властного доминирования. Контроль лояльности студентов очень разный, но, как представляется, главным средством выступает «работа» с ректорами, которые должны проводить *государственную* политику в *государственных* вузах и обеспечивать результаты на выборах (последнее ставилось в вину бывшему ректору БГУ). Другое важное средство – развитие лояльных молодежных организаций и идеологическая работа. Сами ректоры, разумеется, придумывают более действен-

ные средства обеспечения лояльности. В частности, заключение договоров о неучастии в оппозиционных мероприятиях в обмен на право не участвовать в мероприятиях официальных.

Любое выделение средств на нелояльные группы и структуры является неэффективным. Власть открыто декларирует, что финансирование, например, культурных проектов возможно при условии лояльности их реализаторов. Нелояльные культурные практики не только не могут стимулироваться, но должны всячески репрессироваться. Оппозиционность нарушает внутреннюю логику контроля «системы», повышает ее нестабильность, поэтому негативное отношение к такой активности абсолютно логично, как и стратегия по социальной изоляции подобных практик. Для легитимации «оппозиционности» необходимо, по крайней мере, изменение структур распределения власти, чего допустить, разумеется, нельзя.

### **IX. Идентичность – государственная и национальная**

*...Есть часто такие досадные случаи, когда в одной деревне есть белорусы и «тутэйшыя». «Тутэйшыя» считают белорусов партией, как, например, КПС, коммунистов и т. д. ...В эту белорусскую «партию» «тутэйшыя» не хотят вступать!*

Н. Шкяленок

Белорусская идентичность в последнее время стала привлекательным объектом исследования, которому уделяется достаточно научного и ненаучного внимания. Это рефлексивные тексты, где структура белорусского сознания лишь смутно обозначается противопоставлением «западного» и «восточного» начал, эмпирические социологические исследования «системы ценностей», национальной, культурной и религиозной принадлежности, различные варианты анализа политического (и исторического) выбора и т. д.

Практически все исследования, имеющие целью выявление структуры белорусского сознания<sup>25</sup>, сталкиваются с ее нецелостностью. Обычно анализ приводит к формулированию бинарной оппозиции двух<sup>26</sup> нетождественных и непохожих белорусских ментальностей, которые противостоят друг другу как политически, так и культурно<sup>27</sup>. Критерии раздела очень разные: отношение к реформам («прогрессивное» и «консервативное» сознание), национальным ценностям («сознательные» и «несознательные»), субэтническому делению («литвины» и «русины»), политической ориентации («националисты-белорусы» и «русофилы-западноруссы»). Такую же стратегию бинарной оппозиции поддерживают и те, кто делит идентичность на «слабую» и «сильную» (И. Бобков), «национальную» и «донациональную»<sup>28</sup>, а лучше сказать «национальную» и «тутэйшую». Глубокий анализ двух типов белорусской идентичности и того, насколько обозначенные оппозиции адекватны белорусской

действительности, требует специального исследования. Здесь мы только отметим факт ее разделения и заметим, что существующая власть транслирует второй в перечисленных оппозициях тип идентичности: «слабый», «донациональный», «тутэйшы», «консервативный», «русофильский» и т. д.

Доминирование такой идентичности составляло часть революционного проекта 1994 г., несмотря на то что политическая риторика новой власти вначале ощущала очень мощное влияние панславизма (в его российской, панрусской форме) и идеи восстановления СССР. Российская (советская) ориентация была ситуационной и связывалась с необходимостью удержать традиционного культурного и политического донора.

Генетически властное сознание связано не с «западноруссизмом», который противостоял вначале польскому культурному контексту, а затем белорусскому национальному движению, а с «тутэйшым» самосознанием, наиболее значительными чертами которого являются исключительно практическое, а не идеологическое отношение к тому, что для остальных формирует так называемую *систему национальных ценностей* (язык, традиции, государство, идентичность etc.), желание избежать идентификации, стремление к сохранению неопределенного культурного и национального состояния и, соответственно, необходимость культурного донора (внешнего производителя «высокой культуры»). Естественно, что «тутэйшасць» XIX в. пережила несколько важных трансформаций, важнейшая из которых – индустриализация и формирование в составе БССР белорусской советской идентичности, «тутэйшыя» элементы которой стимулировали политическую лояльность и культивировались советской властью. Но такая стратегия поведения в политическом и культурном поле остается, при определенных допущениях, и сегодня актуальной.

Тем не менее описание и самописание этой «молчаливой», «размытой» и «неопределенной» идентичности, считавшей за лучшее оставаться в тени других, началось относительно недавно. Формирование «идеологии белорусского государства» – один из признаков этого процесса.

Властная идентичность в Беларуси сегодня разнообразная, но для нас наибольший интерес представляют практики уклонения от идентификации путем размывания и *децентрализации* (это понятие будет занимать стержневое место в нашем анализе) идентичности. Власть<sup>29</sup> не имеет твердой национальной идентификации. Это выражается в систематическом напоминании о похожести белорусов на соседние народы. В частности, сущность белорусского языка в соответствии с «тутэйшым» подходом определяется формулой «слово польское, слово русское, слово украинское», т. е. нечто несамодостаточное, не обладающее центром и этнической/национальной укорененностью.

Генеалогически сознание власти тесно связано с белорусской советской идентичностью. Она строилась в соответствии с политическими практиками индустриализации, массовой миграции и формирования «единого советского народа», в фундаменте которого лежал принцип руссоцентризма. Разумеется, значительная

часть черт «нормальной» советской идентичности исчезла вместе со становлением нового белорусского государства, происходит и сущностная трансформация «российского центра». Трансформация советской идентичности имеет много причин, но наиболее важным было изменение систем власти и перемещение политического центра из Москвы в Минск.

Советское сознание имело два уровня – союзный и национальный. Русский язык и русская культура были универсальными для «общесоюзного уровня», национальные культуры, соответственно, занимали локальные ниши на втором уровне. С распадом СССР, формированием независимого государства и концентрацией политической власти в Минске национально-государственная идентичность неизбежно теряет иерархичность и становится одноуровневой. Это поставило очень важный практический вопрос: «Какое содержание должно быть у национального?» (поскольку национальное перестало быть локальным). Русский язык утратил легитимацию центра, и это вызвало две противоречивые тенденции: поворот к *белорусскости* и благоприятствование ее постепенной экспансии не только в проекте «возрождения», но и в проекте «создания государства», который формировался частью постсоветской элиты. Беларусь должна была стать *нормальным государством*, а это значит государством со своим языком, традицией, мифологией. И тем самым сформировать одноуровневую идентичность, подобно литовской или польской.

Противоположная стратегия требовала вложения русского языка и культуры в пределы одноуровневой идентичности, то есть вписания их в локальный контекст. Логика такого процесса требовала лишения российского центра монополии на свои культурные продукты и фактического разрушения руссоцентризма. Единственным препятствием на этом пути были попытки возрождения иерархического сознания за счет создания нового «союза», «союзного государства», но с начала нынешнего века вопрос о «самостоятельности» и ценности белорусского центра, кажется, решен.

Легитимации русского языка для белорусов режим придает большое значение. Формула легитимации представляется простой – «русское является не только российским». В лекциях А. Лукашенко перед студентами несколько раз повторяется басня о том, как Б. Ельцин хотел поблагодарить А. Лукашенко за референдум 1995 г. (точнее, за придание русскому языку статуса второго государственного). Благодарить не за что, ибо «русский язык – это и наш язык», – ответил тогда президент.

*«Мы не можем наш русский язык вернуть России». «Язык, на котором мы говорим, это не только русский, это и наш язык». «Мы в него вложили не меньше, чем сами россияне, своей души, чувств, эмоций и прочего».* Доказывается, что русский язык *должен* считаться родным для белорусов и быть настоящей ценностью.

Такая риторика сочетается с попытками деколонизации русского языка – «у нас особый русский язык, особый белорусский акцент, и мы этого языка не бросим». Русский язык в Беларуси приобретает национально белорусские черты<sup>30</sup>. «Чистый русский язык отличается от того, на котором мы с вами получаем образование и

говорим». Это язык нашего народа, который долгое время жил не «между Москвой и Варшавой», а «в Российской империи и советском государстве», что, соответственно, дает нам права на его культурное наследие. Особенности русского языка в Беларуси, таким образом, используются как средство доказать его «родственность» для народа, «укорененность» в белорусский культурный ландшафт и показать его национальный (нероссийский) характер. Такие попытки можно воспринимать с иронией, но это важная тенденция современного развития Беларуси, которая со временем будет усиливаться.

«Приватизация» русского языка выглядит странно (и даже наивно), когда делаются попытки его исторической легитимации. Утверждается, что Ф. Скорина писал «по-русски», хотя хорошо известно, что в термин «русский» он вкладывал совсем не «русское» («московское») содержание.

Белорусский язык идентифицируется властью как нечто «родное» и «естественное» – «*матчына мова*». Он – не предмет для рассуждений и, естественно, не инструмент широкого использования. На этом языке не обязательно говорить или писать, его просто нужно *знать*<sup>31</sup>. Естественность и родственность обязана быть тихой и не иметь претензий на социальную экспансию, должна быть «укрошенным другим»<sup>32</sup>, спрятанным в теле собственной идентичности.

В подобном статусе проблем с белорусским языком нет, в том смысле, что он не есть проблема. Никто не запрещает им пользоваться, разрешено даже поддерживать различные культурные и социальные анклавы, где он может быть полностью легитимным (белорусская литература, история, краеведение и т. д.), но если встанет вопрос повышения социального статуса (расширения пространства), отношение к нему меняется радикально.

Политическая аргументация «против языка» сформировалась в начале 1990-х и с тех времен мало изменилась: «насильственное введение языка приводит к социальной напряженности». Последнее и стало одной из причин поражения «тех людей, которые стояли у власти в начале 1990-х».

Политика власти, направленная на то, чтобы сдерживать распространение белорусского языка, имеет преимущественно социально-политическую аргументацию и формулируется в контексте оправдания. Можно говорить о наличии определенного политического «комплекса белорусского языка», когда его вытеснение из повседневного употребления требует для политических субъектов весьма осторожной аргументации, а также «оправдания» и демонстрации символической привязанности к нему. Это свидетельствует о том, что идентичность власти не лишена влияния дискурса «возрождения», которое отводило языку центральное место. Но, похоже, это единственный пример такого воздействия.

Локализация русского языка и существование белорусского в ограниченных социальных рамках делают лингвистический элемент идентичности, которую транслирует власть, децентрализованным и до конца не определенным. Желание избежать определенности требует, однако, делегитимации не только «национального

языка» как признака белорусского этноса, но и деконструкции суждений «о едином происхождении современных белорусов».

Показательным здесь является систематическое использование (в частности, президентом в лекциях перед студентами) метафоры масштабного «кровосмешения» и описания Беларуси как «melting pot». Естественно, образ Беларуси как «плавильного котла» имеет мало общего с процессами реального этногенеза, но является важным элементом политической риторики режима. Политические цели метафоры «melting pot» очевидны: они отражают основообразующие структуры национальной идентификации власти. «У нас кровь настолько перемешанная...», «мы, белорусы, потому такие хитрые и умные, что белорус – это *букет кровей*». Упоминается, что Великое княжество Литовское, Речь Посполитая и Советский Союз развивались как многонациональные государства. Такое понимание природы белорусского противоречит даже концепту советской нации, которая признавала отдельное этническое происхождение белорусов.

«Среди черт белорусского характера выступает.. интернационализм, а не национализм». «Когда мы создавали наш гимн... я сказал: сделайте так, чтобы наш гимн звучал как гимн народа-интернационалиста»<sup>33</sup>. Чтобы понять идентичность власти, слово «интернационализм» здесь нужно понимать не в советской традиции (равенства/солидарности народов), а как практику *нации-между* (*интер-нации, меж-нации*), как состояние легитимной неопределенности и желание избежать глубокой и обязательной национальной идентификации. Традиционные для Восточной и Центральной Европы центры национальной идентичности – язык и общее происхождение – сублимируются политическими практиками режима. С крушением советского сознания на первое место, как и прежде в истории, выходят практики «тутэйшасці», до-национального и меж-национального, которые сочетаются с традиционным стремлением избежать определения содержания своей идентичности, артикулированием «неособенности» и «похожести» национально белорусского на *другое*. Для меж-нации ситуация двуязычия, точнее безъязычия (в смысле существования без национального языка), более естественна, как и нигилистическое отношение к каждому из национальных языков, которые по определению не могут быть самоценными для «тутэйшага» самосознания.

Интер-национальная метафора создана и для ответа на более важный с политической точки зрения вопрос: «Чем мы – русские и белорусы – отличаемся?» Концентрированным ответом власти будет – *практически* ничем. В результате «объективных причин, прежде всего экономических, и традиций мы практически один народ». Слово «практически» здесь центральное: *практически* ничем – значит, *ничем* не отличаемся, что имело бы *практическое* значение (экономическое, политическое etc.). Слово *практически* несет особую смысловую нагрузку для идентичности, отсылая к бесконечным нюансам бесполезной и неинтересной непохожести<sup>34</sup>. «Нормальная русскость» белорусского режима все больше сталкивается с ненормальной политической, экономической и культурной русскостью России, что



иногда вызывает искреннее непонимание и еще большее отчуждение. Дистанция между российскими «русскими» и белорусскими «русскими» неизбежно увеличивается, все более ставя под вопрос метафорическую «общность».

### Государство

Государство – единственный «центр», существование которого признается и насаждается режимом. Остальные возможные пункты концентрации сознания и власти – нация, язык, культуры и т. д. – последовательно делегитимируются политическими и культурными практиками режима. В отличие от «белорусского государства», его независимости и суверенитета, белорусская нация представляет собой достаточно смутную ценность для идеологии белорусского режима.

Если национальная (в смысле национально-культурная) идентичность «белорусской модели» направлена на максимальную неопределенность, то государственное самосознание проявляется открыто. И хотя единое понимание государственной традиции отсутствует, ценность «суверенитета и независимости», «нашего общего дома Беларуси» всячески подчеркивается и не ставится под вопрос. У нас «должно быть независимое государство», «мы должны развиваться независимо». Независимость обычно транслируется властью как бесспорная ценность, главное средство обеспечения государственных, национальных и народных интересов.

Такая «государственническая» риторика – явление относительно новое, наиболее открыто сформулированное после 2000 г., когда проект интеграции с Россией начинает терять свой политический капитал. Раньше, в середине 1990-х, само слово «независимость» (которое, казалось, звучало слишком «националистически») сублимировалось и заменялось на более политкорректное «суверенитет». Беларусь – «суверенная республика». Это вызывало устойчивые ассоциации с советской государственной традицией и БССР<sup>35</sup>. Теперь слово «независимость» выходит на первый план и приобретает все большее значение, даже для дискурса «идеологии белорусского государства».

Проект интеграции с Россией сохраняет свою актуальность, но приобретает иное звучание. Это обязательно *равноправный* Союз двух *независимых* и суверенных государств. «У нас, у белорусов, менталитет иной: для россиян не страшно, чтобы руководил иностранец (что в истории страны много раз было)» (с. 78). «Им не страшно, а мы должны сохранить свою землю», «мы готовы поделить суверенитетом, но на равных, чтобы и Россия делала то же». «Только права на равных – никакой “инкорпорации Беларуси”».

Допускаются и более показательные высказывания. Если равноправия не получится, «будем, стиснув зубы, терпеть, будем работать, как оно есть». Тут даже существование без Союза не выглядит как катастрофа, что еще 3–4 года назад означало отступление от государственной политики. Возможно, это только риторика, но то, что подобная мысль была озвучена, свидетельствует о многом.

Таким образом, у «слабой» идентичности власти есть одно «сильное» исключение – белорусское государство. Если на самых ранних этапах эволюции режима государственность рассматривалась только как средство для достижения целей, поставленных революцией 1994 г. (в том числе и проникновения на российский политический рынок), то позже государственность превратилась в единственное пространство существования режима. Теперь белорусское государство приобрело большое политическое значение, и где-то после 2001 г. началась выразительная идентификация власти с ним, постепенная мифологизация и возведение его в систему «устойчивых ценностей», если в нашем контексте о таковых можно вести речь.

Стремление избежать национальной и культурной идентификации является одним из признаков современного мира, когда выбор самосознания становится проблемным, а пределы привычной идентичности – размытыми. Тем не менее для Беларуси этот феномен имеет не столько новый, сколько традиционный характер, хорошо описанный еще в XIX в. Культурные практики направлены на максимальное распыление идентичности и лишение ее выразительного центра, на место которого может претендовать только государство.

Иногда те, кто искренне любит белорусскую культуру и язык, весьма холодно относятся к белорусскому государству. С другой стороны, часто люди, преданные идее независимости Беларуси, не понимают, зачем «цепляться за колхозный, наполовину мертвый язык». Можно было бы назвать эту идентичность «гибридной» или, с легкой руки В. Абушенко, «креольской», если бы не непростительная неопределенность этих понятий для белорусского контекста. Гибридность предполагает наличие двух «чистых» первоначальных типов, которые потом образуют некую «смесь», «синтез» и т. д. «Креольскость» требует поиска центра, периферии и миграционного движения. Выявление и первого, и второго при внимательном исследовании сталкивается со значительными концептуальными трудностями.

### ***Национальная/государственная символика***

В 1995 г., когда рвался на сувениры бело-красно-белый флаг на здании Администрации президента, то уничтожались остатки политического проекта «возрождения», который, казалось, воплощал основную угрозу дестабилизации для нового режима. Когда молодежь в 1995–1996 гг. жгла красно-зеленые флаги, срывала их со столбов во время демонстраций и снимала с официальных зданий, это было также политическим действием противостояния режиму и «оккупации». Постепенно, однако, новая символика начала восприниматься не как символ оккупации, а как неправильный белорусский символ, переставший иметь конкретное политическое значение, тем более что уже целая генерация выросла, зная только его.

Новая символика становится частью идентификации, средством репрезентации не только и не столько режима, сколько Беларуси. Это отношение можно сравнить с

отношением к символике БССР, которая могла восприниматься как «неправильная», но одновременно была важным элементом национального самоотличия.

Красно-зеленый флаг теперь – это «неправильный» белорусский символ. Не-правильный, но белорусский, и все менее советский.

Власть легитимирует новую («советскую, как ее некоторые называют») символику через «народ» и «закон». «Если менять символику, с которой наши предшественники жили, трудились и воевали, то мы должны были посоветоваться с народом. Я дал возможность людям определиться» – провел референдум. Теперь все должны уважать эту символику, потому что это закон, как это делал и сам президент в 1994 г, целуя бело-красно-белый флаг во время инаугурации. О переводе аргументации в «правовую» сферу дополнительно свидетельствует снижение политической и эмоциональной насыщенности «спора о символах».

## ***Х. Генеалогия режима***

*В 1995 году все лежало в руинах.*

А. Лукашенко

Несмотря на подобную риторику, мы не можем говорить о прямой преемственности советского режима в современной Беларуси. Это, я думаю, очевидно для всех, кроме внешних/иностранных аналитиков, которые приспособились все подводить под собственные схемы. Революция середины 1990-х не стала ни «возвращением имен», ни «возвращением к матери»<sup>36</sup>. Для создания собственной генеалогии режим значительно чаще использует противопоставление «хаосу начала 1990-х» – именно из этого «хаоса» он и возник.

Образ «начала 1990-х» – образ системообразующий, с которого начинается истинное «нормальное» формирование белорусского государства. Режим действительно выводит свою генеалогию из 1994–1996 гг. и, естественно, не имеет никакого желания хоть как-нибудь отождествлять себя с первыми годами независимости. Президент точно определяет возраст «нашего государства» – 1995 г. (год первого референдума и формирования «вертикали власти»). По логике идеологических схем, 1990–1994 гг. – стихия разрушения, национальной вражды, экономического коллапса, политической анархии и предательства. Эпоха «демократии», «независимости» (обязательно в кавычках, ибо речь здесь не может идти об истинных демократии и независимости, которые персонифицирует режим) – предательский план, ставший кошмаром. Обычная позиция представителей системы: именно так происходило в те времена, но я (мы) не имею к этому отношения, «оппозиция» (то есть «те-кто-теперь-в-оппозиции») – они в этом виновны, мы были последним бастионом «здорового смысла» против «реформаторского», «националистического», «либерального» etc. безумия. При этом многие из аппарата режима занимали то-

гда высокие посты и до сих пор вспоминают те времена как «золотой век», «когда можно было многое».

«Думаю, многие помнят, какая разруха была в середине 90-х, к сожалению, не только в материальной базе, но и прежде всего в головах, образе жизни» (?! – А.К.). «Поэтому мне многое позволено, и вы не имеете права на меня обижаться». Такая синтаксическая конструкция начинает выстраивать специфическую логику мышления, которая выходит далеко за рамки споров о том, что было на самом деле, и составляет фундамент стратегии управления. Удивляет, насколько сильна еще апелляция к демократической власти периода 1991–1994 гг. Срок существования нынешнего режима в три раза превышает время «демократии», но апелляция к этому достаточно отдаленному периоду имеет в дискурсе власти все еще большое значение.

Вот несколько наиболее важных бинарных оппозиций, на которых современный режим выстраивает свою генеалогию:

- распродать, остановить крупные предприятия, отдать власть криминалу и коррупции или навести порядок во всех структурах государственного управления;
- бросить без государственной поддержки образование, науку, медицину или сохранить сильную государственную политику;
- остаться с парламентской анархией или выстроить эффективную вертикаль власти с персональной ответственностью;
- пойти в националистическом направлении или обеспечить социально-политическую стабильность.

Такие оппозиции встречаются во всех текстах выступлений президента и говорят о многом.

Акт становления нового режима легитимируется не только состоянием «хаоса», но и «народной поддержкой». Народ якобы самостоятельно выявил свою приверженность новому режиму и новой Конституции на референдуме. Более того, разрешение конституционного кризиса в пользу президента «было единственным средством избежать насилия», так как «уже некоторые оружием “бряцали” да на силовые меры провоцировали».

Корпоративным единством новый режим не обладал, как и не имел собственной команды из-за отсутствия у президента опыта бюрократической и аппаратной работы. Власти для прихода «новой», амбициозной бюрократии было достаточно, но «что-то его удерживало от ошибок». Теперь режим считает своей заслугой, что не стал «резать по живому и менять всю власть», «там было много талантливых, годами шлифовался опыт. Это ядро осталось, и прежде всего в экономике». Часть «новых людей» сбежала из правительства, остальные занялись идеологией, кадрами и правом. Те, кто не должны были «быть у власти», ввиду своих «предательства и нечестности» (это касалось и старой, и новой элиты), стали «деструктивной оппозицией».

«...Потом был референдум. Потом мы барахтались, как-то выкарабкиваясь, используя старые кадры... тогда была проблема и мы ее решили». Примерно так выглядит краткое самоописание белорусским режимом собственной генеалогии.

Таким образом, свою генеалогию режим начинает где-то в 1994–1995 гг. Риторика власти систематически подчеркивает, что Беларусь только начала складываться как государство. «Мы, как и другие страны СНГ, не имели традиций государственности. В советские времена мы были “окраиной”, “провинцией” и, естественно, не имели того, что должно иметь государство».

В отличие от большинства стран региона, которые различными путями пытаются углубить свою историю, белорусским властям этого не нужно (вся риторика о «традиции белорусского народа», «корнях» и т. д. имеет абстрактное, а не конкретно историческое содержание, точнее, это содержание умышленно аисторично). Еще важнее следующее (особенно для внешнего наблюдателя): режим не выводит своей генеалогии из советской системы, хотя и подчеркивает свою символическую лояльность к ее опыту. *Новый режим* – это усмирение послесоветского хаоса, а не жизнь *mos maiorum*<sup>37</sup> советского политического и экономического строя, как это часто (и, на мой взгляд, совершенно безосновательно) описывают отечественные СМИ, а также российские и западные аналитики.

## ***XI. История и ее будущее***

*Если бы кто-то хотел доказать, что история – это лишь игрушка в руках тех, кто с нею играет, то он мог бы взять в качестве примера Беларусь и Украину.*

Даниэль Бовуа

История является важным элементом национальной идентичности: «Накопленный народом исторический опыт должен творчески использоваться для укрепления нашей молодой государственности, для решения задач прошлого и современности». «Беларусь – страна по историческим меркам молодая, но наш народ имеет многовековую историю». Битва за историю, точнее, за историческую память, в Беларуси насчитывает уже несколько веков, даже в современной Беларуси такая борьба имеет свой насыщенный событиями сюжет, достаточно вспомнить, сколько раз переписывались учебники по истории за последние 13–14 лет.

Политические силы относились и относятся к истории очень внимательно, ища здесь не только средство формирования массового сознания, но и источник «сакрального» для общества. Интерпретация истории в дискурсе власти испытала в последнее время определенные изменения, но в основном они касаются разной расстановки акцентов, а не коренного пересмотра.

Доминантной до сих пор остается концепция триединого русского народа и общерусского происхождения нашей государственности<sup>38</sup>. Концепции общерусской народности, языка, самосознания, государства («основанного на сильной княжеской власти») воспринимаются как аксиомы. Это даже служит наивной аргументацией в пользу исторических истоков двуязычия в Беларуси.

Интеграция исторического и культурного наследия ВКЛ в исторический канон власти происходит медленно, хотя определенный прогресс в этом процессе налицо. Русские земли оказали «упорное сопротивление» расширению ВКЛ, а Полоцкое и Витебское княжества неоднократно бунтовали против властей княжества. ВКЛ – государство, в общем-то, чужое, и его нельзя считать *собственно* белорусским, хотя можно считать *до определенной степени* белорусским. Примерно такие формулы определяют статус ВКЛ в историческом каноне официальной власти. Особое внимание уделяется утверждению православной идентичности, своего рода мифа об «особой верности белорусов православию», которое «сохранялось и укреплялось на протяжении столетий», что нельзя считать исторической правдой (достаточно вспомнить реформацию, два века доминирования унии и современную религиозную индифферентность).

Естественно, что присоединение к России было позитивным фактом (белорусский народ спасли от шляхетской анархии), а восстания против России – лишь движением «чужой по духу» для белорусского народа шляхты.

БНР – не государство, а БССР – колыбель белорусской независимости. Репрессии 1930-х гг. белорусов практически не затронули, «так как в Беларуси были хорошие руководители, которые... всегда защищали народ».

Культивируется ряд других исторических мифов: белорусы никогда не были завоевателями, всегда ориентировались на принципы социальной справедливости. Кроме того, весь исторический путь нашего народа отмечен созидательной деятельностью. Все это сочетается с ритуальным разоблачением «исторических фальсификаций» идеологических врагов, их тайных симпатий к «полякам» и русофобии.

Таким образом, перенят советский исторический корпус с некоторыми «добавками» риторики независимости и суверенитета. Хотя порой все это получает неожиданный «патриотический» разворот типа: «Меня глубоко возмущает и как историка, и как главу государства, когда Беларусь отождествляется то с Великим княжеством Литовским, то с Польшей, то с Россией. Мы должны гордиться тем, что создал и чем был славен наш белорусский народ, а не его исторические соседи», – где проступает стремление очистить белорусское достояние от внешних напластований.

В основном белорусский режим ищет свою легитимацию не в исторической традиции, а в современности и прежде всего в политических и социальных практиках последних 8–10 лет. Он позиционирует себя как систему с короткой генеалогией, что можно считать политически полностью оправданным.

Как бы ни сложилось *будущее* Беларуси, еще не факт, что оно станет *историей*.

2004 г.



## Примечания

- <sup>1</sup> «Изобретая Восточную Европу» – книга посвящена возникновению образа «Восточная Европа» в европейской культуре эпохи Просвещения.
- <sup>2</sup> Дискурс Конституционного суда теперь совсем иной и затрагивает исключительно юридические вопросы.
- <sup>3</sup> Достаточно вспомнить периодические селекторные совещания, где происходит символическое насилие над бюрократией и разными государственными службами.
- <sup>4</sup> Начинают употребляться понятия «либеральный террор», «глобализация» и др.
- <sup>5</sup> Политические события 2005-2006 гг. несколько ломают эту логику, поскольку текст анализирует атмосферу более раннего периода.
- <sup>6</sup> Основными элементами идеологии определяются: Конституция, белорусская политическая модель, белорусская экономическая модель, идеологическая доктрина/национальная идея.
- <sup>7</sup> Такой имидж до определенной степени был создан на постсоветском пространстве, где Беларусь (особенно среди разного рода некоммунистических движений) воспринимается как страна сохраненного социализма. Что касается остального мира, то – к счастью или к сожалению – Беларусь не имела и практически не имеет никакой известности за западной границей.
- <sup>8</sup> Беларусь может говорить о том, о чем остальные могут только молчать.
- <sup>9</sup> Для понимания этого достаточно почитать Бжезинского или понаблюдать за работой структур типа местного IRI.
- <sup>10</sup> Ибо Беларусь не настолько развращена, как соседи, и смогла сохранить свою сущность.
- <sup>11</sup> Появление в 1994 г. или даже в 1998 г. книги типа «Белорусская модель развития» даже представить сложно, в то время как теперь это стало чуть ли не темой номер один для дискурса власти.
- <sup>12</sup> Достаточно вспомнить, сколько раз прогнозировался коллапс и тотальный кризис белорусской экономики. Такие предсказания появились еще в 1995 г.
- <sup>13</sup> Приоритеты для государства определены популистские – экспорт, жилье и продовольственные товары. В иной интерпретации – промышленность, социальная защита и сельское хозяйство.
- <sup>14</sup> **И, ди** – нецивилизованные племена на север и восток от собственно Китая, **ся** – цивилизованное население Китая.
- <sup>15</sup> У нас до сих пор нет ни одного более-менее системного исследования бюрократической системы Беларуси.
- <sup>16</sup> «Дела идут плохо, центр нельзя удержать, море анархии растекается по миру» (Уильям Батлер Йейтс).
- <sup>17</sup> Инфляция в первоначальном смысле – расширение, разбухание.
- <sup>18</sup> Пример Журавковой свидетельствует, что полная лояльность и доверие со стороны президента безопасности не гарантируют.
- <sup>19</sup> Например, из материалов встреч Лукашенко с региональным активом в 2001 г. можно сделать вывод, что от коммерсантов «тоже есть польза», но эта польза не самоочевидна.
- <sup>20</sup> Те, кто не попал в первую, «привилегированную» категорию.
- <sup>21</sup> Президент время от времени говорит, что «очень жесткая». «Но власть у нас действительно очень жесткая. Присутствуют даже элементы авторитаризма, я согласен».

- 22 В свое время это действительно воспринималось как главная политическая угроза.  
23 Лояльность – это, прежде всего, лояльность поведения, а не сознания. Преданности  
«идее режима» никто не требует, первичным является лояльность как функция.  
24 На этом построена логика идеологической работы.  
25 Социологи обычно, анализируя «массу», говорят о «шизофрении» общественного  
сознания. Идеологизированная аналитика ИСПИ при администрации президента  
пытается маргинализировать и сублимировать внутренние непохожести, «оппози-  
ционная аналитика» стремится такие непохожести разоблачить.  
26 Хотя таких ментальностей можно выделить и три, и четыре.  
27 Такая ситуация характерна также для ряда других стран региона – Украины (мало-  
россы vs украинцы) и Молдовы (молдаване vs румыны).  
28 См., в частности: Радзiк Р. Прычыны слабасцi нацьятворчага працэсу беларусаў у  
XIX–XX ст. // Беларускі гістарычны агляд. Т. 2. Сш. 2. 1995.  
29 Национальная идентичность власти – это идентичность, которая основывается на  
определенном понимании «национального» и транслируется, по выражению Аль-  
тюссера, в идеологический аппарат государства – систему образования, политиче-  
ские структуры, СМИ и т. д.  
30 Такое стремление «белорусизировать» русский язык похоже на процедуры «деколо-  
низации» английского языка в бывших колониях Британии.  
31 Язык, таким образом, является не столько средством коммуникации, сколько нацио-  
нальным символом.  
32 Подробнее см.: Казакевич А. Пра калонію // Палітычная сфера. № 1. 2001.  
33 Таким этот гимн и получился – максимально аморфным и невыразительным. По  
крайней мере, из предложенных версий гимна выбрали ту, которая меньше всего  
подходила для его статуса.  
34 Именно в таком контексте русский язык можно называть «инструментом наших зна-  
ний». Каков инструмент, таковы и знания.  
35 Существовала даже определенная оппозиция слов «независимость» и «суверени-  
тет». «Независимость» соотносилась с национальной традицией понимания начала  
государственности от БНР, «суверенитет» – от БССР.  
36 Консервативные версии революций. «Возвращение имен» – социальный проект  
Конфунция, «возвращение к матери» – так назывались реформы в шумерской цивили-  
зации.  
37 Лат. «по обычаю предков».  
38 В одном из учебников по идеологии идет речь даже про «общероссийские (!?)  
корни» белорусской государственности – это уже полный идиотизм.

## **ИДЕНТИЧНОСТЬ «НА...». Перформанс народа/нации на белорусском телевидении**

*Когда ты смотришь в бездну, бездна смотрит в тебя.*

Ф. Ницше

*Не только ты смотришь в телевизор,  
но и телевизор смотрит в тебя.*

Ж. Бодрийяр

С чего начинается родина?

«С картинки в твоём *телевизоре*».

Точнее – с «картинки» на телеэкране, но вовсе не в букваре.

Именно так сегодня должен быть скорректирован ставший уже традиционным тезис о важности процессов визуализации в системе советского патриотического воспитания, который был вполне правомерен в период наибольшего распространения книжно-печатной продукции. Однако он уже не соответствует специфике современной ситуации, где явно преобладают аудиовизуальные и электронные средства информационной связи, хотя при этом по-прежнему не подвергается сомнению приоритет визуальных образов над вербальными. Поэтому вовсе не случайно, что в результате активной информационной политики двух республиканских телеканалов БТ-1 (Белорусское Телевидение – 1) и ОНТ (Общественное Национальное Телевидение), внедривших в массовое сознание новые образы Беларуси, сегодня мы имеем возможность сравнивать совершенно разные телевизионные «картинки» нашей страны. Это могут быть преисполненные галлюциногенного вдохновения пейзажи болот и лесов, населенных редкими, исчезающими видами растений, животных и насекомых, – как образы матери-природы, вызывающей к нам с мольбой о помощи посредством социальной рекламы. Или наоборот – вызывающий прогрессистский восторг

гиперурбанизированный ландшафт в духе масштабных застроек новых кварталов в столичных микрорайонах. В конце концов, это может быть все что угодно, так или иначе соотносимое с образом нашей страны, независимо от накладываемого государством вето на саму возможность установления референции в этой сфере и фиксацию имени «Беларусь» по отношению к произвольно выбираемым объектам.

Но, безусловно, наиболее впечатляющим, приобретающим эпическую мощь и размах на правах официальной атрибутики образ Родины предстает перед многомиллионной телеаудиторией в видеороликах на мотив государственного гимна Республики Беларусь, демонстрируемых в начале и при завершении трансляций на каналах БТ-1 и ОНТ. Именно здесь, возведенные в ранг государственной символики (посредством национальных флага и герба), образы родины становятся в сознании нации «монументальными и незыблемыми» и могут рассматриваться в качестве одного из самых удачных образцов пропагандистского влияния на процессы формирования коллективной идентичности. В данной ситуации особую значимость приобретают исследования специфики социально-психологических и культурных механизмов формирования национального самосознания, в числе которых безусловным приоритетом обладают средства массовых коммуникаций. Сегодня, когда информация становится главным стратегическим ресурсом, именно масс-медиа играют решающую роль в образовании коллективных представлений, формировании общественного мнения и структурировании массового сознания в целом. В связи с этим особый интерес отечественных и зарубежных исследователей вызывает феномен телевидения, которое в силу своего распространения, а также комплексного, интегративного характера, объединяющего свойства многих средств коммуникации (печати, радио, кинематографа), обладает наибольшим эффектом влияния на публичную сферу [см. 13]. При этом телевидение может рассматриваться не только как технический инструмент манипуляции общественным мнением, но и как специфическая социальная технология, позволяющая реализовать проект унификации информационного (социального) пространства на основе некоего «воображаемого» единства и согласия в обществе [см. 15].

Именно такого рода проект осуществляется в данное время на белорусском телевидении посредством демонстрации указанных видеороликов с национальной символикой при исполнении государственного гимна Республики Беларусь. Эта телевизионная продукция используется в качестве «заставок», задающих формат трансляции и сам режим работы указанных каналов, а также их содержательную и тематическую ориентацию на укрепление государственной идеологии. Однако этим функциональный диапазон данных «видеоклипов» не исчерпывается, и дальнейший анализ особенностей организации их визуального материала откроет нам возможности его использования в качестве определенной социальной технологии, позволяющей произвести «сборку» различных социальных представлений о национальной идентичности и тем самым сконструировать ее как единое целое. Перефразируя Б. Андерсона, можно сказать, что соединение идей «пост(нео)социа-

лизма» и современных технологий визуализации создало предпосылки для отхода от последствий «печатного капитализма» (с романом и газетой как основными типами массовой коммуникации) и «сделало возможной новую форму воображаемого сообщества, базисная морфология которого подготовила почву для современной нации» [1, с. 69], точнее – для конструирования ее образа в процессе репрезентации нации как *вида* «воображаемого сообщества».

Именно с этой целью создается экранное зрелище, в котором образ нации представлен как некое шоу, необходимое не только для осуществления определенного этапа информационной политики, но и его легитимации в качестве социального проекта по «производству» коллективной идентичности. Данный проект, начало реализации которого связано с распадом СССР и возникновением на политической карте мира суверенной Республики Беларусь, был инициирован белорусским государством в силу необходимости обозначения им своей собственной позиции в качестве субъекта международных отношений. Он сразу оказался в ситуации конкуренции с двумя предыдущими гранд-проектами белорусской идентичности и поначалу преподносился как альтернатива по отношению к ним. Первый проект, который можно условно обозначить как *генетический*, разворачивался в качестве возможности обоснования генезиса национальной идентичности, начиная с Великого княжества Литовского и в контексте формирования европейских наций, одной из которых могут считать себя и белорусы. Второй проект, связанный с возникновением СССР и господством марксистской идеологии, в которой субъектом исторических и социальных изменений считается класс, а не нация, потребовал формирования над- или транснациональной коллективной идентичности в контексте идеи «советского интернационализма». Этот проект был *модернизационным* по отношению к предыдущему и выдвинул на первый план понятие народа как общности, стирающей национальные различия и межклассовые противоречия.

В 1991 г. достижение суверенитета потребовало фиксации четкой позиции и самоопределения Беларуси не только в качестве автономного государственного образования, но и единой коллективной общности. Однако необходимость осуществления конкретной стратегии формирования национальной идентичности стала осознаваться далеко не сразу и поначалу ограничивалась лишь проблемой выбора: воспользоваться ли каким-то из двух предыдущих проектов или же создавать абсолютно новый? Решение этого вопроса затянулось на более чем десятилетний срок, в течение которого руководство республики никак не могло определиться со своей позицией и четко обосновать необходимость «национальной идеи». И лишь появление на первом национальном телеканале ролика с исполнением государственного гимна Республики Беларусь в духе советских традиций вроде бы окончательно поставило все точки над «и»: налицо была *реанимация* советского проекта, в котором место «советского народа» занял «белорусский народ», призванный объединить в себе все нации и народности в границах собственной территории.

В этом клипе государственный гимн исполнялся большой группой людей под аккомпанемент военного оркестра, зимним вечером на склоне холма у Кафедрального собора города Минска. Телевизионная камера медленно проезжала вдоль первого ряда исполнителей, показывая их лица крупным планом или произвольно выхватывая отдельных персонажей, которые не выделялись каким-то особым образом: это была однородная, недифференцируемая толпа в темной одежде, не позволяющей подчеркнуть какие-либо уникальные отличительные признаки составляющих ее индивидов. Здесь речь шла скорее о массе, нежели о народе, поскольку никакие национальные признаки не были представлены, а имелись лишь флажки в руках у людей как символы их государственной принадлежности. Такой подход в визуальной репрезентации народного единства, вероятно, был сочтен не очень удачным, поскольку вскоре появился новый вариант – второй видеоклип, где исполнение гимна происходит в ярко освещенной студии, исполнители четко дифференцированы по национальным и сословным признакам благодаря своей одежде (национальные костюмы большинства народностей, проживающих на территории республики), в результате чего они воспринимаются как представители различных культур и национальных меньшинств, составляющих основную часть населения Беларуси. Кроме того, наличие разных возрастных и половых групп, семейных и профессиональных сообществ, которые представлены здесь достаточно четко, позволяет увидеть в данном варианте белорусской нации образ гетерогенной мультиэтнической общности, неоднородной по своему составу.

В таком варианте визуальной репрезентации, который можно считать образцовым, наиболее аутентичным и едва ли не дословным вариантом «экранизации» текста гимна, современная Беларусь предстает как наследница советской доктрины интернационализма, поскольку вмещает в себя, помимо белорусской нации, также и другие национальности: русских, украинцев, поляков, евреев и пр. Поэтому в данном случае речь идет, скорее, о формировании визуального/виртуального образа не нации, но *белорусского народа*, в котором сами белорусы являются лишь одной из многих этнокультурных групп «трудолюбивой, свободной семьи» в составе этого наднационального образования – «братского союза народов». Подобного рода «пилотная» телеверсия исполнения государственного гимна стала закономерным итогом политики реставрации советского наследия, которая вполне очевидно проявляется в тексте самого государственного гимна Республики Беларусь и составляет его идейную основу, не позволяя нам забыть о прошлом и способствуя его эксплуатации нынешней властью в качестве символического ресурса для обоснования всей социальной и национальной политики.

При этом «продвигаемая» на белорусском телевидении «советская тема» как область нормативного единства «всех» вводится в залог ее потери, в модальности прошлого, ностальгических воспоминаний об утраченном и вины за эту утрату – своего рода сплочение через отсылку к отсутствующему. Избавление от неприятного чувства раздвоенности и неуверенности, потери ориентиров и себя самого



в подобной ситуации возможно лишь тогда, когда негативные значения ответственности за случившееся переносятся на образы чужих, соблазнительей, врагов, а позитивное восстановление связи со «всеми», с целым воплощается в фигуре воображаемого «спасителя». «Символическая (мифологическая) функция избавителя, фигуры в своих истоках архаической, характеризующей традиционное или традиционалистское сознание, собственно и состоит в устранении угрозы вторжения в мир, жизнь, сознание социума и его членов чего бы то ни было чуждого и чужого» [7, с. 225]. Поэтому за «веселыми картинками» разборок с оппозицией (а также с американцами как «пособниками оппозиции»), демонстрируемыми белорусским телевидением, постоянно ощущается неясное, но вполне осязаемое присутствие фигуры Президента Республики Беларусь, выступающего гарантом стабильности и спокойствия нашей жизни на всех каналах государственного телевидения.

Однако, несмотря на достижение цели и, казалось бы, успешную реализацию политики визуального представительства в телевизионном имидже белорусского народа различных наций и народностей (причем именно так, как об этом и описывается в самом гимне), в варианте исполнения гимна от БТ-1 остается нерешенной проблема, связанная с тем, что в условиях современной культуры «наше ухо сегодня уже испорчено либо мелодичностью, либо поп-ритмами и не воспринимает народной музыки, которая возвышала и объединяла людей ритмом, а также вооружала против наркотического опьянения мелодией. Героическая тональность разрушается в наше время. Требуется новый баланс ритма и мелодии, ибо тот, кто его не найдет, не сможет совершить ничего героического» [9, с. 506]. Решению этой сверхзадачи препятствуют возникающие чисто технические затруднения, связанные, скорее, с особенностями именно такой стратегии визуальной репрезентации. Они обусловлены спецификой использования человеческих ресурсов и при демонстрации на телеэкране сразу становятся очевидны: актеры лишь имитируют пение, не вовремя открывают рот, двигают глазами вслед за бегущей строкой или вообще не делают ничего и т. д.

В подобной ситуации каждому зрителю бросается в глаза, насколько добросовестно (профессионально) исполнитель справляется с отведенной ему ролью. Ведь непосредственно перед актерами (прямо за спинами оркестрантов, стоящих лицом к певцам) был поставлен большой экран, на котором транслировался текст гимна крупными буквами. Исполнители сразу оказывались в ситуации неопределенности, где от их выбора зависела убедительность создаваемого образа как имиджа нации, а значит, – и успех всего проекта в целом. Выбор же заключался в том, чтобы следить за движением «бегущей строки» (точнее, появлением новых слов на экране) и прилежно петь, *полностью повторяя* подсказку «телесуфлера», либо игнорировать ее и *петь самому*, полагаясь на собственную память и рискуя в какой-то момент забыть слова и сбиться с общего ритма. Ответственность превалирует над компетентностью и подавляет ее: малейшее изменение в направлении взгляда (движении глаз, следящих за буквами) сразу становится заметно, любое колебание и сомнение

воспроизводится крупным планом, транслируется на всю республику и компрометирует мероприятие в целом. Если случится сбой, публика уже не сможет доверять общей «картинке», видя в певце всего лишь статиста – случайного человека, не соответствующего исполняемой роли, взявшегося за столь ответственное дело, но даже не удосужившегося выучить слова гимна. Тогда возникает скептическая отстраненность, провоцируется неверие в пафос всеобщего единства, который призван объединять не только показанных людей, но и тех, для кого они поют. Ведь «героические песни – своеобразные монументы великим людям – образовывали соносферу, соединяющую людей. Современная музыка – это голос сирен, а не муз. Наоборот, песни о героях обращены к последующим поколениям, это призыв героев к своим потомкам. Ухо, благодаря героической песне, прислушивается к зову бытия. Лейтмотивом гимнов являются магические такты и звучания, сохранившиеся в первичной памяти. Эти архаические волшебные мелодии были зовом небес. Повторяя их, я сам начинаю звучать и я такой, как я звучу... Песня – это обещание, в ней звучит мир» [9, с. 503–504].

Видимо, с учетом этих принципиальных недостатков, которые никоим образом не могут быть устранены окончательно и указывают на «тотальный кризис» репрезентации, превращающий ее в симуляцию, создавался видеоролик на другом канале белорусского телевидения. В этом варианте представлена совершенно иная, альтернативная версия исполнения государственного гимна Республики Беларусь, которая решает сразу две ключевые задачи: во-первых, она демонстрирует отказ от политики *репрезентации* как таковой (с ее заменой на режим радикальной *символизации*) и, во-вторых, трансформирует «народный» образа страны в направлении «национального». Так появляется ролик ОНТ, где основной акцент делается на работе с национальной символикой, а актеры в роли профессиональных певцов-«исполнителей гимна» не используются вовсе. В качестве основных средств визуализации здесь выступают фрагменты государственного герба Республики Беларусь (звезда, знамя, колосья пшеницы, претерпевающие ряд метаморфоз в режиме плавного движения при изменении ракурса видения). В структуре клипа можно выделить достаточно четко эксплицируемое соотношение вербального и визуального компонентов в виде нескольких основных сегментов. Так, в период звучания всего первого куплета гимна нам демонстрируется государственный герб Республики Беларусь, представленный в одноцветном, «позолоченном» варианте. Все его детали рельефа равномерно покрыты золотой краской, что еще больше подчеркивается далее, когда в начале исполнения припева происходит плавное движение верхней части герба, показанного крупным планом и уходящего по диагонали в левую часть экрана и далее, за пределы видимости. Постепенно он сменяется столь же крупно демонстрируемой верхней частью наконечника древка, где развевается государственный флаг Республики Беларусь, который, в свою очередь, сменяется вновь уже уменьшенным вариантом герба, плавно отодвигаемым в правую верхнюю часть телеэкрана.

Следующий сегмент составляет красная звезда, показанная средним планом и медленно вращающаяся вокруг своей оси в течение всего второго куплета. Во время этого припева ее вновь сменяет «микс» из верхней части герба, его полное изображение и наконечник флага, а под аккомпанемент третьего куплета начинается третий сегмент, в котором осуществляется «сборка» уже «канонической» модели герба в полноцветном варианте: красная звезда постепенно обрамляется лепестками цветов и зелеными побегами, сквозь которые «прорастают» золотистые колосья пшеницы, завершающие процесс «озеленения» золотого герба. При этом покрывающиеся свежей зеленью позолоченные атрибуты государственности представлены в различных ракурсах в процессе постепенного увеличения отдельных частей и уменьшения целостного изображения, что позволяет предельно детализировать сам процесс трансформации.

Тем самым основным конститутивным элементом визуальной составляющей данного сообщения, его базовым символом в качестве центрального элемента всей смысловой конструкции становится звезда: в первом и втором сегментах она выступает в качестве основного элемента герба, во втором куплете демонстрируется как автономный образ, а во время исполнения припевов включается в состав наконечника флага, обрамленная в его верхней части каплевидной золотой рамкой. Именно наличие в видеоролике звездной символики (которой отведено крайне незначительное место в самом гербе, где на ее долю приходится не более десятой части общей поверхности всего изображения, а на государственном флаге для нее и вовсе не нашлось места) позволяет с достаточной долей уверенности говорить о явном присутствии советских мотивов в данном варианте визуализации белорусского гимна, что подтверждается и на официальном уровне [6, с. 21]. Красная звезда становится здесь кодом символической маркировки («стигмой» или «клеймом» нашей сопричастности советскому прошлому), активизирующим представления о «народе», но в то же время выступающим в качестве универсального символа, использование которого с позиции Э. Геллнера можно трактовать как стремление к унификации и стандартизации коммуникативных практик, подготавливающих почву для прихода национализма [см. 5]. В результате возникает существенная проблема на концептуальном уровне, связанная с противоречием между визуальным и вербальным аспектами репрезентации: созданный образ совершенно очевидно превышает объем понятия нации, раздвигая семантические границы «национального» и обращаясь к «народному» через отсылку к «советскому», но при этом провоцирует его осмысление в контексте национальной проблематики, реализуя стратегию не репрезентации, но символизации. «Символизация» здесь предстает в качестве высокотехнологичного метода, очищенного от антропологического материала, что позволяет обойтись минимальными средствами в переходе к экономному режиму визуализации и избежать вопросов об «адекватности» выбранных актеров, их соответствии роли «представителей белорусской нации», успешном или карикатурном

исполнении этой роли, а также прочих издержках, неизбежно связанных с «человеческим фактором».

Но главное достижение ОНТ заключалось в том, что канал предъявил текст государственного гимна Беларуси, выводя его на телеэкран в режиме титров (как это делается в популярном у непрофессиональных любителей пения аттракционе «караоке»), и тем самым заставил ощутить себя в качестве исполнителей гимна уже непосредственно самих телезрителей. Такой прорыв не мог не оказать своего влияния на конкурирующий телеканал, и вскоре БТ-1 делает ответный ход: в эфир выходит новый (уже третий по счету!) ролик, созданный по принципу «радикального монтажа» и формально представляющий собой настоящий видеоклип. В него вошел традиционный набор «картинок» на темы Беларуси (аист в небе, комбайн в поле, ветераны на параде и т.д.), которые представляется вполне возможным также подвергнуть процедуре сегментации, но уже через тематические блоки. Так, достаточно четко вычлняются такие сегменты, как сопровождающий исполнение первого куплета «технократический» блок, куда включены образцы технических достижений, в основном в области тяжелого машиностроения (комбайны, тракторы «Беларусь», колонна грузовых «МАЗов» на параде, сталелитейный цех); при исполнении второго куплета его сменяет «военный» блок (барельеф на обелиске минской площади Победы, театральная постановка «Площадь Победы», группа ветеранов на параде, хроника военного времени и т.д.). Далее возникает тема мирного времени и развлечений (эпизоды из музыкального фестиваля «Славянский базар» в Витебске и фестиваля национальных культур в Гродно), затем идет «исторический» блок с видами Несвижского и Мирского замков, его сменяет блок «спортивный», посвященный участию белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх 2004 г. (делегация на церемонии открытия игр, спортсмены, добившиеся титула олимпийского чемпиона, флаги над стадионом) и пр. Эти блоки разграничиваются «классическими» эпизодами с парящим в небе аистом, «модернизационным» аналогом которому выступает другой эпизод, не менее часто возникающий в промежутках между блоками и дезавуирующий устойчивый мотив решительной победы и на атмосферном фронте, в котором альтернативой белорусской флоре и фауне служит вертолет с национальным флагом, открывающий «воздушную часть» военного парада в 2004 г., посвященного шестидесятилетию освобождения Беларуси. Следуя этой логике, в следующем варианте «экранизации» гимна должна будет возникнуть тема покорения космоса, тем более что такие притязания (запуск белорусского спутника на околоземную орбиту) уже неоднократно озвучивались властью, свидетельствуя о ее стремлении выйти из (воз)душного в без(воз)душное пространство.

Таким образом, тематические вариации образов, представленных как визуализация государственного гимна на БТ-1, организуются весьма произвольно и «скрепляются» воедино лишь наличием текста гимна. В итоге теперь оба канала перешли на визуализацию/вербализацию текста гимна Беларуси в режиме работы по принципу «караоке», хотя его техническая реализация в том и другом случае существенно от-

личается: на ОНТ представлен вариант, аналогичный показу титров, завершающих кинофильм, где указываются имена всех, кто так или иначе принимал участие в его создании (актеры, продюсеры, технические работники и пр.), причем «подсказка» работает в виде «бегущего огонька», подсвечивающего нужное слово именно в тот момент, когда его надо петь, а на БТ-1 «караоке» реализован в виде отдельных строк гимна, последовательно возникающих на телеэкране и сменяющих друг друга в процессе их исполнения. Почему же именно такая форма представления государственного гимна стала преобладающей на обоих белорусских телеканалах?

Ответ, вероятно, заключается в том, что, «будучи изначально мазохистски окрашенным развлечением для перегруженных работой, живущих в постоянном стрессе японских бизнесменов, караоке стало всемирно распространенным видом перформансного искусства с участием зрителя, распространившись по миру подобно эпидемии» [2, с.142]. Точно так же и мы должны забыть о тяготах повседневности и, озвучивая мелькающие на экране слова, «раствориться» в патриотическом экстазе единения со всей поющей аудиторией. Более того, петь в данном случае даже не обязательно (скорее и нежелательно, поскольку пение разбудит соседей, мирно спящих в столь ранний или поздний час). Для виртуального приобщения к перформативно организуемой общности всего белорусского народа достаточно мельком взглянуть («пробежать взглядом») несколько строк, поскольку подразумевается, что каждый из нас в этот момент делает то же самое. Ведь любая массовая аудитория формируется именно тогда, когда подключается к источнику сообщения и существует в качестве таковой лишь в процессе потребления информации, транслируемой по данному каналу. Именно в этот момент она объединяется в единое целое и существует в режиме «перформативного» образования, реализуя самим фактом своего возникновения некоторый акт перформанса.

Понятие перформанса наиболее востребовано в сфере современного искусства, где под ним понимается акция-представление, проводимое публично одним либо несколькими исполнителями (перформерами) в присутствии зрителей, которые зачастую также могут вовлекаться в действие. Перформанс требует наличия более или менее четкого сценария (или, по крайней мере, определенной концепции), а также единства времени и действия, поскольку он осуществляется всегда «здесь и сейчас», в данной конкретной ситуации и особой атмосфере, объединяющей исполнителя и зрителей на волне эмоционального, иногда – экстатического воодушевления. Использование измененных состояний сознания сближает данный вид деятельности с архаическими шаманскими практиками и традиционными спиритуалистическими ритуалами. Осуществляемая акция, как правило, фиксируется с помощью кино- и фототехники и в дальнейшем может быть использована в качестве архивных материалов либо демонстрироваться также как особого рода представление, требующее соответствующего восприятия, но не предполагающего непосредственного участия зрителей. В случае с белорусским телевидением и осуществляемым им перформансом на уровне национального самосознания мы имеем дело именно с такого рода

«вторичной переработкой» ситуации, которая, однако, подается как уникальная и воспринимается каждый раз заново. Она требует постоянного воспроизводства для устойчивого закрепления создаваемого образа – ведь, как точно подметил Э. Ренан, «жизнь нации – это ежедневный плебисцит».

В результате, выступая как телеаудитория, в процессе просмотра видеороликов государственного гимна Республики Беларусь мы вовлекаемся в провокативно задаваемую ситуацию, которая моделируется нормативно, но воспринимается перформативно. Трансляция гимна не просто побуждает нас к самоопределению, осознанию себя единой общностью, она приглашает принять участие в обсуждении предлагаемых или совместно создаваемых целей и ценностях. И делает это не мотивируя свои действия, а, скорее, соблазняя возможностью непосредственного участия в нем, которое воспринимается тем не менее как опосредованное и потому не требующее никаких дополнительных усилий. Чтобы принять участие, не нужно *действовать* – скорее, нужно *не действовать*. Ведь в современных условиях «действователю стало почти невозможно не вызывать взаимодействия. Даже молчание или невмешательство “обставляется” смыслом, толкуется, а последствия этого бездействия относятся на счет действующего, так как они тоже могут считаться вмешательством» [11, с. 72]. И для этого не требуется никакого волевого усилия: вполне достаточно просто оставаться в роли пассивного потребителя информации с экрана и не переключаться на другой канал, одним словом – не трогать кнопку.

Таким образом, мы имеем дело с перформативно реализуемой идентичностью, которая конструируется в режиме караоке при осуществлении процессов просмотра-чтения-пения в рамках трансляции гимна. При этом образ народа/нации, предложенный нам белорусским телевидением в виде перформанса, предполагает, во-первых, что каждый из нас независимо от нашего желания является непосредственным участником разыгрываемого спектакля; во-вторых, ощущает себя частью коллективной общности, солидаризируясь с остальными исполнителями и разделяя с ними ответственность за продолжение шоу, а в-третьих, принимает на себя определенную роль и соответствующие ей обязательства, включаясь в игру по заданным правилам. Вместе с тем предлагаемая нам идентичность отягощена явной неопределенностью и проявляется как «мерцающая» идентичность – то ли это «белорусский народ», вмещающий в себя все нации и народности, проживающие на данной территории, то ли «нация белорусов», титульно доминирующая над всеми остальными этническими группами в данном регионе.

Перформативный характер такого рода коллективной идентичности проявляется также и в том, что она может быть локализована лишь «здесь и сейчас», в конкретном месте и времени, вне и помимо которых ее просто не существует. Другими словами, мы осознаем себя единым народом или нацией, пока работает телевизор. Тем самым предполагается возможность реализации проекта «дистанционно управляемой» идентификации в объеме территории, на которую распространяется влияние масс-медиа, точнее – в объеме полного вещания на волнах аудио- и видеосиг-



нала каналов БТ-1 и ОНТ при осуществлении телевизионной трансляции в расчете на охват как можно большей, «потенциально массовой» аудитории. Но в масштабе республики этот проект опирается на фантазматическую («воображаемую») объектность, создаваемую в условиях квазитопологии и псевдотемпоральности. «Воображаемое» фактически означает «конец репрезентации», точнее – невозможность ее осуществления ни в какой иной форме, кроме политической стратегии: нет никакого объекта отображения (народа или нации как таковой), его еще только предстоит создать как проект, который и может быть реализован в виде перформанса.

Получаемое в итоге воображаемое симулятивное образование можно условно обозначить как «идентичность “На...”» по аналогии с известным «generation “П”» В. Пелевина. В такой номинативной конструкции идентичность каждый раз будет восприниматься по-разному в зависимости от изменения ракурса видения и способности ее понимания, но при этом постоянно (по-)ссылаться на три буквы, составляющие смысловую основу при переходе («мерцании») от «народа» к «нации». В качестве пресловутых трех букв соответственно будут выступать «...род» в случае «белорусского народа» и «...ция» в случае белорусской нации. Остается лишь наладить этот механизм коллективного самосознания от на(рода) к на(ции) как «переключатель» при смене режима идентификации, чтобы можно было одним щелчком осуществлять процедуру опознавания самого себя через соотнесение с «на...» в зависимости от ситуации.

Специфика этого процесса заключена в том, что в нем стираются различия между «я», «мы» и «они», поскольку «при размытых границах происходит идентификация с местом представления» [10, с. 217]. Это означает, что идентификация «случается» именно там, где «происходит» репрезентация. Тем самым «отношения между индивидами и группами, поведение, мотивации не просто *недостижимы* для нас, но *невозможны сами по себе* вне категории воображаемого» [8, с. 181]. Поэтому мы можем осознать себя коллективным целым/телом только там и тогда («здесь и теперь»), где и возникает данное событие – перформанс нации/народа. В нашем случае это становится возможным в момент («во время») трансляции по телевидению видеоклипа гимна. Однако когда «я» смотрю (по первому национальному телеканалу), как «они» поют, то все «мы» еще не становимся единой нацией, поскольку «я» осознаю если не дистанцию, то хотя бы различие между «собой» как зрителем и «другими» как исполнителями, а потому в состоянии противопоставить себя им. Но когда «я» читаю текст, мелькающий на телеэкране по ОНТ (а теперь и БТ-1), то невольно занимаю позицию исполнителя гимна, даже не считая себя таковым, и за счет этого приобщаюсь к перформативной коллективности нации, ее виртуальной и симулятивной целостности. «Моя» автономная идентичность похищена масс-медиа и присвоена коллективным носителем национальной «автохтонности» посредством символической проекции в виде «картинки» на экране.

В таком случае исполнители гимна и телезрители как определенные социальные группы, подвергнутые в рамках «господствующей идеологии» направленному

символическому кодированию (*стигматизации*), становятся заложниками логики, ориентированной на то, чтобы «стигматизированные группы принимали свои стигматы за знаки своей идентичности» [4, с. 229]. Так происходит конструирование образа «народного/национального» единства как «продукта воображения», что предполагает реализацию определенной стратегии «торможения» процесса идентификации на следующих этапах:

- *смена ракурса* (отказ от визуального образа народа на БТ-1 и работа в режиме караоке, заимствованном у ОНТ);
- *присвоение взгляда* (переход от взгляда со стороны Другого ко взгляду самого участника события, непосредственно вовлеченного в процесс исполнения гимна);
- *похищение идентичности* (среди множества возможных ролей выбирается одна и осуществляется принудительное отождествление с ней).

В итоге позиция «взгляда извне» (зрителя как стороннего наблюдателя, безучастного к происходящему) подменяется/отождествляется с позицией «взгляда изнутри» (непосредственного участника в качестве исполнителя гимна) и может расцениваться как идеологическое принуждение к фиксированной идентичности.

Возможность идеологического конструирования четко фокусируемой «точки зрения», присущей той или иной социальной позиции, обеспечивается тем, что «в определенном смысле мир социального раскрывается как мир представлений. Представление есть образ чего-либо в сочетании с кредитом общественного доверия к этому образу; признание образа равносильно признанию обозначаемого. Это представление можно описать как: (1) отражение в сознании людей дифференциаций общества, в котором они живут; подобные представления организуют схемы восприятия, оценки, принятия решения, иначе говоря, не только отражают социальные отношения, но и структурируют социальную практику этих людей; они «функционально задействованы»; (2) символическое – через те же образы – предъяснение обществу своей социальной позиции, борьба за «свой образ» и, значит, за признание своего общественного положения; такое представление можно назвать «созданием образа»; (3) «вхождение» в «уже созданный» образ, т. е. институционализированные формы представления некоего социального качества в индивиде; это то, что делает его «представителем». В такой несколько неожиданной перспективе социальную позицию допустимо рассматривать как непосредственный продукт борьбы представлений – тех, кто представляет свое социальное качество, и тех, кто способен квалифицировать (верить или не верить). В таком случае социальная позиция выступает как объективизация общественного доверия к навязываемым обществу представлениям» [12, с. 77].

Таким образом, регистр возможностей представления существенно расширяется за счет последовательной смены (подмены) не только самого объекта, но и технологических режимов, или техник представления: вербальный текст становится визуальным, а графический режим репрезентации (чтение) заменяется акустическим (пение). И это совершенно не случайно: именно пение (караоке) как акт

перформанса объединяет даже атомизированную (индивидуализированную) аудиторию, образуется «перформативное социальное» (Р. Хойслинг) и происходит телегенез нации через преодоление разобщения массовой аудитории, ее мобилизация для создания «новой коллективности», компенсирующей утраченную советскую коммунитарность. В этом случае «условием образования Я является не отражение в зеркале, а слуховой, вокальный образ. Слушая песню, человек заключает пакт со своим будущим, принимает и ждет другого как друга, ожидание встречи с которым и подогревает музыка. Ортопедия гимна состоит в призыве к сверх-Я. Многие мечтают о выступлении на больших площадках именно потому, что надеются на такую встречу. Побеждает тот, кто исполняет свой гимн» [9, с. 507].

Интересно, что на БТ-1 гимн первоначально воспринимался лишь в качестве декорации или музыкального сопровождения процессов визуализации, выступая символическим средством репрезентации самого белорусского народа как единой, хотя и разнородной, общности. Затем, после показа ролика по ОНТ, антропогенный антураж на первом национальном телеканале оттесняется на задний план, сменяется интроспективной проекцией государственной символики с внешнего (теле)экрана на внутренний «экран» сознания. И теперь и на БТ-1, и на ОНТ репрезентируется (визуализируется) лишь сам гимн в декорациях герба и флага Республики Беларусь. Сегодня это единственный объект репрезентации, а нация и народ становятся продуктом «чистого воображения». При этом ОНТ предлагает стратегию «визуальной интериоризации», в процессе которой мы должны «войти внутрь» символа (государственного герба) и полностью раствориться в нем под звуки государственного гимна, одновременно растворяя его в нашем «я». Это проект тотальной символизации коллективного сознания, его переплавки в «на...ое» в процессе непрерывного и торжественного заполнения пустоты «чистой формы» герба. Путем медитации на отдельных фрагментах символа мы должны осуществить их ментальную сборку в единое целое и за счет этого наполниться живительной полнотой самосознания – от чего зацветут колосья пшеницы на гербе, смягчая казенный блеск позолоты и намекая на скорое наступление эпохи изобилия и процветания.

БТ-1, наоборот, предлагает политику «экстраполяции субъективности»: вынесение «внутреннего» вовне, его закрепление и символическую фиксацию в рамках коллективных представлений о сущности народного или национального как множественности возможных интерпретаций. Однако, поскольку из кадра исчезает «демонстративное представительство» различных наций и народностей, само понятие «народа» ставится под вопрос и появляется возможность возрождения «национального». При этом диффузную локализацию гетерогенных субъектов идентичности телеканал заменяет фрагментацией отдельных образов в формате видеоклипа и на таком материале, который просто невозможно поместить в рамки какой-либо единственной и неповторимой версии. В результате универалистское представление о групповой солидарности производится и воспроизводится в режиме эксцентричности, реализуясь во множестве образов этноса уже не как совокупность

различных народностей, но как совокупность различного рода совместной деятельности – труд и отдых, будни и праздники.

Идеологическая «интерпелляция» (С. Жижек) становится тем единственно возможным эмоционально окрашенным фоном, на котором удается разыграть единство и целостность нации или народа как универсального конструкта коллективного воображения. При этом публика вовлекается в действие и «спонтанно» разыгрывает представление «на...», участвуя в нем уже одним фактом своего со-присутствия, пусть даже лишь в качестве телеаудитории, «поскольку социализация повсеместно измеряется именно количеством получаемой информации. И тот, кто уклоняется каким-либо образом от получения информации, полагается асоциальным» [3, с. 42]. Именно визуализация своего отражения позволяет достичь аудитории полной самореализации и «совпасть» с собой, обозначив воплощение своего «Я» в присутствии «Другого» на телеэкране. Зрелище народа/нации как представление или «спектакль» в данном случае является, вероятно, единственной возможностью организации (на столь высоком уровне) интерсубъективности во взаимоотношениях между агентами социальных практик, целиком локализованной в пространстве символической репрезентации (артикуляции) и претендующей на эффективное функционирование механизмов социального контроля и управления.

При этом телевизионный проект перформативного генерирования «на...» предполагает «конституирование коллективной идентичности, способной артикулировать связь с многообразными воображаемыми сигнификациями» [14, р. 174], реализованными в различных визуальных образах. Однако интермедialная констелляция образов приводит к сингулярному эффекту восприятия всего происходящего на экране как некоей симуляции. Идентичность становится принципиально незавершенной и начинает приобретать характер случайной и непредсказуемой «перманентной» идентификации, что совершенно недопустимо с точки зрения идеологии, предпринимающей все возможные усилия для замены процессов *констелляции* как «(взаимо)сочетаемости» на *интерпелляцию*, понимаемую в данном случае как «взаимозависимость». Однако предоставленных в распоряжение телеаудитории символических ресурсов для опознания себя в качестве народа или нации оказывается избыточно много для эффективного завершения процесса коллективной идентификации.

В итоге «мы имеем дело с разрывом между несколькими уровнями и типами идентификации, поведения, коммуникаций. По крайней мере, между двумя: инструментально-адаптивным повседневным поведением в малых сообществах (семья, друзья, соседи, товарищи по работе) и демонстративно-символическим – применительно к воображаемому большому целому, “обществу”, нации или по отношению к фигурам, представляющим это целое, высший авторитет, более высокую норму. Это означает, что в качестве наиболее обобщенных и базовых в структуре общества здесь институционализированы (универсализированы, рафинированы и пр.) не практические значения индивидуального действия, самостоятельного достижения

как основополагающего социального качества, формы социальности, основания социальных связей и оценок, а символические значения общей и повсеместной (тотальной) солидарности, принадлежности к аскриптивному или квазиаскриптивному целому – территориальному, родовому, кровному, требующему в ответ демонстративной лояльности, подчеркнуто правильного поведения. В любом случае, эти последние отношения, как и символы, воплощающие их фигуры (например, старшего по возрасту или отца-вождя), жестко отмечены как приоритетные, более высокие, сильные» [7, с. 228-229].

И это можно расценить как неудавшуюся реанимацию советского проекта: несмотря на сохранение внешне «советских» декораций в самой символике белорусской государственности, она теперь не закрепляется за какой-либо конкретной социальной группой или общностью, которая возьмет на себя миссию воплощения в ней духа «нации» или «народа». Неопределенным остается прежде всего сам статус данного типа идентичности, который мы смогли бы достаточно четко опознать как «белорусский». Это перформативная, перманентно развивающаяся («пульсирующая» или «мерцающая» от нации к народу и обратно) идентичность, возникающая непосредственно в точке (топосе или месте) представления. Этот топос – «место перед телевизором», в котором позиция зрителя всегда уже ограничена ракурсом видения, но «размыкается» проекцией поливариативности в акте интерпретации.

В итоге визуальное конструирование национального/народного тождества производится не в формате «единственности» и «уникальности», но, скорее, в форматах «множественности» и «неопределенности» или даже случайности (сингулярности). Несмотря на все идеологические усилия, в итоге идентичность как «самость» нации и народа оказывается сомнительной и остается принципиально незавершенной, как бы вывернутой «наизнанку», подвергаясь жесткой бомбардировке частицами из электронно-лучевой трубки кинескопа.

PS. Не забудьте выключить телевизор!

## *Литература*

1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.
2. Аппиньянези Р. Знакомьтесь: постмодернизм. СПб., 2004.
3. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция (реферат В. Фурс) / *Философия эпохи постмодерна*. Мн., 1996. С. 32–47.
4. Бурдые П. Назначение «народа» / *Начала*. Choses dites. М., 1994. С. 222–230.
5. Геллнер Э. Пришествие национализма. Мифы нации и класса // *Путь*. 1992. № 1. С. 9–61.
6. Герб, флаг и гимн Белорусской державы. Мн., 2004.
7. Дубин Б.В. Массовые коммуникации и коллективная идентичность // *Интеллектуальные группы и символические формы: Очерки социологии современной культуры*. М., 2004. С. 217–231.

8. Касториадис К. Воображаемое установление общества. М., 2003.
9. Марков Б.В. Человек в эпоху масс-медиа / Информационное общество. М., 2004. С. 452–507.
10. Пригов Д.А. Где наши руки, в которых находится наше будущее? // Вестник новой литературы. 1992. № 2.
11. Хойслинг Р. Перформативное социальное / Социальные процессы как сетевые игры. Социологические эссе по основным аспектам сетевой теории. М., 2003. С. 66–83.
12. Шартье Р. Мир как представление (реферат И. Дубровского) / История ментальностей, историческая антропология. М., 1996. С. 74–78.
13. Fiske J. Television Culture. L.; N.-Y., 2003.
14. Kalivas A. Norm and Critique in Castoriadis Theory of Autonomy // Constellations: an International Journal of Critical & Democratic Theory. 1998. Vol. 5 № 2. P. 161–182.
15. Television: the critical view / Ed. By H. Newcomb. N.-Y., 2000.



## **МОЕ ВИДЕНИЕ БЕЛАРУСИ**

О Беларуси тяжело писать объективно. Слишком велико разнообразие признающихся там ценностей (часто прямо противоположных), а также тенденций, проявляющихся в общественных настроениях, как в отношении к внутренней ситуации в стране, так и к внешней ее политике. Читатель получит разное изображение этой страны в зависимости от того, на что будет опираться автор, что он увидит в первую очередь (власть, оппозицию, бездеятельную или активную часть общества и т. д.). Необходимо серьезно вдумываться в прошлое и настоящее страны, чтобы избежать слишком упрощенных, часто мифологизированных, односторонних представлений о Беларуси и ее людях, которые еще можно нередко встретить не только в обзорной информации масс-медиа, но и в некоторых текстах, претендующих на научность.

Многие факторы, отличающие Беларусь от других стран, происходят из ее геополитического положения между Востоком и Западом, которое диктует своеобразные законы, а также из исторического опыта многовекового существования в границах больших государственных структур: от Великого княжества Литовского и Речи Посполитой через присоединение к российской империи в результате раздела Речи Посполитой. После Октябрьской революции и неудачной (вследствие известных политических условий и слабой поддержки со стороны самих белорусов) попытки создания самостоятельного государства Белорусской Народной Республики, провозглашенной 25 марта 1918 г., Беларусь снова была включена в рамки большой государственной структуры – Советский Союз и полностью подчинена общей внешней и внутренней стратегии этого политического образования. Жители западной части современной

Беларуси в результате Рижского мира (18.III.21) на непродолжительное время (межвоенное двадцатилетие) оказались в Польском государстве. Разделение народа на две части – советскую и польскую – было отрицательно воспринято белорусским обществом. В Польше белорусское национальное движение, как правило, левое, поддерживавшееся извне советскими эмиссарами, воспринималось как коммунистическая угроза. По этой причине последовательно ограничивалось преподавание на белорусском языке и были развеяны надежды на белорусскую культурную автономию. В то время в Польше, вышедшей из почти полуторауголовной неволи, преобладала политическая позиция, ориентированная на построение однопольского государства, что предусматривало возможность полонизации белорусского меньшинства. Не считая группы активистов, белорусы в Польше воспринимались не столько в национальных категориях, сколько в общественных и религиозных (православные крестьяне). Многое указывает на то, что в межвоенное двадцатилетие были недооценены ни важность развивающихся национальных устремлений белорусов и их требований в области национального образования и культуры, ни угроза нарастающего чувства общественной обиды. В настоящее время та позиция оценивается как полоноцентричная и ошибочная (подобные мнения, правда изредка, высказывались и ранее).

А вот на востоке в первые годы после создания Белорусской Советской Республики заботились об институциональном развитии науки и культуры. Появился Белорусский государственный университет, был создан Институт белорусской культуры, основа будущей Академии наук Беларуси, развивалось белорусскоязычное издательское движение. Правда, все это продолжалось недолго, и в 30-е гг. после смены национальной политики в СССР начались репрессии, за время которых многие деятели культуры и науки были уничтожены или лишены свободы и работы. В той «чистке» погибли или были посажены в тюрьмы многие простые люди, которых посчитали «кулаками», «шпионами» и «врагами народа». Для репрессий достаточно было польского происхождения или какого-либо, часто надуманного, контакта с Польшей. Польскость воспринималась властями исключительно враждебно. Официальная белорусскость свелась к ономастике, фасадным вывескам и узкому полю культурной (один белорусскоязычный театр в Минске) и исследовательской (в первую очередь фольклор и народные диалекты) деятельности. Вся идеология воспитания и труда, возможности получать образование и научные степени, организация отдыха и тому подобное были направлены на формирование в СССР монолитного советского народа, говорящего по-русски и отличающегося друг от друга только внешними атрибутами. Необходимо признать, что та советская модель по социальным причинам попала в Беларусь на весьма благодатную почву. Преобладающая часть общества – крестьяне, которые из-за бесцеремонных действий по основанию колхозов и из-за буйно развивающейся советской индустриализации (особенно после Второй мировой войны) массово переселялись в города, воспринимала иммиграцию как несомненное улучшение социального статуса. Хотя перемены давались

нелегко, они требовали не только другого стиля жизни, но и перехода с родного белорусского диалекта на русский язык. В белорусских городах давно говорили в основном по-русски, по-польски и по-еврейски (на идиш), а в советское время, по словам моих собеседников, в городе не терпели никакой «деревенщины», которая выделялась в первую очередь через белорусский язык. Доступ к образованию, социальная опека, недостаток национализированности в современном понимании, несформированная историческая память (самоидентификация – «тутэйшыя») и, прежде всего, вездесущая советская пропаганда, умело развивающая чувство гордости за принадлежность к гражданам Белорусской Советской Республики, – заслонили осознание испытываемых обид. Страх перед репрессиями власти закрывал рты семьям преследуемых. Я знаю историю одного человека, который только после распада СССР из опубликованного в газете списка реабилитированных граждан Беларуси узнал о настоящей судьбе своего отца. Мать воспитывала сына, говоря, что отец просто умер. Люди приспособились жить в подобных условиях. Тяжелый опыт, в том числе Второй мировой войны, выработал в белорусах (особенно живущих в деревнях) внутреннее примирение с трудными условиями или, правильнее сказать, с постоянными испытаниями. Отсюда и известная поговорка: «лишь бы не было войны».

Наблюдаемая сегодня в Беларуси ностальгия по временам Советского Союза, равно как и тенденция к эмиграции из страны, появилась прежде всего из-за разрушения централизованно управляемой советской экономики, которую не смогли заменить ни соответствующие реформы, ни организация партнерского сотрудничества нового типа в рамках Содружества Независимых Государств. Это привело к росту экономических трудностей и нищеты среди большей части населения. Не стоит пренебрегать и психологическими источниками этой ностальгии, которые, правда, проистекают из совершенно разных причин. Среди бывшей партийной верхушки, например, и клана директоров больших промышленных предприятий недовольство возникает из утраты привилегированной позиции; среди ветеранов Второй мировой войны преобладает сожаление о великодержавной, по их представлениям, родине, победу которой над гитлеризмом они имеют право переживать как свою собственную.

Сейчас на пессимистические настроения многих граждан Беларуси накладывается осознание экономической и политической зависимости от России и неверие в собственные силы (комплекс малой ценности белорусского, о чем речь будет идти дальше) как итог длительного воспитания в безоговорочном послушании власти и отсутствия, до недавнего времени, собственной государственности, а также бессилие по отношению к господствующему в стране авторитарному управлению.

Недостаток традиций государственности серьезно повлиял на отношения граждан к появившемуся после распада Советского Союза самостоятельному государству – Республике Беларусь, – которое как бы «свалилось» на них. Поэтому для большей части жителей оно не стало ценностью, для сохранения которой не жаль

усилий. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что за десять с лишним лет белорусской государственности уже появился собственный класс политиков, дипломатов и бюрократии, как и определенная гордость от ощущения государственной независимости, особенно среди интеллигенции и молодежи.

Появление государственности, как неоспоримой ценности для белорусского народа, на начальном этапе смогла оценить главным образом оппозиция, сосредоточенная вокруг Белорусского Народного Фронта и его лидера Зенона Пазыняка, обратившаяся к опыту Белорусской Народной Республики (сюда можно отнести и некоторых представителей центральных и региональных властей с лидером парламента Станиславом Шушкевичем во главе). Благодаря этой группе парламентариев было принято решение о названии государства и о национальной символике, берущей начало в традициях Великого княжества Литовского – герба Погоня и бело-красно-белого флага, а также о правовом статусе белорусского языка как языка государственного. Был также разработан проект реформы самоуправления, который, однако, не удалось провести через парламент. Выразительным показателем торможения инициатив белорусской демократической оппозиции в Верховном Совете Республики Беларусь было непроведение в 1992 г. референдума о досрочном выборе в парламент, хотя соответствующие условия (Белорусским Народным Фронтом было собрано необходимое количество подписей) были выполнены. Отстранение Станислава Шушкевича с должности председателя парламента (январь 1994) оказалось следующим шагом в том же направлении. Президентские выборы, принятие Конституции (15.03.1994), дающей президенту полномочия главы государства и исполнительной власти, были подготовлены под запланированную победу Вячеслава Кебича, бывшего тогда премьером, приверженца тесного экономического союза с Россией. Победа на выборах Александра Лукашенко (10.07.1994) была, конечно, сплетением разнородных факторов, но она может рассматриваться и как выражение сопротивления выборщиков коррумпированной советской номенклатуре и ее политике. Выборная кампания депутата Александра Лукашенко, опиравшаяся на популистские антикоррупционные лозунги, не направлялась какой-либо партией, что говорит о слабости политических сил, появившихся после распада КПБ.

Автор статьи не намеревается пересказывать хронику всех политических событий, пусть даже и существенных для сегодняшней ситуации в стране. Причины неоднозначности общественного мнения (острая критика на равных с подчеркиванием заслуг) более чем десятилетнего правления президента Лукашенко, факты, связанные с его авторитарным стилем руководства, интерпретации и экспертизы как белорусских, так и зарубежных исследователей известны всем заинтересованным. Стоит однако отметить, что после поражения объединенной оппозиции в очередных президентских выборах (4–9.09.2001) среди белорусских общественных элит усилились тенденции к определенной маргинализации существовавшей до тех пор бинарной системы власть – патриотическая национальная оппозиция в связи с появлением третьей силы разнородного происхождения, в том числе и из

кругов, близких действующей власти (напр., «Белорусская перспектива» – В. Тригубович, или «Товариства Ведаў. Філаматы» – В. Голубева и А. Хадыки). Все эти движения, имеющие своей целью развитие страны и изменение жизни граждан, воспринимаются властью враждебно и поэтому имеют ограниченные возможности общественного воздействия.

\*\*\*

Я с большим интересом слежу за смелой молодой белорусской публицистикой и эссеистикой, преимущественно гуманитарной. Стараюсь регулярно читать «Нашу Ниву» (ред. Андрей Дынько) и «Arche» (ред. Валер Булгаков). Ранее следила (пока выходили) за «Фрагментами» (ред. И. Бобков). Заинтересовал и новый журнал «Перекрестки» (№1–2, 2004), интересно задуманный Игорем Бобковым и Павлом Терешковичем (на русском языке). Знакомство с этими изданиями поддерживает мое убеждение в том, что, несмотря на неблагоприятные условия и отток за границу активных и творческих фигур (политическая и научная эмиграция), в интеллектуальной сфере в Беларуси происходит много интересного<sup>1</sup>. Литературный белорусский язык может быть полноценным средством выражения политической, общественной, научной и художественной мысли, хотя в Республике Беларусь он был почти вытеснен русским языком из повседневного обихода и официального общения. Существует достаточно большой процент людей с глубоким, а не номинальным или территориальным белорусским самосознанием. Однако большая часть граждан (и не только крестьяне) далека от полной национализации, а свою самоидентификацию связывает с названием страны, в которой живет; с любовью к земле, к своей деревне, с ее пейзажем и стилем жизни, в значительной степени подчиненным традиционному календарю религиозных праздников и полевых работ, а также связанным с этим обычаям; с восприятием каждой власти (за исключением, может, колхозной) как явления далекого от них, на которое они не имеют влияния, то есть в принципе – безразличного.

Мое многолетнее знакомство с Беларусью опирается на различные, дополняющие друг друга способы ее познания: от научной стажировки в Минске и неоднократных диалектологических и социолингвистических исследований белорусской деревни до положения Генерального консула и посла Польской Республики в Республике Беларусь в знаковые 1991–1995 гг., а также участие в культурной жизни страны (музыка, театр, промышленные и художественные выставки) и в обычной жизни знакомых и друзей. Все это выросло в настоящую симпатию и уважение к тем людям, которые в тяжелых условиях экономических трудностей и политического давления смогли сохранить радость жизни, взаимную приязнь, творческие устремления и веру в Беларусь.

Поэтому я болезненно воспринимаю последнее десятилетие белорусской государственности как годы, в определенной степени потраченные впустую. Вместо того чтобы организовывать и укреплять современное гражданское общество через структурные и экономические реформы, развивать национальную культуру, быть открытыми миру и особенно соседям и тем самым крепить международный имидж, власти Республики Беларусь проводят политику, не достойную ее общества.

Могла бы ситуация в Беларуси развиваться иначе? Боюсь, что нет и что проблема здесь не только в президенте. В Беларуси, в России и в других постсоветских государствах слишком велик был шок после распада Советского Союза, а силы, желающие сохранить *status quo ante*, еще оставались слишком сильны, чтобы можно было рассчитывать на проведение необходимых реформ и реализацию независимой государственной жизни. Насколько это трудное дело – радикальная государственная трансформация, мы сейчас видим в Польше, которой многое удалось и где стремление к обретению полной самостоятельности было почти всеобщим независимо от политических сил. Подобную ситуацию мы наблюдаем в Литве и в других балтийских странах, которые перед Второй мировой войной были самостоятельными государствами.

\*\*\*

Оставим оценку степени зависимости Республики Беларусь от России политологам и экономистам. Как гуманитарий и исследователь культуры остановлюсь на историческом и психологическом аспектах белорусско-российских отношений, которые, по моему мнению, не всегда соответственно интерпретируются, особенно за пределами Беларуси. Повсеместно распространено убеждение об очень сильной русификации белорусов – на это опираются некоторые западные политологи, отождествляя Беларусь с Россией и политически игнорируя белорусскую своеобразность. Уровень русификации действительно велик. Слишком долгим был период воздействия на белорусов российской администрации и культуры (царская и коммунистическая империи), как и престиж этой культуры, чтобы не оставить после себя глубоких следов. Однако речь здесь идет не только о так называемой русификации. Я думаю, дело в том, что в белорусах сосуществуют два одновременно противоположных свойства. С одной стороны, важное для их самоидентификации чувство общности с русскими<sup>2</sup> (восточнославянская языковая близость, православие, обычно определяемое как русская вера, общие советские структуры – экономические и государственные, – в результате чего выработался стиль жизни, дающий ощущение большей близости, чем в отношении к другим народам, например Западной Европы, и т.д.), с другой стороны, присутствие отчетливого культурного и ментального, а вместе с тем и самоидентификационного отличия от россиян. В какой-то из своих статей я уже цитировала одно из многочисленных высказыва-



ний моих белорусских собеседников на тему их самоидентификации. Это знаменательное предложение, сказанное зрелым мужчиной, эмоционально и убежденно: *да пускай русскі мой брат, но мой брат – это же не я!* Белорусы не отождествляют себя с россиянами. Но, напротив, есть множество примеров, как трудно россиянам признать отличие и самостоятельность Беларуси. Миф «Северо-Западного края России» слишком глубоко засел в их мышлении, чтобы его не переносить и на нынешнее время. Тем более что современная Беларусь, несмотря на ее непредсказуемость, является для россиян слишком ценной стратегической территорией, чтобы отказываться от нее.

Культурное отличие белорусов от россиян наблюдается в самых различных сферах. Отчетливо оно видно в сакральной архитектуре и в сельском строительстве, элементах украшений, воротах и оградах, размещении сельскохозяйственных построек и т.д. Церковный стиль XVI в. (напр., Сынковичи, Можейково, Новогрудок) весьма отличается от церковного стиля периода российской империи («муравьевки») и современной церковной архитектуры, копирующей великорусский стиль. Также отличаются оборонные церкви (например, в д. Камаи). Историки искусства трактуют этот стиль как «синтез западноевропейской формы и восточного содержания», который бытовал на территориях Великого княжества Литовского. Стоит процитировать одно из них дословно: «На значительных территориях государства, которое составляли земли польские, русские и литовские, продолжалось беспрестанное перетекание людей и идей, приводящее к тому, что невзирая на национальность и вероисповедание его жителей в кровообращение культуры страны входили одни и те же элементы, создавая в результате новое, общее качество. Значительное место в нем занимали идеи, привнесенные приезжими с запада Европы, которые без сомнения задавали тон в области пластического искусства, особенно в архитектуре и скульптуре» (М. Каламайская-Саид).

\* \* \*

Появление нового культурного региона в границах Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, наследие которого, несмотря на огромное количество изменений государственных и административных границ (и конституционных различий), мы ощущаем и сейчас, касалось всех областей культуры, но прежде всего языка и литературы. Не вдаваясь в подробности, напомним, что в Великом княжестве Литовском, государственном организме, состоящем из разных этнических групп, было создано уникальное коммуникативное сообщество людей, которые дома разговаривали на разных языках.

Из понятия коммуникативного сообщества, введенного Л. Заброцким и охотно используемого лингвистами, следуют две не исключающие друг друга возможности. С одной стороны – сближение воздействующих друг на друга этнолектов, которые

в итоге становятся взаимопонимаемыми и могут использоваться в одном и том же разговоре, с другой – выбор одного из существующих в пределах государственной структуры языков как главного средства официальной коммуникации. Этот второй аспект в нашем случае является существенным, в частности для литературного языка и в общем для языка высоких сфер. Как известно, функции письменного, в том числе и канцелярского, языка в Великом княжестве Литовском до середины XVII в. выполнял язык, берущий начало в староцерковнославянской письменной традиции, использующий кириллический алфавит и в большей или меньшей степени староцерковнославянские принципы правописания. В традиционную церковнославянскую письменность в западнорусской редакции постепенно проникло так много элементов местного разговорного языка и этот язык, представленный в разных стилях, настолько отошел от южнославянского первоисточника, что определяется исследователями как западнорусский или старобелорусский. Уже на этом историческом уровне мы видим выразительную разницу языковой ситуации ВКЛ и Речи Посполитой, с одной стороны, и московской Руси – с другой. Согласно мнению российского ученого Бориса Успенского, в ВКЛ существовали параллельно два языка письменности: староцерковнославянский (называемый современниками – славянский) и русский язык, то есть старобелорусский, приближенный к разговорному. В Московской Руси церковнославянский – это язык высокой, книжной культуры, до времен Ломоносова использовавшийся во всех письменных стилях, находящийся в диглосийном отношении с российским языком (диглоссия – это разновидность двуязычия с конкретным, общественно сложившимся разделением функций каждого из языков).

Разница в языковой ситуации в Западной Руси и Московской Руси касается не только отношений между языком староцерковнославянским и родным, то есть двуязычности и диглоссии, но проистекает в значительной степени из того, что западнорусские территории, а особенно северозападнорусские, которые являются предметом нашего интереса, были как минимум от XIII в. многоязычными (западнорусский, белорусский, староцерковнославянский, литовский, польский, латинский, идиш, языки оседлых татар). Московская Русь такого многоязычия в то время не знала.

Известный факт постепенной языковой полонизации литературы на белорусских землях и длительного сосуществования в рамках польского коммуникативного сообщества повлиял также на многочисленные польские заимствования в белорусском языке, а также на создание определенных общих языковых нововведений, неизвестных великороссам. До нашего времени это сказывается в сравнительно легком языковом взаимопонимании белорусов и украинцев с поляками, в то время как даже высокообразованные россияне подчеркивают сложность восприятия этих языков.

Можно перечислить много примеров культурной разницы между белорусами и россиянами. Несомненно, стоило бы использовать мнения фольклористов, от-

мечающих глубину и архаичность аутентичного белорусского фольклора, его специфику и разнородность; заняться обрядовостью и сосредоточить внимание на различиях, происходящих из согласного существования в Беларуси нескольких вероисповеданий. Но всю эту глобальную проблему невозможно осветить в одной статье. Я отмечу только еще два бросающихся в глаза отличия: российское чувство величия и общественной консолидации вокруг идеи Великой Руси (единой и неделимой) и белорусское чувство униженности и отсутствие объединяющей национальной идеи, а также в основном (за некоторыми исключениями, к счастью, проявляющимися все чаще) – безразличии к тому, что выходит за их индивидуальные потребности собственного мирка. Подобную мысль в эссе «Мы и Россия» излагает Валентин Акудович, когда утверждает: «Откровенно говоря, белорусам вообще нет никакого дела до всего остального мира. Пусть он себе провалится, лишь бы у нас не было войны. Чувство индивидуальной самодостаточности (и самозаконченности) у белорусов, пожалуй, даже гипертрофировано. Вероятно, отсюда вечная недоделанность той страны, в которой они живут. Поскольку до нее белорусам (как и до всего остального мира) тоже нет особенного дела».

Первое из упомянутых мною ментальных отличий иллюстрируют замечательно сопоставленные В. Акудовичем высказывания двух поэтов Александра Пушкина и Янки Купалы: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», и далее самый великий поэт тогда молодой и еще веселой империи перечисляет покоренные народы, которые придут склониться перед его памятником за те добрые чувства, которые он лирой пробуждал в сердцах людей.

«Я не поэт. Избавь меня Боже...», и далее о том, что, поскольку у белорусов никого нет, то пусть будет хотя бы Янка Купала. Я недавно слышала эти стихи в замечательном исполнении белорусской певицы Каси Камоцкой.

\*\*\*

Неумение ценить все белорусское – подобная позиция не ограничивается только негативным отношением к родной стране, – это тяжелый комплекс белорусов, выработанный на протяжении последних веков. А из-за сегодняшней ситуации в стране, когда национальное воспринимается как оппозиционное (например, курьезное закрытие единственного лицея с белорусским языком обучения в Минске), побороть этот комплекс будет очень тяжело.

Приезжего, который любит красоту белорусской природы, восхищается музыкой и песнями, с удовольствием ходит в театр и читает интересные белорусские книги, поражает безразличие белорусского общества к собственной культуре. Некогда под впечатлением только что прочитанных новелл Василя Быкова я хотела поговорить с молодой белоруской, выпускницей филологического факультета в Минске. Но, к моему удивлению, услышала в ответ, что она не читает по-белорусски,

поскольку белорусская литература ее не интересует. Не знаю, понимала ли она вообще, кто такой Василь Быков?! Однажды одной из знакомых, огорченной, что после распада СССР труднее будет ездить на отдых в Крым, я посоветовала, чтобы она поехала, например, на Нарочь или Браславские озера, которые очень красивы, то услышала от нее: «В Беларуси не может быть ничего интересного». Когда в разговорах с учителями я интересовалась, куда они выезжают на школьные краеведческие экскурсии, то обычно называлась Москва или прибалтийские республики. Только в начале 90-х гг. вспомнили про Несвиж, Новогрудок, Мир, Витебск и другие исторические места. Открыли экскурсию «по родным местам Мицкевича...».

На этот опасный по своим последствиям комплекс наложились причины социального и политического характера. Вследствие обращения элиты к польской и российской культуре в период формирования нации белорусская культура в общественном сознании воспринималась исключительно как народная. Крестьяне, которые переселялись в города, переходили со своего диалекта (который считался заведомо хуже) на престижный русский язык и о своей, «деревенской», культуре хотели как можно скорее забыть. Вдобавок ко всему многочисленные любительские коллективы народного творчества вульгаризировали фольклор, который в их исполнении скорее вызывал смех, чем восхищение<sup>3</sup>.

Если повышение социального статуса в обществе на протяжении почти двух веков было связано с отказом от белорусского языка и белорусской культуры (чему способствовала организация преподавания, тенденциозное изучение истории и даже название улиц, не имеющее ничего общего с отечественной историей и культурой, не говоря уже о травме, нанесенной белорусской культуре в 30-е гг. XX в. советской властью, репрессировавшей ее творцов), то сложно удивляться белорусскому комплексу «неполноценности» и равнодушию к оригинальной белорусской культуре, которая появилась в последнее время. А в Беларуси сегодня работают авторы, которыми можно и нужно гордиться: Светлана Алексиевич (пишущая по-русски), Рыгор Барадулин, Янка Брыль, Алесь Рязанов и другие, не говоря о подающих надежды молодых поэтах и прозаиках. Я уверена, что если белорусская литература почти не известна в мире (за исключением Алексиевич и Быкова), то это не потому, что нет достойных произведений, а потому, что никто не заботится об их соответствующей презентации. В ситуации, когда самые интересные тексты белорусской литературы из-за политических проблем издаются маленькими тиражами на общественные деньги («Стена» В. Быкова), нельзя рассчитывать на их широкую известность даже в собственной стране. Литературы так называемых «малых» народов, если они хотят быть известными в мире, должны беспокоиться о хороших переводах.

\*\*\*

Когда на научных конференциях или в частных разговорах я выражала мнение, что появившиеся в Беларуси на культурном стыке Востока и Запада поликонфессиональность и поликультурность – это богатство и ценная особенность<sup>4</sup> страны, то со стороны белорусов слышала, что религиозные различия осложняют национальную консолидацию. Вам, говорили, полякам, хорошо, вас объединяет католицизм. Полемизирующие, очевидно, не принимали во внимание польских протестантов и другие вероисповедания, а также прогрессирующей секуляризации общества. Хотя, что правда, мои собственные исследования, а также исследования коллег этнологов и социологов, проводимые на территории Беларуси, доказывают, что разделение «мы – они» происходит согласно религиозной принадлежности. Еще достаточно распространено, особенно в сельских обществах, стереотипное отождествление католицизма с польскостью, а православия с русскостью.

Все эти процессы были неоднократно описаны в специальных изданиях. Однако я хотела бы подчеркнуть, что на народном уровне в религиозно смешанных деревнях это самое «мы – они» никогда не перерастает в «свои – чужие», потому что над этим возвышается солидарное «мы местные», «мы здешние». Мы располагаем десятками записанных бесед, в которых католики с уважением говорят о своих православных соседях и наоборот<sup>5</sup>. Собеседники подчеркивали, что они молятся одному и тому же Богу, у них одни и те же главные праздники, только календарь и язык иногда другой. Католики рассказывают, как ходили в церковь, когда костел был закрыт. Православные заходят на католическую службу. Известен описанный в прессе пример совместной постройки костела в Белице. Неоднократно в католических костелах Беларуси я слышала, как ксендзы призывали прихожан воздержаться от работ и оказать уважение православным праздникам, которые в католическом календаре приходятся на будни. Я не раз бывала в домах, где религиозные праздники отмечали дважды, потому что в семье были католики и православные. Перестали уже быть проблемой смешанные семьи, о негативном восприятии которых есть много записей у этнографов старшего поколения. Я могла бы привести названия мест, где батюшка и ксендз сотрудничают и очень хорошо относятся друг к другу.

Откуда же берется представление о католическо-православном конфликте в Беларуси? Коротко говоря – из политики. Из боязни католицизма как носителя основных ценностей западной культуры, который признает права личности и союз культур. Лучше всего это объясняют слова Тимона Терлецкого: «Признание важности человеческой личности находит выражение в разделе частного и общественного права, в разграничении прав личности и прав государства, в отделении прав совести от всех других областей жизни, а за этим следует – полное отделение духовной власти от власти светской. Признание важности культурного союза имеет большое значение в понятии нации и понятии высшего наднационального общества» (*«Поиск равновесия»*. Польский культурный фонд. Лондон, 1988).

Христианская поликонфессиональность в Беларуси не ограничивается дихотомией «католицизм – православие». Была предпринята попытка возобновления греко-католического (униатского) обряда, который прежде всего устраивает молодежь, надеющуюся национализировать белорусскую церковь и устранить стереотипное противопоставление «польский – русский». Достаточно активны разные ответвления протестантизма, особенно на Полесье. В то же время власти однозначно заявляют о Беларуси как православной стране. Складывается представление, что православие – государственная религия Республики Беларусь.

В эссе В. Акудовича, о которой уже упоминалось выше, я с удовлетворением нашла следующее предложение: «Наконец, нам надо осознать нашу разноязычность, разнокультурность, разнорелигиозность не как изъян, который необходимо преодолеть ради гомогенной Беларуси (замкнутой в каком-то одном измерении), а как огромную ценность». Меня радует, что мой взгляд на Беларусь перестал быть единственным. Именно из поликультурности происходит белорусская терпимость, как и вся культура в целом, исторически сложившаяся на пограничье, из синтеза христианского Востока и Запада. Унификация может ее только уничтожить.

\*\*\*

Алесь Рязанов в «Слове о наследии» («Слова пра спадчыну») пишет:

*Мы возвращаем наследие [...]*

*Вместе с ним*

*Мы возвращаем себя, и, может, как раз во время возврата*

*Наследие громко нам говорит,*

*О том, что оно не только оно, но и мы,*

*И что оно лишь тогда оно, когда мы – мы.*

Прочитированное здесь начало философской поэмы белорусского поэта Алеся Рязанова объясняет читателю существенную связь между историческим наследием и памятью, тем, что действительно представляет собой конкретный человек, группа людей, конкретная нация – мы. Различные «идеологи» прикладывают немалые усилия для фальсификации образа белорусской истории, и именно потому так важно знать правду и не позволять ее затушевывать.

«Передайте об этом детям вашим;  
а дети ваши пусть скажут своим детям,  
а их дети следующему роду».

(Из Книги Иоилия)

Я думаю тут о сохранении в исторической памяти массовых убийств, совершенных НКВД в 1937–1941 гг. (до нападения Германии) в Куропатах под Минском (510 братских могил в лесу). С 1939 г. жертвами там были прежде всего поляки и



польские граждане, жители так называемой Западной Беларуси и, возможно, балтийских земель (Е. Горелик «Куропаты. Польский след». Варшава, 1996). Только в 1988 г. громкая статья «Куропаты – дорога смерти» Зенона Позыняка и Евгения Шмыгалова, опубликованная в еженедельнике «Літаратура і Мастацтва», вынудила власти заняться этим делом. Прокуратура провела дотошное расследование. Была проведена эксгумация нескольких могил и экспертиза человеческих останков и найденных там предметов. Было собрано много свидетельств очевидцев экзекуций и членов семей, которые имели основания думать, что их близкие погибли именно в Куропатах. После однозначного заключения прокуратуры (а это было время перестройки и гласности) на вершине просеки поставили валун с прикрепленной к нему табличкой, на которой было написано, что «в этом лесном массиве, согласно решению Совета Министров БССР от 18.01.1989 г., будет построен памятник жертвам массовых репрессий 1937–1941 годов». В 1997 г., когда я там была последний раз, символический валун продолжал повествовать о постройке памятника, но уже совсем выцветшими буквами. Своего рода мемориал появился ниже: большой красивый крест Белорусского Народного Фронта «Пакутнікам Беларусі», крест «Стража польских могил», каменная лавочка Клинтон и многое другое. Но месту упокоения стольких жертв тоталитаризма все еще угрожает уничтожение. Только противостояние молодежи, которая организовала продолжительную круглосуточную блокаду захоронения, вынудило власти передвинуть объездную трассу Минска, которая по плану должна была проходить именно через Куропатское урочище. А не так давно я прочла о решении переименовать название улицы Куропатская на Виноградную (по просьбе ее жителей).

\*\*\*

Так случилось, что я пишу о своем восприятии Беларуси на рубеже февраля и марта. Дата 5 марта 1940 г. у поляков однозначно ассоциируется с постановлением Политического бюро ВКП (б) Советского Союза о «применении высшей меры наказания» к польским офицерам, военнопленным и арестованным в 1939–1940 гг. представителям польской интеллигенции (профессорам, юристам, полицейским, врачам, лесникам). Из-за этого постановления погибли 22 тыс. человек, не считая семей расстрелянных, вывезенных в Сибирь и Казахстан, откуда вернулись далеко не все. Катыньское злодеяние (Катынь, Медное, Харьков) до нынешнего дня не получило окончательного официального осуждения. До сих пор не удалось разыскать информацию о местах гибели (в рамках той же акции) около 7 тыс. человек из Беларуси. Разве столько людей могло погибнуть без приговора? И действительно ли этой документации нет в архивах, как сказали польским исследователям в Министерстве внутренних дел и Министерстве безопасности в Минске?

Вместо покаяния и осуждения виновных, по прошествии лет в российской и белорусской прессе то и дело появляются попытки приписать это преступление немцам. Так же как и в отношении к жертвам Куропат и других мест массовых репрессий в Беларуси (например, в Борисове, Червене, Мозыре, Вилейке, на окраинах Минска) – вместе около 250 тыс. погибших. «Общество безразлично к злодеяниям прошлого, потому что в них участвовало очень много людей». Это слова Александра Яковлева, главы Комиссии по делам реабилитации в России («Рассказ о книгах»), над которыми должен задуматься каждый.

«Люди приготовили эту судьбу людям» (Софья Налковская, «Медальоны»). Об этом надо помнить – и не для того, чтобы взращивать враждебность. А для того, чтобы всем вместе поставить преграду ненависти и глупости, двум самым большим человеческим слабостям, которые в международных отношениях могут угрожать неизмеримыми последствиями.

Московские приготовления к торжественным празднованиям 60-летия победного окончания Второй мировой войны заставляют вспомнить, что для Польши и мира эта война началась 1 сентября 1939 г. После нападения Германии на Польшу 17 сентября Красная Армия ударила с востока, и Польское государство было разделено на две оккупационные области: немецкую и советскую. Но в сознании большинства граждан бывшего Советского Союза существует исключительно так называемая Отечественная война между немцами и СССР, которая началась 22 июня 1941 г. Я убедилась в этом во время полевых социолингвистических исследований в Беларуси. Тема войны не раз возникала в рассказах старых людей. Но они не слышали ни о пакте Молотова – Риббентропа, ни о внезапном нападении на Польское государство в то время, когда оно сражалось с превосходящей в военном отношении немецкой армией. Для наших собеседников это было исключительно освобождение Западной Беларуси и Западной Украины. А между тем, если мы хотим поддерживать партнерские отношения между нашими странами, мы должны начинать со знаний о подобных фактах, даже если это знание для каждого из народов может быть болезненным. Повторю, историческая память важна не только для понимания прошлого. Она играет значительную роль в строительстве будущего и потому стоит заботиться о ее правдивости.

\*\*\*

В конце я хочу упомянуть два события, которые позволяют мне оптимистически думать про будущее Беларуси. Первое – это заполненный до отказа, бурлящий энтузиазмом зал Театра оперы в Минске 25 марта 1993 г. На сцене тогдашний политический авангард. В зрительном зале не смолкают крики «Жыве Беларусь!» Старые и молодые. Монахи и солдаты в мундирах. Поэты и рабочие. Дипломатический корпус с поздравлениями... – «Жыве Беларусь!»

Второе событие – это воздание почестей Василию Быкову, который «навсегда» вернулся на Родину. Нескончаемый поток людей медленно движется к Дому литератора, чтобы попрощаться с писателем (документальный фильм «Возвращение»). Уважение и спокойствие, цветы, очень много васильков, бело-красно-белые флаги. Во главе похоронной процессии известные поэты – по очереди несут тяжелый деревянный крест.

«Народ показал, как он ценит свою аутентичность», – сказал во время дискуссии молодой режиссер фильма.

*Перевод с польского Марины Шода*

### Примечания

- <sup>1</sup> Это не значит, что некоторые статьи не вызывают желание полемизировать, представлять другие соображения, которые, возможно, авторы упускают или сознательно не оговаривают, обращать внимание на то, как глубоко, несмотря на смелость и самостоятельность мысли, в некоторых их высказываниях проявляются советские стереотипы и ментальность.
- <sup>2</sup> Обращаю внимание на то, что в польском языке слово русский означает не то же, что российский, а чаще используется в значении «восточнославянский» или скорее как синоним определения «западнорусский»; в языкознании определение «русские диалекты» относится к диалектам восточнославянского типа, украинских и белорусских, а также промежуточных.
- <sup>3</sup> Хотя, безусловно, существуют примеры удачной аранжировки аутентичного фольклора, как, например, талантливый и увлеченный студенческий коллектив В. Берберова «Литвины», который выступает в аутентичных костюмах и играет на народных инструментах, собранных в белорусских деревнях (и там же записывает тексты и мелодии). К сожалению, как раз подобные коллективы не получают государственной поддержки.
- <sup>4</sup> Ср., напр., «Самоидентичность и толерантность в Беларуси», 1988; «Вокруг проблемы самоидентичности жителей Беларуси», 1996; «Замечания о белорусской культуре в связи с эссе Тимона Терлецкого “Европейскость и отличительность польской культуры”». 2000. Перепеч. в кн.: Эльжбета Смулкова «Беларусь и пограничье. Исследования о языке и обществе». Варшава, 2002.
- <sup>5</sup> С другим представлением я встретила в нескольких полностью православных деревнях на белорусско-российском пограничье на Могилевщине, где собеседники враждебно относились к католицизму и католикам, основываясь на неких совершенно нереальных предпосылках, источники которых я искать не пробовала.

## **МЕЖ БРАТСКОЙ РОССИЕЙ И МИРНОЙ ЕВРОПОЙ**

Брест. Поезда из Варшавы и Берлина, идущие на Минск, пересекают Буг ночью – чтобы утром пассажир был в столице. После короткой стоянки на Варшавской стороне Брестского вокзала состав отправляется назад, в сторону границы, и затуманенному ночным бдением (два таможенных и два пограничных контроля) сознанию кажется, что происходит мистический обряд инициации. Поезд заползает в полумрак ангара, мощные домкраты поднимают вагоны, и чьи-то невидимые руки где-то внизу, во владениях Гефеста, с грохотом выбивают одну за другой многотонные колесные пары и цепляют новые. Путешественник-новичок еще может посчитать случайностью мятые физиономии и униформы пограничников и таможенников, которые обыскивают каждого интеллигентного пассажира не только на наличие оружия и валюты, но и печатных изданий и рукописей. (Поэтому активисты белорусской демократической оппозиции решили для конспирации набираться до белых коников, что гарантированно избавляет от унижительной процедуры личного досмотра: пьяных тут не трогают, им сочувствуют, их понимают.) Однако здесь начинается другая Европа. После ритуала смены колес каждому равнодушному глобтроттеру становится ясно: он попал в иной мир, здесь живут по своим законам. Нечто подобное, должно быть, чувствовали русские князья, когда под завывания шаманов проходили меж огней в Орде. Указателя «конец Европы» в Бресте нигде нет. Да он и не нужен. И так все ясно.

Железные дороги с широкой, «неевропейской» колеей появились в Беларуси в XIX в., когда страна была частью Российской империи. На такую хитрость пошли в оборонительных целях, чтобы враждебные державы не могли использовать

стальные пути для быстрого продвижения вглубь России. Да и прокладывали дороги не через самые важные города, а прежде всего так, чтобы можно было оперативно перебросить войска к рубежам империи. В таком переименованном облике появился в Беларуси ранний капитализм. Незавершенная, половинчатая модернизация шла в Беларусь из Европы, но через Россию. Почти одновременно с постройкой железных дорог были отменены европейское право (Литовский статут) и западная церковь (униатство), а белорусский и польский языки и культуры поражены в правах. Именно тогда Беларусь из просто Европы на полтора столетия стала «иной Европой». С тех пор белорусский поезд катится по широкой колее.

## 1

Воздушные ворота страны – аэропорт «Минск-2» – встречают гостей из иноземных областей ничуть не любезней. Его неотопливаемые, слабо освещенные коридоры с многочисленными узкими лестницами-переходами не знают, что такое эскалаторы; его выдавшие виды двери открываются только одной створкой; его неспешные автокары возят чемоданы в одиннадцать раз медленнее, чем их франкфуртские коллеги; его визовые работники не могут принять у тебя евро, но после десятиминутного упорства согласятся сопроводить тебя за «линию таможенного контроля» в обменник, где, к сожалению, не окажется мелких долларов, а у визовых работников нет сдачи; но в конце концов вопрос решится, ведь всегда найдется какой-то сердобольный Сережа, который за небольшую мзду пойдет на компромисс с собственной совестью – разве не способность сопереживать и не готовность всегда прийти на помощь незнакомому человеку отличает восточного славянина? Необъятные пустынные холлы аэропорта, рассчитанные на прием десятков тысяч пассажиров в день, встречают всего десятки; почта-телеграф «работает круглосуточно», но обязательно встретит тебя табличкой «обед 13–14»; на автобусной остановке тебя ожидает неизлечимо красный дедушка-«Икарус» – воплощенная благодарность жертв 1956 года своим освободителям. Все это полномочью заявляет: *калі ласка, сардэчна запрашаем*, ты попал в центр Европы.

«Икарус» трогается, покидает двор аэропорта с суггестивно-одиноким рекламным щитом «МАЗа», и за окном радуют глаз разлогие перелески, ухоженные, словно газон, поля, катится ровненькое шоссе – и так все полчаса езды до самой зеленой столицы Европейского континента. Не бойся, эта страна окажется лучше, чем первое впечатление о ней.

Ты не найдешь другой такой страны, которая «в целом» настолько бы отличалась в лучшую сторону от всех разбросанных по периметру и внутри «частностей»: государственных и полугосударственных, военных и паравоенных учреждений и учреждений, в том числе и пунктов пропуска на границе. Словно не этот терпимый и старательный народ их породил. Впрочем, и правда не этот. Они остались

неизменными с прошлого, советского времени, нередко в комплекте со своим персоналом. Будь ты иностранец, что впервые в этом лесном краю, или соотечественник, который вернулся *на батьковщину* после долгого пребывания за границей, ты всегда удивляешься, насколько часто разные важные и неважные государственные конторы, учреждения и пункты – о, родниковая белорусская речь! – от Резиденции Президента (запомните, эти слова в Беларуси пишутся с заглавной буквы) до вахт общежитий превратились, а может и задуманы, спроектированы анонимными мыслепроектировщиками этих институтов как... нет, не как пыточные, но по крайней мере как испытательные. И все они, от самой ничтожной вахты самого малоэтажного общежития до громадного минского аэропорта появились в советскую пору, и сами они, и их функции, и способы функционирования – это феномены советского модернистского эпизода, что превратил белорусскую «иную Европу» в передовой полигон социального эксперимента... Ты пишешь: Беларусь в сущности лучше, чем она кажется. А чем же?

## 2

Постройки позднесоветского времени поражают своими огромными размерами и нефункциональностью. Как же отличаются от них немногочисленные еще здания, появившиеся в постсоветское время, часто с отделкой в стиле «евродизайн» – с заимствованием европейских архитектурных приемов доступными тут средствами. Временами зодчих подводит вкус, зато их выгодно отличают функциональность и экономичность.

Европейское в Беларуси переживает период необычайной популярности. Народ не только делает «евроремонты» и ставит «евроокна», но и покупает «евроаспирин» в «евроаптеках». В Могилеве, вотчине президента, опрометчиво заявившего, что он свой народ за цивилизованным миром не поведет, сотрудники фирмы с характерным названием «Последний путь» объявили: качество их дубовых гробов с базовой комплектацией «соответствует евростандартам». Внимательный читатель газеты частных объявлений «Из рук в руки» найдет даже «коттедж, 100% готовности, евроландшафт». Речь идет не о рукотворном водоеме и неперменной альпийской горке. Имеются в виду холмы Минской возвышенности, такие милые белорусам, утомленным бескрайними просторами Восточноевропейской равнины. Жизнь на этой монотонной плоскости, открытой всем ветрам и с Востока и с Запада, отсутствие каких бы то ни было естественных преград определяет не только характер пейзажа, но и привычки жителей страны, которая на карте похожа на пятиугольник. Или, если пофантазировать вслед за самым романтичным белорусским писателем Владимиром Короткевичем, – на зубра, что склонил свою могучую голову к западу и решил подкрепиться... еврзубровкой.



Каждый в Беларуси знает, что его страна находится в центре Европы. Если верить газетам и географам, центр нашего Старого Света покоится в водах небольшого озера с лапидарным названием Шо.

Точно так же в Литве каждый знает, что центр Европы находится возле Алигуса, а украинцы уверенно размещают его в головокругительно прекрасных пейзажах Рахова, в Закарпатье. Исключительная красота всех этих центров с потрохами выдает географию как науку в высшей степени гуманитарную. Помещение своей страны в центр Европы – один из национальных мифов, который встречается во всех странах Восточной Европы. Степень этого настойчивого «центризма» прямо пропорциональна степени неустойчивости национального самоощущения и раздвоенности стремлений молодых наций к западу от России, которые обрели государственность. В Беларуси миф о центре Европы особенно популярен. Будто сам факт существования этой точки на нашей территории способен магическим образом развеять вонь отхожего места на автовокзале Глубокого, которого не минует ни один безмашинный искатель ледниковой чаши белорусского Грааля – озера Шо.

Помещение своей страны в центр Европы – еще одно проявление моды на европейское. Это и проявление изменений в национальной идентичности белорусов. При Советском Союзе никому и в голову не приходило локализовать центр Европы в белорусском Поозерье. А если кому и приходило, то заканчивалось для него так плохо, что отбивало всякую охоту держать такие глупости в голове. Сравнить площадь страны с площадью Бельгии или Дании было модно, потому что это подводило читателя к ощущению могущества «одной пятой части суши», на которые простирался Советский Союз. Принадлежность же Беларуси к Европе замалчивалась, было табу. Только после 1991 года это растиражированное национально-освободительным движением утверждение стало стереотипом.

### 3

Социологические исследования политических симпатий белорусов в 2003 г. выявили: две трети белорусов хотели бы присоединения страны к Евросоюзу, но только одна треть готова к евроинтеграции даже за счет отказа от единого экономического пространства с Россией. При этом две трети хотят сохранения союзных связей с Россией, а еще четыре пятых – убежденные приверженцы независимости. Эти цифры поначалу воспринимаются как шифр серьезной болезни. Как только не критиковали интеллектуалы-моралисты эту шизофрению сознания, это неразборчивое гражданское чувство. Белорусы хотели бы несовместимого, причем сразу – и в Евросоюз войти, и быть независимыми, и сохранить союз с Россией. Политологи сетовали, что белорусы лишены политического мышления, готовы жить миражами и голосовать за политиков, которые наиболее успешно эти миражи создают. Существование независимости и союза с Россией воспринимается народом как свер-

шившийся факт, и подозрения в его реальности возникают только тогда, когда один союзник время от времени перекрывает другому газ. С Россией и независимостью все более-менее ясно. Подобно героям «Леопарда» Томазо де Лампедузы белорусы хотели бы все изменить так, чтобы все осталось по-старому. Можно понять, почему мои соотечественники «хотят, чтобы было, как раньше», как это сформулировал Чекман. Тем более понимаешь это, когда едешь в желто-красном минском трамвае среди сдержанных, до унылости сдержанных, одетых в серое и черное белорусов. Но почему белорусы стремятся присоединиться к Европе, войти в Евросоюз? От Евросоюза нас до сих пор отделяет тысяча километров колючей проволоки: между деревней Комаровкой, родиной первого белорусского космонавта Петра Климука, на юге, и озером со шведским отзвуком в названии – Освея, на севере, всего несколько десятков пунктов пропуска. И эта воплощенная в проволоке противоречивость всеобщего (две трети народа) желания и реальности, данной нам в ощущении (граница на замке), рождает вопрос: что же так влечет белорусов к Европе, что вызывает евросимпатии в неблагоприятных для этого политических условиях? Чтобы ответить на такой вопрос, нужно понять, что общего у обитателей «центра Европы» и жителей благополучной европейской периферии. Этот ответ, кроме того, подскажет нам, в чем же неясная хорошость белорусского естества. Ответив на эти вопросы, мы также увидим, что на самом деле отличает Беларусь от России.

#### 4

Частью какой цивилизации – западной или восточной – является Беларусь? Этот вопрос – ровесник белорусского национализма. Лукашенко придал ему новый нюанс – мы не часть, мы центр восточной цивилизации, четвертый Рим или третий Киев, кто как пожелает. (А пятой, в таком случае, суждено стать Астане.)

Однозначного ответа нет. Четверть населения Беларуси – католики и протестанты. Кроме того, у нас вековые традиции унии, память о которой российская история репрессировала, но философия которой жива и поныне. Но высокая степень русификации дает право оспаривать идею о западной принадлежности белорусов. Сэмюэль Хантингтон однозначно отнес Беларусь к православной цивилизации и, не вдаваясь в детали, провел линию раскола цивилизаций по советско-польской границе 1920 г.; именно эти линии, в соответствии с его теорией, будут фронтами международных конфликтов в XXI веке. Хантингтон пишет: «Некоторые ученые выделяют православную цивилизацию, центр которой – Россия. От западного христианства ее отличает византийское происхождение, особая литургическая практика, 200 лет татарского ига, бюрократический деспотизм и ограниченный контакт с Ренессансом, Реформацией, Просвещением и другими феноменами, имеющими огромное значение для Запада». Беларусь, правда, и через западную литургию прошла, где священник стоит лицом к людям, а не к алтарю; и Ренессанс пережила (Ско-

рина) и Реформацию (Симон Будный, Николай Радзивилл Черный) и даже Просвещение, несмотря на тяжелое положение страны, волею судьбы затиснутой между фантастически богатой Россией, уже приросшей Сибирью и идиотски своевольной шляхтой.

Историк Олег Латышонок называет карту Хантингтона ошибочной. Конфессиональный, т. е. в понимании Хантингтона цивилизационный, «раскол издавна был проблемой для формирования белорусской нации, – пишет Латышонок. – Ради его преодоления белорусов пробовали объединить через протестантство (первый известный истории человек, который сам назвал себя белорусом, Соломон Рысинский, был протестантом), униатство или атеизм. Жизнестойкость белорусского национализма, которому уже более двухсот лет чужие политики, а также западные и восточные ученые пророчат скорую смерть, вероятнее всего является следствием не только любви к родному языку и культуре, но потребности в чем-то, что объединит конфессионально разделенное общество». Сама же принадлежность белорусов к западной цивилизации, как считает Латышонок, обусловлена не конфессиональным фактором, а белорусским национализмом, нациотворческой идеологией европейской закалки. Белорусское общество не вписывается в описанную Хантингтоном православную цивилизацию, поэтому Беларусь, которая по Хантингтону уже в 1995 г. стала «фактически частью России», так ее частью и не стала.

Двойственность цивилизации в Беларуси на самом деле имеет место, но, как мне кажется, она проявляется не столько в наличии двух конфессиональных традиций или языков, сколько в сосуществовании противоположных политических культур, двух философий власти. Постсоветские конфликты, не основанные на конфессиональных или идеологических различиях, отчетливо столкнули приверженцев деспотической и демократической концепций власти. Симптоматично, что Лукашенко, олицетворяющий собой идею сильной власти, родился на самом востоке Беларуси, в Копыси, на земле, славной уникальной популяцией черных зайцев, и взлет его карьеры связан с востоком страны, с землями, за которые Брячислав и Всеслав Полоцкие долго боролись с киевскими Ярославичами. В то время как яркие лидеры прозападной партии (Пазняк, Домаш) сплошь из западных районов, из бывших литовских земель, и даже мастер компромисса Гончарик родился на Логойщине, там, где Ягайло построил первые белорусские костелы (Гайна).

## 5

Первое объяснение европейских симпатий белорусов – их желание разделить материальные блага, которые пользуют сегодня все страны единой Европы. Европа сегодня – это воплощенное чудо, вызывающее восхищение и на восток от Буга, и за Атлантикой, и за Босфором. Если бы в Евросоюз могла войти любая страна, как, например, в ООН, то уже завтра в Европу «вступили бы» все страны Африки с Де-

мократической и Народной Републиками Конго включительно. К счастью, мудрые европейцы сами выбирают себе союзников. Однако составляющими европейского чуда являются не только материальное благополучие, но и новое политическое мышление, атмосфера добрососедства и толерантности, которой характеризуются межгосударственные отношения в Европе. В сегодняшней Европе воплотилась давняя мечта о прекращении этнических столкновений и войн, военного противостояния и гонки вооружений, отказ от решения конфликтов посредством оружия – по крайней мере, в границах Европы. Силу еще считают необходимой для устрашения внешних врагов, но не для непосредственного применения и, уж конечно, не в самой Европе. Война между европейскими супердержавами невозможна. Окруженная зонами перманентных конфликтов, новая Европа кажется настоящим раем. Тем большим шоком стали события в Боснии, потому что это было трагическое исключение. Культура мира и терпимости, воцарившаяся в Европе, ошеломляет и восхищает, словно новая социальная формация.

Новая Европа кажется чудом не только в сравнении с близлежащими конфликтными зонами, но и в проекции на предшествующие столетия европейских кровопролитий. То, что сейчас европейцы считают нерушимыми принципами фундаментальной культуры, на самом деле совсем новое явление. Старая культура окончательно была изжита только после Второй мировой войны. А до этого в Европе веками происходило то, что мы наблюдаем теперь между Эритреей и Эфиопией или в Индонезии. Корни современного мировоззрения можно отыскать во времена Просвещения, но Европа пришла к нему прежде всего в результате осмысления трагедии Второй мировой войны. Культура мира – новое явление в Европе.

Цветущая Европа долгое время все-таки вызывала у белоруса большие сомнения. Для среднего гражданина до последнего момента *mission civilisatrice* Европы ассоциировалась прежде всего с плакатами «Гитлер-освободитель», щедро развешенными на улицах освобожденных от большевизма городов за несколько дней до превращения их в гетто. Человеку, которому в Освенциме без анестезии проводили ампутацию, тяжело согласиться, что европейскость – это цивилизация. Наука – может быть, но не цивилизация.

Вторая мировая война была для Беларуси – от Налибокской пуши до кричевских лесов – апокалипсисом, уничтожением мира. В сознании многих, если не большинства белорусов, не только Германия, но и вся Европа несла за нее ответственность. Во-первых, из-за Мюнхенского соглашения; во-вторых, из-за капитуляции в 1940 г.; а в-третьих, из-за соучастия в насилии. Немецких эсэсовцев в лютоści превосходили венгры, литовцы и латыши, а украинцы сожгли Хатынь. Как для многих израильтян Европа остается ученицей дьявола, антисемитской по своей природе, так и старшее поколение белорусов долгие годы несло в своей душе обиду за эту войну.

Белорусы считают мир наивысшей ценностью. Знаменитое «лишь бы не было войны» – основа их политического поведения. В 1950–1980-е белорусская культура создала богатую пацифистскую традицию, которая включает в себя произведения

литературного, музыкального, декоративного искусства. Гуманистичное и антивоенное послание миру несли такие шедевры живописи, как «Партизанская Мадонна» Михаила Савицкого. Даже массовая культура не избежала военной тематики: было написано немало песен, смысл которых можно определить как явно или скрыто пацифистский («Было ў салдата два полі»). «Хотим мы, чтоб мирное небо Не знало пожаров войны... Мы дружбы народам желаем И братской сердечной любви», – пелось в неформальном гимне белорусов «Радзіма мая дарагая», мелодия которой стала позывными Белорусского радио, а теперь еще и маршем почетного караула во время государственных церемоний. Очевидно, что главную роль в создании пацифистского дискурса сыграла литература, которая в то время значительно влияла на состояние общества: особенно яркими явлениями были эссеистика Алеся Адамовича и Янки Брыля, романы Ивана Шамякина и Василя Быкова с их деромантизацией войны. Но это не все: на пацифизм и толерантность не посягал ни один из более или менее значимых творцов той эпохи, присутствие этой тематики в произведениях было даже навязчивым.

Власть приветствовала этот пацифизм. В белорусской советской культуре он был одним из проявлений конформизма, суррогатом явного диссидентства, на что не отважился никто из значимых деятелей белорусской культуры, и этот пацифизм был настолько массовым и последовательным, что стал частью культурного и политического канона и феноменом, формирующим сознание, буквальным образом проникнув в ментальность нации. Кажется, что это проникновение произошло по причине того, что он вполне естественным образом отвечал исторической памяти людей и коренился в предшествующей белорусской культурной традиции. (Кстати, влияние белорусской массовой культуры, и в частности литературы, на формирование сознания белорусов в советский период часто недооценивается, прежде всего из-за трансформации способов массовой коммуникации, когда ранее важные ее формы теперь маргинализированы телевидением и радио.) В любом случае, пацифизм и проповедь терпимости в белорусской культуре советского периода заслуживают пристального внимания со стороны истории идей. Изменение первых строк государственного гимна, осуществленное Александром Лукашенко, с «Мы, беларусы – з братняю Руссю» на «Мы, беларусы, мірныя людзі» казалось поиском варианта, который никого бы не обидел. На самом деле в этом выборе скрыто более глубокое, глубинное чувство, а не только оппортунизм, граничащий с временщицеством, так характерный для политического стиля Александра Лукашенко в целом.

Белорусский пацифизм сформировался в результате эволюции сознания, очень похожей на ту, что произошла в послевоенной Европе. Там она тоже зародилась во времена холодной войны с созданием пацифистского канона, целью которого было не допустить повторения ужасов Второй мировой. «Современная европейская культура, – пишет Роберт Каган, – это сознательное отрицание прошлого, отрицание зла былой европейской *Machtpolitik*. Это понятное выражение страстного желания, чтобы прошлое никогда больше не вернулось. Ибо кто лучше европейцев

знает, чем грозит одержимость властью, чрезмерная вера в военную силу и даже идея равновесия сил и *raison d'état*? Как это выразил в своем выступлении в Университете Гумбольдта 12 мая 2000 года министр иностранных дел Германии Йошка Фишер, «сущностью европейской идеи после 1945 года было и есть неприятие принципов равновесия сил и гегемонистских амбиций государств, которые возникли после Вестфальского мира 1648 года». Сам Европейский союз – это плод страшного столетия войн в Европе. Евросоюз мог бы превратиться в глобальное супергосударство, противовес Соединенным Штатам, но Европа не хочет быть сильной, – делает вывод Каган, – Европа «с Венеры». А США – суперсовременная военная держава – «с Марса».

В антивоенной культуре европейцев, вынесенной как откровение «из огненной деревни», из холокоста и разбомбленного Дрездена, мне видится то общее, что закладывает твердый фундамент единого европейского пространства. В Европе новый антивоенный идеализм окончательно оформился после исчезновения внешней угрозы – СССР. А в Беларуси катализатором такого развития послужил контраст европейского благополучия с российскими войнами 90-х.

Даже мое поколение, не говоря уже о более старших людях, свидетелях сталинской и гитлеровской оккупации, жило в 90-х с тревожным ощущением того, что события могут принять трагический поворот. Повернись история чуть-чуть не так, выйди на манифестации 1996 г. на пару тысяч меньше или на пару тысяч больше народу, перебери Ельцин норму граммов на двадцать – и я, как тот парень из «Крамбамбули», был бы теперь на Кавказе, под Бамутом, где теперь мой двоюродный брат Антон, российский гражданин, исполняет свой проклятый священный долг в спецназе внутренних сил. Или другой вариант: в Дом правительства вошел бы Позняк, не понятный и Востоку и Западу, и Россия сделала бы с Беларусью то, что теперь делает с Чечней. Не ясно, какой из этих двух вариантов хуже для тебя лично. Но оба они реальные! И, перефразируя Гобсбаума, история не заплакала бы о разлитом молоке.

## 6

Белорусы – это однозначно подтверждают социологические исследования – не приемлют войну ни в каком виде. Пока продолжалась белорусско-российская интеграция, миллионы людей воспринимали отправку белорусских военных в горячие точки России, прежде всего в Чечню, как кошмарную вероятность.

Ельцинская раннекапиталистическая Россия была огромным полем чудес, где шла игра в капитализм без правил. Путинская Россия достигла экономической стабильности и пытается возродиться в качестве великой державы со всеми неизбежными, как ей кажется, издержками – управляемой демократией и возвращением к советским символам. Две эти непохожие России объединил кошмар двух чеченских войн и терроризма, который их сопровождает. У России нет такой современной



армии, как у США, а состояние ее экономики вызывает жалость, но по своему сознанию Россия, как и Америка, – с Марса. Как показали две чеченские войны, война для России остается продолжением политики другими средствами. «Культура мира», отказ от насилия несвойственны российскому политическому мышлению.

Такое отличие между мировоззрениями белорусов и россиян может быть обусловлено только различием их исторического опыта. Не углубляясь в древнюю историю, хочу только отметить различие в исторической памяти про Вторую мировую войну. Для России война 1941–1945-го стала очередной Отечественной войной из разряда кутузовской. Вторая мировая потребовала от России мобилизации всех внутренних резервов, огромного напряжения сил и миллионных жертв, но она закончилась и запомнилась прежде все как война победная, как еще один, самый важный триумф русской армии. Война затронула тысячи квадратных километров, но разве что 5% национальной территории России.

Для Беларуси война 1939–1945-го стала гораздо большей трагедией, потому что коснулась почти каждой семьи, расколола общество на советских патриотов и пронемецких коллаборантов, на фоне главного противостояния сопровождалась локальными конфликтами, такими как польско-белорусский, радикально изменила этнический состав населения. Для белорусов память про войну – это Хатынь, воспоминание не о подвигах, а о страданиях. Символический аналог Хатыни – Освенцим. В то время как для русского Мамаев курган – это очередное Бородино, воспоминание о стойкости и исключительности русского характера. Символический аналог могилы неизвестного солдата – такая же могила под Триумфальной аркой в Париже. Не исключаю, что найдутся исторические деятели, которым хотелось бы, чтоб их страна выиграла еще пару битв масштаба Сталинградской, но сомневаюсь, чтобы на вершину власти какой бы то ни было народ вынес человека, желающего своим соотечественникам повторения Хатыни или Освенцима. Отважусь утверждать, что именно разная историческая память о Второй мировой войне является одной из причин почему, несмотря на значительную степень языковой и культурной русификации белорусов, так отличается ментальность двух народов. То, что в схемах советских идеологов должно было стать цементом, который навечно соединит новую историческую общность, – советский народ, в действительности сегодня их разделяет.

Посредством единого информационного пространства за чеченской войной можно наблюдать почти вживую. Точнее, можно было наблюдать, пока в России было относительно свободное или безответственное – *as you like it* – телевидение. События в Чечне для восточноевропейцев – белорусов, украинцев или литовцев – тем более ужасны, что происходят на знакомой, узнаваемой территории, к которой наблюдатели недавно принадлежали сами, и часто там, где эти наблюдатели бывали лично. Белорусы живут в одном культурном пространстве с 65-летней пенсионеркой из Хабаровска, которую изнасиловал и убил 22-летний инвалид чеченской войны. Подобное озверение знакомо нам со времен Второй мировой, когда брат

доносил на брата и сосед убивал соседа. Этот факт присутствия и узнаваемости создает поле критического переосмысления. В последние года два грозненских руин на российских экранах я не видел. Но это не означает, что уменьшился страх оказаться на месте чеченцев или на месте русских солдат в Чечне – и то, и другое для белорусов еще реально или, по крайней мере, вообразимо. Этот страх остается в подсознании, накладываясь на повествования, транслированные в публичном дискурсе школьными учебниками, различными культурными продуктами, и на личной, семейной памяти о последней войне, через которую, как по краю конца света, прошла Беларусь.

Не открою Америки, сказав, что России тяжело рассчитывать на рост симпатий в Восточной Европе, пока продолжается чеченская война и не остановлен терроризм. Не знаю, разовьется ли в России стойкое неприятие любых войн, как это произошло в Европе после Второй мировой. Пока этого не видно – возможно, вирус небольшой концентрации только усиливает иммунитет. Даже мой родной дядька, отец упомянутого Антона, поддерживает эту войну. Мне тут нечего добавить.

## 7

Ощущение своей принадлежности к Европе в сегодняшней Беларуси менее сильно, чем во времена «Описания европейской Сарматии» (Матей Стрыйковский). Это правда, что белорусы чаще ищут в Европе убежища и протекции, чем видят в ней свою отчизну и цель. Чего мы хотим от Европы? Чтобы там не было России. «Беларусь – в Европу» для многих адептов этого лозунга значит прежде всего «Прочь от России». Европа *in se* не такая уж и цель для них. Тем не менее белорусы – я, ты, мы, они – разделяют с европейцами единую «культуру мира». Война, диктат, гонка вооружений, силовое решение межгосударственных конфликтов для людей этой культуры неприемлемы. И это вовсе не результат того, что мы, используя ввевшийся термин квазинаучной теории Гумилева, утратили пассионарность. Мы с Венеры, а не с Марса, потому что прошли через общие для всех европейцев испытания и осознание их: через норманнское завоевание, крещение огнем и мечом, ганзейскую торговлю, еврейскую конкуренцию, басурманскую угрозу, бунты нищих и казаков, ренессансное открытие человека и одновременно корней своей культуры, через очищение Реформации, барочную чрезмерность, рационализм Просвещения и закалку капитализмом, чтобы молот Второй мировой выковал, наконец, теперешнюю культуру мира и терпимости.

В центральноевропейской любви к Европе действительно много страха перед Россией, памяти про обиды прошлого и боязнь будущего. Нельзя упрекнуть белорусов в том, что они ищут в Европе спасения от угрозы, которая многим наблюдателям кажется надуманной. Нельзя объяснить это чувство сущностно свойственной белорусам русофобией. Конечно, не без этого (мы же все-таки соседи!). Тем не ме-

нее (и тут я просто повторяю мысли Юрия Андруховича об отношениях украинско-российских), ошибочно сводить наши чувства к этому стереотипу, к нашему комплексу младших братьев. Как ошибочна схема о двух испостасях Беларуси, одна из которых пророссийская и русскоязычная, а вторая Россию ненавидит и поэтому рвется в Европу.

Нет, мы не хотим, чтобы Европа вырвала из нас ту часть нас, которой является русская культура. В конце концов, она и не смогла бы сделать этого, потому что это зависит от нашего выбора, а не от Европы. Белорусы, как и остальные восточно-европейцы, бегут не от России как таковой, не от культуры Салтыкова-Щедрина и Чайковского, они бегут от евразийского беспорядка, культы силы, права сильного, от всего того, что развилось и укрепилось при освоении бесконечных просторов Азии и Сибири и что до сих пор не обуздано.

Стремлением интегрироваться в Европу руководит не только страх. Его диктует и связь цивилизаций, память о былом единстве, от норманнских времен до Наполеона. К интеграции склоняет и экономический прагматизм.

## 8

Практическую задачу присоединения страны к европейским структурам, вероятно, будет выполнять уже следующее за лукашенковским поколение политиков, неотягощенное культурными комплексами своих предшественников. Предпосылки этого создаются. Не только Беларусь все успешнее перенимает европейский опыт, но и Беларусь все лучше узнают на Западе. Это произошло не сразу. Для Запада (не для славянского мира, где Беларусь хорошо знали и раньше) она была в еще большей степени «нацией ниоткуда», чем Украина. Тем не менее с разной степенью трудности европейцы в прямом и переносном смысле освоили название новой страны, что расположилась на истоках Днепра, Двины и Немана. (По этому поводу анекдот. В 1992 г. французы решали, какой род будет иметь слово «Belarus» в соответствии с законами французского языка. Посольство Франции в Минске послало запрос во Французскую академию. Через полгода пришел официальный ответ: мужского.) В начале 90-х многие считали Беларусь геополитическим курьезом, академик Французской академии Элен Каррер д'Анкосс в чисто галльской манере призвала удалить ее с политической карты мира в пользу России и Польши. Теперь такого больше не услышишь, это уже не кажется политически корректным. Несмотря на отдельные неприятности, Европа заслужила громадное доверие белорусского демократического движения благодаря своему уважительному отношению к белорусской независимости и деликатному желанию не сделать ничего такого, что могло бы усилить угрозу исчезновения Беларуси с политической карты мира. Короче, благодаря произвольным и невольным усилиям двух сторон присоединение Беларуси

к Евросоюзу больше не кажется всего лишь громким лозунгом, а постепенно становится реалистичным завтрашним днем практической политики.

Когда же Беларусь «перейдет на узкую колею»? В смысле транспортном, наверное, не раньше, чем железнодорожные пути отомрут. А вот в смысле присоединения к евроструктурам можно смело прогнозировать, что это произойдет вскоре после перехода Беларуси от авторитаризма к демократии. Общая культура мира и терпимости – только предпосылка для полноценного включения Беларуси в континентальный политический и хозяйственный механизм. Кроме мира и ненасилия Евросоюз базируется на другой фундаментальной ценности – уважении собственности и вытекающем из этого уважении политической свободы человека и общества. Эта ценность еще не закрепились в Беларуси. Национальная или политическая свобода, в отличие от религиозной, до сих пор у нас оспаривается. Среди белорусов пока не укрепилось понимание того, что руководитель страны должен быть подотчетен своему народу точно так же, как народ подотчетен своему руководителю. Это, скорее всего, наиболее разительно отличает нашу страну от «стопроцентно европейских». И является оно следствием тоталитаризма, который, как сказал Уинстон Черчилль, запрещал все, а все дозволенное делал обязательным.

Тем не менее и ценность политической свободы проникает в Беларусь через пограничную колючую проволоку, благодаря уже никем более не оспариваемой свободе перемещения. В отличие от президента, который перед выборами 2001 года, предопределившими его второй срок, заявил: «Это моя страна! Я здесь родился, вырос и я здесь умру, чего бы это мне ни стоило!» – тысячи молодых белорусов так не думают. Они собирают смородину в Норвегии и штукатурят дома в Польше, пишут компьютерные программы для немецких железных дорог, гоняют машины из Голландии в Россию и даже, к сожалению, осваивают американский рынок порнографии. Свобода перемещения сближает культуры. (Правда, движение пока еще преимущественно одностороннее. Даже не верится, что когда-нибудь люди будут мигрировать не только из Беларуси в Германию, но и наоборот, как это было 500 лет назад.) Эта миграция тоже укрепляет уважение людей к такой ценности, как политическая свобода.

Как показывает опыт Испании и Португалии, демократия приживается за несколько лет. В Беларуси политическая свобода могла бы укореняться на примере религиозной. Уже сегодня попытки навязать человеку «государственную идеологию» зачастую воспринимаются так же негативно, как воспринимались бы попытки насильно окрестить человека в единственно правильную веру.

Этот процесс зреет сам собой, и неправильно было бы его торопить. Быстрое может стать тут врагом хорошего, а лекарства – более опасными, чем сама болезнь. Я прежде всего имею в виду желание как можно быстрее привнести в Беларусь демократию через Россию, как хотели бы многие на Западе. Если это на самом деле произойдет, а вместе с демократией придет и капитализм, полноценная модернизация, то это будет означать продолжение периода «широкой колеи».

## 9

В процессе евроинтеграции белорусского общества особое место могли бы занять белорусы Белостока и Вильнюса, которые уже сегодня видят себя белорусским Пьемонтом и хотят сыграть главную роль в процессе изменения белорусской идентичности. В присоединении Беларуси к Евросоюзу они видят в том числе возможность воссоединения с родиной без изменения границ. К тому же эти регионы сильно страдают от барьеров для перемещения товаров и людей. Все это делает их естественными локомотивами европейской интеграции. Привилегии для нацменьшинств, гарантированные законодательством Евросоюза, вдохновляют их сообщества на деятельность необычную и ранее не характерную для национальных кругов. Они дают убежище эмигрантам из Беларуси, обучают избирательным технологиям, учреждают средства массовой информации, предназначенные прежде всего для аудитории в Республике Беларусь.

С учетом того, что белорусская нация в своем развитии отставала от центрально-европейских на шаг, ее вливание в сложный европейский механизм не будет безболезненным и потребует создания особых механизмов защиты культурной идентичности. Дипломатия, терпеливые переговоры, структурная перестройка экономики, ежедневная работа интеллектуалов над созданием европейской идентичности белорусов – все это не так просто осуществить, учитывая полтора столетия разобщенности.

## 10

В 90-х гг. прошлого столетия белорусы перенесли несколько ударов, которые по своей силе мало отличались от того, что произошло с немцами после Первой мировой войны. Инфляция, которой сопровождался постсоветский экономический кризис, уничтожила фундаментальную белорусскую идею личности, состоявшую в том, что человек, который трудится в поте лица своего и экономит деньги, гарантирует себе обеспеченную старость. Вероятно, через десять лет Лукашенко не пришел бы к власти, если бы не эта неудержимая инфляция и Чернобыль. Но раны 90-х потихоньку заживают и даже появляются знаки того, что тебе посчастливится дожить до того времени, когда тысячи людей будут так же свободно выбирать Беларусь, а не Германию, как и 500 лет назад, и что среди них будут предки новых белорусских Шагалов, Мицкевичей и Вольских. Пусть теперь ты живешь в мире без серьезного нарратива социального прогресса, без политически значимого проекта социальной справедливости, потому что эти идеи и эти проекты надолго дискредитированы коммунистическим экспериментом мир, но, как и европейские интеллектуалы-рационалисты эпохи Просвещения, ты веришь, что совершенный свет возможен, и если пока еще не на всей планете, то хотя бы в единой Европе – на континенте без войн, без насилия, без дискриминации, где есть место и твоей нации и тебе.

## НЕТИПИЧНОЕ ОБЩЕСТВО

На фоне Европы белорусы – общество нетипичное. Я пишу *общество*, а не *нация*, поскольку – согласно принятому определению нации – этот вид сообщества требует наличия национального сознания: желательно повсеместного и достаточно развитого. Белорусы и жители восточной Украины как современные общества сформировались, опираясь на другие типы связи, нежели национальный. С этой точки зрения среди европейских стран они являются отступлением от правил. Поэтому для меня эти страны – весьма интересный объект для исследований.

Представленным тут рассуждениям значительно больше соответствовало бы название *Кто такие белорусы и как формировалась современная белорусскость?* Но проблема в том, что термин *белорусскость* (также как *польскость* и *российскость*) существует в белорусском и польском языках, однако непереводим на английский и русский.

Моя цель скорее проследить появление отличительности белорусов в их современной форме, чем описать процесс формирования белорусского общества, его структур, связей и учреждений, что вместе взятое превышает белорусское в идентификационном и культурном смыслах. Более того, сам разговор о белорусском обществе в XIX в. представляется определенным преувеличением (точнее было бы использовать термин *общество Беларуси*, поскольку тогда не было современного разграничения Литвы и Беларуси, а понятие «Беларусь» воспринималось совсем иначе, чем сегодня). Скорее стоило бы говорить о белорусской этнической группе как одной из составляющих сообщества бывшего Великого княжества Литовского, которое к XIX в. уже распалось на отдельные фрагменты.



Понятие общества предполагает определенное единство, осознающее свою отличительность, связанное и спаянное общими учреждениями. Белорусы в XIX в. такого единства не составляли.

Затем я должен подчеркнуть, что мое видение Беларуси и белорусов – это взгляд исследователя, который много лет интересуется восточным соседом. Поэтому он нетипичен для поляков, имеющих весьма ограниченные знания о Беларуси, белорусах и белорусской культуре. О странах Западной Европы средний поляк знает гораздо больше, чем о Беларуси, чаще всего воспринимаемой – благодаря масс-медиа – через призму сенсаций, связанных с деятельностью президента Лукашенко.

Представленные тут размышления – это описание механизма, благодаря которому белорусы существуют в их нынешней форме. И потому здесь мы опускаем явления, которые не имели решающего значения в процессе формирования современного белорусского общества.

### ***I. XIX век – в рамках традиций***

Говоря о людях, живших в XIX в., не стоит приписывать им мышление категориями, посредством которых мы сейчас оцениваем себя и все, что нас окружает. Скорее это был мир, более близкий реалиям последних десятилетий упадка Речи Посполитой, чем рубежа XX и XXI вв. Люди того времени чаще всего жили в маленьких локальных социумах, преимущественно сельских, объединенных родственными связями, знакомствами, ежедневным общением. Это были закрытые сообщества с отчетливым сословным разделением, где доминировало уважение к традиционной, в значительной степени сакрализованной, культуре. Время, в особенности на селе, не имело линейного измерения. Оно было замкнуто в четырех порах года, а мышление – в категориях *здесь и сейчас*. Изменения в эволюции общества касались скорее количества, нежели качества. Люди того времени жили в окружении мифов, сказок и легенд. Информация передавалась устно; книги были доступны только малочисленной элите. Знакомство с миром редко выходило за эту локализацию. Почти 90% жителей современной Беларуси жило в деревнях и подавляющее большинство не умело читать и писать. Господствовали традиционализм, стабильность и консерватизм. Так продолжалось до отмены крепостничества (до 60-х гг. XIX в.). Впрочем, и позже (до конца века) индустриализация этих земель была незначительной. А урбанизация, общественное движение и уровень образования – как итог репрессивных действий царской власти – были даже ниже, чем в первые десятилетия XIX в. В этом отношении Беларусь все больше отставала от Европы.

В сознании жителей белорусских земель того времени не было деления типа *я – белорус, ты – поляк*, которое существует сегодня. Во-первых, слова *Беларусь, белорус*, до середины XIX в. относились только к современной восточной Беларуси, к тому же они имели характер скорее топонимический, чем общезнаменительный. Кре-

стьяне называли себя здешними, местными, пинчуками, зареченцами, полешуками, веры польской (католиками) или русской (православными). Они думали в категориях деревни, прихода, ближайших окрестностей. Внешний мир им был почти незнаком. Вот почему они не имели национального сознания – ни белорусского, ни польского. Чтобы обрести его, следовало получить образование, создать связи, превосходящие местное сообщество, понять, что такое Беларусь, ее история, границы, культура. Игнатий Яцковский в 1858 г. писал, относя свои слова к нынешней территории Беларуси: «Наши крестьяне в Литве не имеют в русском наречии слова “армия”, а под словом “москалей” подразумевают “солдата” или “армию”, потому что привыкли видеть “москалей” только в мундирах; невоенных, иногда появляющихся в наших землях, называют “бурлаками”, и такого наш крестьянин никогда “москалем” не назовет. Россиянин во фраке именуется “пан”, а в шапке с красным околышем – “ассессор”». Россиян воспринимали согласно сословной или классовой, а не национальной принадлежности, потому что представление иноземцев в национальных категориях требовало собственного национального самосознания. Кстати, Эмма Еленская, хозяйка деревни Комаровичи в Мозырском повете, в начале 90-х XIX в. писала о крестьянах своей деревни: «По их убеждению, мужики-крестьяне всего света похожи на них, так же по-простому, по-белорусски разговаривают и исповедуют ту же православную веру». Такое представление проистекало из недостатка знаний о многонациональном характере мира. Крестьяне Беларуси, в том числе и крестьяне-белорусы, до конца XIX в. думали в категориях малой родины, а не большой страны, объединенной идеологическими связями. Слова, которыми они называли сами себя, их смысловой диапазон и территориальный охват, указывали на то, что, несмотря на несомненную эволюцию, которая происходила с белорусским обществом в XIX в., белорусские крестьяне еще не были способны на более широкие идеологические обобщения, охватывающие всю нацию.

Что же представляло собой белорусское общество того времени? В какой степени оно было белорусским? Речь Посполитая периода своего упадка сформировала политическую нацию, объединив элиты разных этнических групп, прежде всего польской, украинской, белорусской и литовской. Для этих элит – главным образом шляхты – нация было надэтническим сообществом. Объединяли ее шляхетские вольности и своя государственность, поскольку государство принадлежало шляхте, а не шляхта государству (королю, властям). Подобное произошло в конце XVIII в. во Франции, только там – в результате революции – национальная (гражданская) идея охватила **все** разноэтническое общество. Провансальцы, бретонцы, эльзасцы считали себя французами. Элита Беларуси, особенно в XVII и XVIII вв., подвергалась постепенной, и преимущественно добровольной, полонизации. Шляхетскость и права, которыми располагала польская шляхта, были для элиты Великого княжества Литовского настолько привлекательными, что вместе с правами она перенимала польскую культуру. Шляхта срединного статуса, жившая на территории современной Беларуси, подверглась окончательной полонизации только

в первые десятилетия XIX в., в период деятельности Виленского университета. Мелкая шляхта частично осталась белорусскоязычной, хотя ее католическая часть, как правило, считала себя польской. Эта польскость отличалась от современной. Она была политической (хотя и подпитывалась культурой польского этноса), а не как сейчас – культурной (этнично-языковой). То есть тогда не язык создавал нацию (не он был объединяющей ценностью), а политические права (как в революционной Франции). Этот тип нации в Центральной и Восточной Европе исчез в итоге подела Речи Посполитой (и Венгрии) Россией, Пруссией, Австрией (и Турцией). Политическая нация не могла существовать без собственного государства.

Распад политической нации создал возможность плебейским сообществам Центральной и Восточной Европы (чехам, словакам, украинцам, литовцам и белорусам) формировать свои нации. «Молодые» – хотя и имеющие многовековую этническую традицию – нации создавались, опираясь не на элитарную культуру шляхты и ее этос, как это было в случае с Польшей, а на культуру народных масс. На территории бывшей Речи Посполитой шляхта в основе своей все же представляла себя польской, а белорусскую и украинскую культуру воспринимала как холопскую. Среди представителей шляхты были, конечно, и исключения, но не они составляли этос «новых» наций.

«Битва» за форму будущего белорусского общества продолжалась на протяжении всего XIX в., но исключительно на уровне элит. Католические элиты (а во время упадка Речи Посполитой в конце XVIII в. преобладающее большинство элит было римо- или греко-католическим) определяли себя как *происхождения литовского, нации польской*. Это был отголосок представления о себе как о гражданине Речи Посполитой и одновременно жителе ее составной части – Великого княжества Литовского. Обе категории имели политический характер, но польскость преобладала над литовскостью. Беларусь была частью Литвы (малой родиной). Понятие *gente Rutheni*, появившееся позже, было вторично по отношению к *gente Lithuani* и несло в себе определенную культурную специфику, прежде всего осознание своей некогда православной русскости (но ни в коем случае не российскости).

Отдельные представители шляхты, воспитанные в этих категориях мышления, в XIX в. начали – несомненно, под влиянием идей просвещения и романтизма – белорусское литературное движение, но не национальное, а культурное. Среди них, прежде всего, стоит назвать – в порядке появления – Яна Чачота, Винцента Дунина-Марцинкевича, Константина Калиновского и умершего в 1900 г. Франтишка Богушевича. Шляхте было очень сложно полностью отождествить себя с народом и его культурой. Это требовало отказа от сословно-культурной элитарности, а именно она определяла шляхетскость. Для пишущих и говорящих в повседневном обиходе по-польски литераторов их белорусскоязычное творчество – обычно маргинальное по отношению к польскому – чаще было просто забавой, но порой под развлечением скрывались куда более глубокие мотивы: познавательные, научные, социальные. Эти люди стремились сблизить народную культуру и элиты, обогатить народ-

ной культурой общенациональную, вовлечь крестьянство в формирование нации, которая все еще воспринималась просветительно, политически и надэтнически. В этом контексте в первой половине XIX в. появился литературный, главным образом этнографически-культурный, вариант белорусской культуры. Его создатели не стремились к дезинтеграции традиционной общественной системы, а только хотели провести переоценку одной из самых существенных ее составных частей. Между прочим, общественное происхождение и национальное содержание литературных произведений, созданных инициаторами литературной белорусскости XIX в., значительно отличались от творчества крестьянского сына Тараса Шевченко, молодых семинаристов, создавших украинскую «Русскую Троицу» в Галиции, а также от того, что писали вышедшие из простого народа редакторы литовской «Аушры».

Но только небольшая часть католических элит страны стремилась развивать белорусскую культуру. В определенной степени белорусская культура воспринималась всего лишь как барьер, ограждающий от русификации. Но этого хватило для того, чтобы россияне, независимо от силы национального белорусского движения, назвали его «польской интригой». Создаваемая в XIX в. белорусская литература, которая тогда воспринималась исключительно в национальных и классовых категориях – в следующем столетии стала существенной составной частью белорусской идеологии как в ее национальном, так и в советизированном варианте.

Несмотря на изучение культуры белорусского народа, начатое в Виленском университете уже во втором десятилетии XIX в., и создание литературы на языке этого народа, идея белорусской нации тогда на территории Беларуси сформулирована не была. Впервые она проявилась в первой половине 80-х гг. в среде петербургских народников (то есть вне Беларуси), главным образом среди студентов Петербургского университета, членов нелегальной российской «Народной воли». В двух нелегально изданных номерах журнала «Гомон» (1884 г.) на русском языке была сформулирована идея белорусской нации, отделенной от польскости и католицизма, но объединенной с Россией в качестве полноправного члена будущей федерации. Ситуация, в которой возник «Гомон», была прежде всего итогом поражений восстаний (1831 и 1863), ликвидации Виленского университета (1832) и созревшей необходимости формирования белорусской элиты в России или вне царской империи. Тексты, содержащиеся в журнале, свидетельствовали о движении – хоть еще и не до конца осознанном – белорусского сообщества от польскости (а тем самым и от европейской культуры в ее латинской форме) к российско-православной культурной среде. «Гомон» провидчески обозначил многие будущие тенденции, но сам остался незамеченным. Гомоновцы не оставили после себя ни непосредственных продолжателей, ни влияния на создателей белорусской национальной идеологии предреволюционного периода.

Очевидно, что целью россиян после захвата Беларуси была постепенная русификация края. Прежде всего этому должна была служить ликвидация униатской церкви (1839) и переход униатов в православие. Русифицированные православные

элиты сосредоточивались вокруг близких им элементов региональной культуры, чем способствовали поддержанию местного патриотизма, но уже объединенного с российскоцентризмом и любовью к России. Российское было для них чем-то более широким, нежели белорусское. В этих условиях развился – идеологически дифференцированный – западноруссизм. Он имел исключительно русскоязычный характер. Даже в XX в. западнорусы противопоставляли себя белорусскому национальному движению, все еще называя его «польской интригой».

Западноруссы имели значительно большие заслуги в развитии белорусской этнографии, чем белорусского языка, который россияне – ввиду отсутствия традиционных с ним связей – воспринимали как потенциально конкурентный. Западнорусы отличались от *gente Lithuani, natione Poloni* XIX в. тем, что в значительно меньшей степени уважали автономность Беларуси, решительно подчиняя ее большей – в их случае российской – общности. Они оценивали белорусскую уникальность лишь в этнографических, локальных и сентиментальных категориях, а не в идеологических и политических, следовавших из традиции принадлежности к Великому княжеству Литовскому как части бывшей Речи Посполитой. Существующий в Беларуси того времени этнонациональный уклад разительно отличался от российского, потому российские власти стремились его уничтожить.

Насколько XIX век повлиял на формирование будущего белорусского общества? Какая судьба ожидала те формы белорусской культуры XIX в. (в том числе польско-белорусской и российско-белорусской) и связанные с ними сообщества, многие из которых брали свое начало еще в Великом княжестве Литовском?

Преобладающим большинством белорусского социума тогда были крестьяне (согласно переписи 1897 г. почти 97,7% белорусскоязычного населения жило на селе, среди них и мелкая шляхта, часто совсем незначительно отличающаяся уровнем материального быта от крестьян). Несомненно, народный характер белорусского сообщества повлиял на его позднейшую судьбу, прежде всего через изменение самой сущности крестьянской общины. Раньше крестьяне самоопределялись в категориях родства и не стремились в мир контактов с другими людьми. «Сообщение между двумя деревнями, – писала в конце XIX века уже цитированная Эмма Еленьска, – очень редко. Странствуют преимущественно евреи, а среди поселян есть люди, которые за несколько десятилетий своей жизни не отваживались путешествовать дальше, чем на несколько верст от дома».

Современный белорусский крестьянин – как и во всей Европе – умеет читать и писать, он оперирует идеологическими категориями большого мира (правда, не национальными, а советскими). Свою белорусскую идентичность он преимущественно воспринимает в диалектологическом и этнографическом измерениях, как сферу, второстепенную по отношению к российской городской культуре.

Еще один пласт белорусской культуры в XIX в. создавали те, кто называл себя *gente Lithuani (Rutheni), natione Poloni*. У них была родовая связь с прошлым этого края, его традицией, культурой, религией. Впрочем, эта связь была значительно ос-

лаблена шляхетским патернализмом и сословным высокомерием. Вместе с вымиранием шляхты (в первую очередь вследствие ее физического уничтожения после большевистской революции) и ориентацией подавляющего большинства населения на Москву и российскую культуру эта социальная группа (слабее всего отраженная в современной белорусской культуре) вместе со своим специфическим восприятием окружающего мира перестала существовать.

Дальше мы вспомним социальную группу, непосредственно связанную с предыдущей. Она тоже походила из шляхты, однако в своих литературно-культурных (но не национальных) устремлениях была уже белорусской. Эта социальная группа также ушла в прошлое, поскольку основа современной белорусской культуры абсолютно другая (не шляхетская, а интеллигентско-плебейская) и имеет выразительное национальное измерение.

Следующая группа, которая формировала идею национальной отличительности в XIX в., отсылает нас к деятельности «гомоновцев». В XX в. она всегда была в меньшинстве, ограничивая свое влияние элитами страны. Часто неосознанно обращалась к своим петербургским «корням».

Последняя социальная группа, представляющая западноруссизм, более всего повлияла на мышление белорусов в XX в. Западноруссизм после революции 1917 г. был видоизменен – он советизировался и до сих пор в своем новом качестве доминирует в независимом белорусском государстве. Его нынешняя форма отличается от прежней тем, что если раньше западноруссы считали себя одновременно белорусами и россиянами (русскими), то нынешние белорусы в своем большинстве не считают себя россиянами. В сравнении с XIX в. их чувство региональной обособленности в отношении россиян развилось весьма сильно.

Стоит отметить, что белорусский этнос пережил XIX век в определенной степени благодаря поделу Речи Посполитой и захвату белорусских земель Россией. В результате чего формирование политической польской нации не вышло за пределы элит, главным образом шляхетских. Крестьянская культура белорусской этнической группы сохранилась тогда не только из-за отсталости страны и закрытости деревенских сообществ от влияний извне. Но еще и потому, что негосударственная, репрессированная царской властью польская культура оказалась слишком слабой, чтобы местные крестьяне массово перенимали ее (хотя частичной полонизации в то время подверглось литовское население Виленщины), а российская еще мало укоренилась для того, чтобы быстро распространиться в обществе. Может быть, сохранение I Речи Посполитой привело бы, с одной стороны, к формированию современной политической польской нации (по-прежнему через ассимиляцию белорусов поляками), но вместе с тем в государстве, значительно более демократическом, чем Россия, увеличило бы шанс более раннего появления белорусского национального движения. Культурное подчинение России привело к тому, что православные массы белорусского народа выразительно отмежевались от национальной белорусскости как в царской России после 1905 г., так и в СССР. Они не после-



довали за национальными белорусскими элитами, которые обращались к западным ценностям.

По мнению многих исследователей, в Европе последних двухсот лет нация оказалась носителем ценностей и позиций, формирующих современные общества. Ненационализированность белорусов была причиной слабости модернизационных тенденций как в XIX в., так и в независимой Беларуси после 1991 г.

Однако почему в концептуальном плане белорусы не были затронуты процессами создания нации в XIX в.? Причин этому было слишком много, чтобы на них сосредоточиваться дольше. Заметим лишь, что белорусское общество тогда было почти исключительно крестьянским, а православие необычайно сильно влияло – в сравнении с католичеством – на консервацию жителей деревни в реалиях богатой народной культуры, ограждающей одиночку от внешнего мира, который представлялся как далекий, чужой и не совсем реальный (в восточной Беларуси дополнительно замыкая крестьянина в систему *общины*). Православное сельское общество в течение большего, чем католицизм, времени не было способно к порождению новых идей. Можно предполагать, что богатство православной культуры, объединяющей местные общины, было одним из элементов, предохраняющих православные (а ранее униатские) сельские сообщества от вытеснения их этнической культуры другими народными культурами, особенно польской. В то же время римский католицизм, вытесняя духовную культуру, имеющую дохристианские корни, частично унифицировал католические общины, облегчая им выход во внешний мир, повышая шансы на внеобщественную активность и национализированность. Костел, в противоположность церкви, был более склонен к национальному сепаратизму (например, литовский костел). Что важно, ликвидация униатского костела лишила белорусов существенного отличительного признака, отделяющего их как от поляков, так и россиян и, следовательно, дающего возможность укрепляться национальному сознанию (как в случае с галицкими украинцами). Серьезной проблемой была политика царской власти – врага белорусских национальных тенденций, в течение почти 40 лет (до 1905 г.) не разрешавшего печатать книги на белорусском языке и до конца своего существования запрещавшего на нем преподавать. Белорусов считали россиянами, их западным ответвлением, которое приобрело свои специфические черты под влиянием польской культуры. Фальсифицировалась история и нигде не упоминалось, что русская традиция Киева и Полоцка (а после белорусская и украинская) была богаче и на века старше, чем Москвы и особенно Петербурга, городов, построенных на завоеванных, первоначально неславянских землях.

Подводя итог, можно утверждать, что XIX век был для белорусов – а особенно для белорусского крестьянства – веком противостояния на их землях двух культур: российской и польской, а также двух религий: православной и католической. Белорусские крестьяне, вместо того чтобы развиваться национально, сплывались – безусловно, под влиянием политики царизма, которая провоцировала конфликт между обществами в Беларуси – на почве религиозной принадлежности, замыкаясь

в границах своей этничности. Белорусский народ в XIX в. так и не смог выйти за доиндустриальные традиционные структуры, ценности и связи. В самом конце века в губерниях, где преобладали католики, грамотных крестьян было двадцать с небольшим процентов – главным образом на западе страны, а в губерниях, где преобладали православные, – только несколько процентов. Белорусский народ в минимальной степени был охвачен процессами индустриализации, урбанизации и общественного движения. Люди жили в закрытых общинах, сопротивляющихся переменам, и неохотно заглядывали в прошлое или будущее. Им было достаточно традиционной культуры, созданной предками, и непосредственных контактов внутри близкого окружения знакомых людей. Принятие какой-либо идеологии, описывающей современный мир за пределами их ограниченного пространства, требовало ломки традиционных структур. Модернизация общества случится только в будущем. Белорусское национальное движение появилось лишь в начале XX в. Оно будет одним из самых запоздалых национальных движений в Европе.

## ***II. XX век – между национальным и советским***

В начале XX в. в Беларуси произошли события, которые со временем могли привести к появлению новой европейской нации или даже государства между Россией и Польшей. Появилось – правда, весьма слабое – белорусское национальное движение, а с 1906 г. стали возникать белорусские издания и культурные учреждения. Начала развиваться белорусская национальная идеология. Казалось, белорусы наконец ступили на дорогу, по которой шли все народы Европы. Но здесь у них сразу возникли проблемы. Во-первых, оказалось, что элиты, обращающиеся к белорусскости, – весьма невелики. Противостояние на территории Беларуси двух элитарных культур (польской и российской) рассредоточило существовавшие тогда собственно белорусские элиты. На это рассредоточение влияла и религия: католики отдавали предпочтение польской культуре, а православные – российской. Зажиточные элиты страны (помещичество), жившие здесь «испокон» и чаще всего имевшие белорусские корни, частично способствовали зарождающейся современной белорусской культуре, но из-за своей шляхетскости редко считали себя белорусами по национальности (таких были считанные единицы). Их российский эквивалент – преимущественно россияне, которые прибыли из российской глубинки и заняли поместья местной шляхты, конфискованные царскими властями после поражения январского восстания, – тем более не могли считать себя белорусами, как и местные представители царских властей, администрация и армия. Оставалась мелкая православная шляхта, дети священников, продвинувшиеся по социальной лестнице потомки крестьян. Но и они преимущественно оставались за пределами главного течения национальных процессов; шляхта (когда-то униатская) колебалась между традиционной польскостью и российской культурой, которая усиливала свое влия-

ние; православное духовенство и их потомки создавали западнорусское движение, враждебное белорусской национальной идеологии.

Правда, во время переписи 1897 г. почти 8 тыс. представителей интеллигентских профессий назвали белорусский язык родным, но эти люди были пассивны в культурном и национальном плане, так как получили образование на русском или польской языке, и на том же языке разговаривали на работе. Признание белорусского языка родным являлось указанием на этническое происхождение, симпатией к народу, в котором они выросли, и к его языку. Проблема заключалась в том, что на протяжении всего XIX в. представители белорусского народа, которые принимали российскую или польскую культуру, считали это нормальным и не видели для себя никакой иной возможности. Не-крестьянская, элитарная белорусская культура фактически не существовала, и в любом случае ее не рассматривали как реальную альтернативу. Начало XX в. показало, что такое мышление осталось доминирующим и в ситуации зарождения белорусского национального движения, его идеологии и издательской деятельности. Крестьяне, несмотря на то что с интересом читали белорусскую прессу, редко национализировались под ее влиянием. Белорусский язык по-прежнему считался крестьянским. Переходя – обычно в городах – на русский или польский язык, крестьяне ощущали социальный рост. Причиной тому была слабость элитарной белорусской культуры. Более того, создатели белорусского национального движения, желая быть понятыми крестьянской средой, с самого начала придавали своей идеологии выразительное классовое звучание, сосредоточиваясь на классовых и народных проблемах. Недостаток элитарности в национальной белорусской культуре ограничивал возможность принятия ее людьми, которые уже немного поднялись по социальной лестнице, потому что это ослабляло их социальный статус. Низкий социальный статус белорусской культуры стал одной из причин, тормозивших процесс национализирования белорусов на протяжении всего XX в. И довлеет над ними до сих пор. В Польше и в России народ ценил культуру элит потому, что она социально возвышала человека. В Беларуси уже в самом начале национального движения создалась ситуация, которую можно было бы назвать «национальной квадратурой круга». Недостаток белорусской элитарной традиции спровоцировал то, что молодые, слабые и немногочисленные элиты – желая укрепить свою «естественную» национальную базу – не разрабатывали собственную элитарную культуру (традиционно возвышающуюся над народом), а опирались на народность, что, в свою очередь, не удовлетворяло желания тех представителей народа, которые стремились возвыситься в своем социальном статусе. Возможно и поэтому перед Первой мировой войной круг национально активных белорусов насчитывал всего лишь от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Крестьяне в большинстве своем еще не были готовы к национализированию. У них, как и у значительной части выходцев их белорусских деревень, живущих в городах, не было белорусского национального самосознания (равно как российского и польского). Белорусское национальное движение появилось очень поздно, и у него

было слишком мало времени, чтобы изменить национальную ситуацию в Беларуси за десять предвоенных лет.

Литовцы одержали национальную победу главным образом благодаря своему языковому и религиозному (католицизм) отличию от россиян, а также политике царской власти, использовавшей литовцев против поляков. Белорусов россияне воспринимали совсем иначе, да и белорусская культура меньше, чем литовская, отличалась от российской. Интересно, что белорусское национальное движение до самой Первой мировой войны преимущественно ограничивалось Западной Беларусью и было очень слабо развито на востоке страны. Его создателями были – так же, как в случае с белорусской литературой в предыдущем веке, – в основном католики, то есть люди с прозападными взглядами, которым было легче, чем православным, дистанцироваться от России. Католицизм – в сравнении с православием – более способствовал формированию индивидуализма и личностного самосознания, облегчал расширение сферы свободы, отделял костел от государства (власти), частное право от гражданского. Это и спровоцировало более быструю национализацию католических народных масс, чем православных. Значительная доля католиков в белорусском национальном движении была не только в начале XX в., но и в конце столетия, непосредственно перед и после того, как Беларусь получила независимость. Как тогда, так и сейчас это одна из причин отторжения национальной белорусской идеологии православным большинством.

В годы Первой мировой войны белорусское национальное движение развивалось в основном благодаря поддержке оккупировавших Беларусь немцев. Правда, оно было более слабым в сравнении с литовским, тем более что россияне (большевики) решительно противостояли появлению независимого белорусского государства. Они даже были готовы отдать полякам Минск с условием, что те не допустят появления белорусской государственности. Поляки после проигранной Пилсудским восточной кампании и падения планов – впрочем, не совсем понятных – создания между Польшей и Россией государственных образований, связанных с Варшавой, включили в создаваемое ими государство западные, преимущественно католические, территории Беларуси (отказавшись от предложения захватить Минск из-за православного вероисповедания большей части его населения). И тогда советская власть постепенно начала строить вокруг Минска Белорусскую Советскую Социалистическую Республику.

Конечно, необходимо подчеркнуть, что Беларусь, так же как и Украина, не получила государственную независимость не только потому, что этому сопротивлялась Москва (а Польша не была готова отдать все земли, которые сегодня входят в состав этих государств, например Восточной Галиции, несмотря на то что в ее интересах было создание буферных земель между Россией и Второй Речью Посполитой), но и в значительной степени потому, что у народов Беларуси и Украины еще не было оформившегося национального самосознания, они думали преимущественно в категориях сословных и классовых, что способствовало потенциаль-

ному союзу с советской Россией. Украинцы массово не поддержали Петлюру, что предопределило судьбу украинского государства, и, сходным образом, еще менее национально оформленную Беларусь. Белорусы, в большинстве своем из-за религиозных (культурных) причин склонявшиеся к России и не особенно волновавшиеся за свою субъектность (так же как, собственно, и сейчас), становились заложниками политических игр соседей. Пример балтийских республик показывает, что недвусмысленное заявление общества о своей полной независимости давало шанс на успех. Правда, там международная ситуация была другой – россияне не были сильно заинтересованы в том, чтобы поглотить их (так же как и сейчас).

Не похоже, что словацкое национальное движение после Первой мировой войны было сильнее, чем белорусское (хотя и появилось значительно раньше). Однако последствия союза словаков с чехами и белорусов с россиянами, тянувшиеся несколько десятилетий, оказались резко отличными. Словаки полностью национализировались и исправно управляют своим государством. А белорусы находятся в совершенно ином состоянии своей государственности и общественной активности (способности к реформам). Связь с российской культурой затормозила развитие национального сознания, сделала белорусов сообществом, управляемым извне (или с оглядкой на Москву), ищущим спасения в столице России. Это ментально отдалило белорусов от Европы. А вот словаки серьезно укрепили свою субъектность – хотя выход из европейского (латинского) культурного круга им никогда не грозил.

После создания Белорусской Советской Социалистической Республики (в рамках СССР) мы можем с полным правом говорить уже не только об обществе Беларуси, но и наконец о белорусском обществе – формирующемся вокруг институтов, созданных большевиками. 20-е гг. были периодом так называемой *белорусизации*, насильственного введения белорусского языка на всех уровнях строящегося советского общества, прежде всего образования и администрации. Тогда казалось, что БССР – некое подобие независимой Беларуси. Успехи в белорусизации статистически были ошеломляющими. Но немногим медленнее был и отход от этих успехов, что свидетельствует о поверхностном принятии белорусского языка, культуры и тем более национальной идеологии. Запрещение белорусскости не спровоцировало широких гражданских протестов. Белорусы, сотни тысяч которых отправляли в советские лагеря и массово расстреливали (например, Куропаты были братской могилой для как минимум 100 тыс. жителей Беларуси), поспешно отказались от национальной идеологии. В отличие от литовцев (имевших, правда, на протяжении двух десятилетий действительно независимое государство), много лет боровшихся после Второй мировой войны с советскими оккупантами, белорусы (если не считать Слуцкого восстания 1920 г., подавленного за один месяц и не имевшего большого общественного значения) не поднимались в защиту Беларуси и своей белорусской идентификации (большевистское партизанское движение во Второй мировой войне – явление, связанное с совсем другой сферой общественного сознания). Белорусские культурные, политические, национальные элиты были истреб-

лены на несколько десятков процентов. Было уничтожено преобладающее большинство белорусских учреждений и творческих организаций (например, около 90% членов Белорусской академии наук и литераторов). В результате оказалось, что БССР не только не распространяла белорусскую культуру, но и репрессировала всякие выходящие за пределы этнографии и фольклористики формы белорусского своеобразия. Коллективизация сельского хозяйства уничтожила белорусское крестьянство. А когда у бывших крестьян большевики забрали удостоверения личности, то на долгие десятилетия привязали их к земле, как в эпоху панщины, сделали полностью зависимыми от власти, а практически от председателя колхоза или совхоза. Если принять во внимание, что по-прежнему преобладающее большинство белорусов проживало на селе, то можно утверждать, что основная часть населения жила в условиях, которые можно определить как неофеодальные. Тем более что белорусская деревня была очень бедной, одно время даже почти голодала. За похищение нескольких колосков суд по закону мог приговорить к смерти, обычно, правда, приговаривали не менее чем к 10 годам тюрьмы. «По этому закону, – пишут Олег Латышонок и Евгений Миронович, – в Беларуси 1933–1934 гг. осуждено по меньшей мере 11 тысяч человек». Репрессии жителей Беларуси (не только белорусов, но и в большей степени поляков), массовые убийства, уничтожавшие целые классовые прослойки (зажиточных крестьян, культурных деятелей) – в литературе часто определяют как геноцид. Именно в общественных отношениях, свойственных сталинизму, стоит искать одну из главных причин современного белорусского безволия, нежелания совершать активные действия, склонность к замыканию в рамках семьи или небольшого товарищеского сообщества, соглашательства (выросшего когда-то из страха) при одновременной дистанцированности от того, что официально, а потому чуждо и может быть опасно. Белорусы на протяжении нескольких десятилетий слишком рисковали (часто своей жизнью), выходя за рамки социального конформизма, чтобы сейчас прямо проявлять свой неконформизм.

Эта ситуация усугубляется тем, что современная белорусская культура практически полностью лишена элитаристических качеств. Отрыв от культуры старых элит начался в БССР с отказа от заведомо «националистических» нашанивских элит (называемых так от белорусского издания «Наша Нива», выходившего в 1906–1912 гг. в Вильне) и – по классовым причинам – от российских элит дореволюционной Беларуси, а также решительное отмежевание от физически уничтоженных или эмигрировавших в Польшу сообществ *gente Poloni*, которых Москва считала не только классовыми, но и национальными врагами (несущими национальную угрозу российскости). Современная белорусская культура строилась исключительно – или почти исключительно – с опорой на крестьянскую культуру, со всей ее восточно-европейской спецификой. Польский исследователь Иосиф Обрембки, описывая в середине 30-х гг. XX в. полешуков (оставшихся с польской стороны границы), характеризовал их способ мышления следующим образом: «Если власть русская, то и народ русский, а при польской власти – польский, а при татарской – татарский».



В ментальности белорусов крестьянская покорность подавила характерную для шляхетско-интеллигентских элит склонность к восстанию во имя идеи. В течение поколений сформировалось убеждение, что управляют они (россияне, поляки – одним словом, власть), а мы, бедный народ, должны не дать им себя спровоцировать, и нам следует заботиться только о своем: материальном, каждодневном, бытовом. Последствия этого убеждения ощущаются до сих пор. Народ трактует власть на восточный, патерналистический манер, откуда и отношение к президенту Лукашенко как к батьке, который хвалит и наказывает своих детей. Выбирать правителя – не главное, главное, чтобы он был добрый, справедливый, обеспечивал покой и относительное благосостояние.

Процесс белорусификации общества в 20-е гг. не имел шансов на успех, потому что противоречил классовой советской идеологии. В значительной степени он являлся манипуляцией тогдашних властей, сознающих необходимость в будущем избавиться от пробелорусских настроений первого десятилетия существования БССР. Одновременно с репрессиями в Минске с другой стороны границы, во II Речи Посполитой, начали радикально ограничивать (массово ликвидировать) преподавание на белорусском языке. Тормозилось развитие белорусской национальной культуры и особенно интеллигенции. Белорусских крестьянских сынов, которые выносили из дому ощущения классовой неприязни и материального недостатка, было просто склонить к коммунизму. Чеслав Милош, польский нобелевский лауреат, живший перед войной в Вильне, спустя годы вспоминал, что если польские власти на белорусских землях «разрешали основывать отдельные школы, то результаты оказывались, с их точки зрения, очень плохи. Крестьянский сын, раскрывая с помощью знаний свои укоренившиеся комплексы, поднимался на первую ступень цивилизационного посвящения, то есть, как правило, становился коммунистом и действовал в пользу “реунификации” – отделения от Польши ее восточных воеводств». Та часть белорусских интеллигентов, которая переехала в БССР (часто покидая польские тюрьмы по обмену с СССР), была там уничтожена в течение нескольких лет. Жизнь свою спасли те, кто остался во вражеской, как они думали, белорусам Польше (сидевшие в тюрьмах за коммунизм и сотрудничество со службами СССР). В Польше не убивали белорусов, но политику по отношению к ним нельзя считать ни политически разумной, ни достойной похвал с точки зрения морали. В результате заключенного между гитлеровской Германией и сталинским СССР пакта Риббентропа – Молотова западно-белорусские земли – после нападения СССР на Польшу в сентябре 1939 г. – были включены в состав БССР, а следующая новая граница окончательно была установлена после Второй мировой войны. Западные белорусы в национальном плане оказались слишком слабыми (преобладающее большинство осталось ненационализировано), чтобы значительно повлиять на белорусскую культуру в послевоенной БССР. Однако Западная Беларусь очень резко выделялась на фоне Восточной. Ее население было значительно более религиозно, индивидуализировано, обладало более высоким уровнем трудовой этики (колхозы были более производительны), оно

было более прозападным и пронационалистическим, хотя эта разница несравнимо меньшая, чем между Западной и Восточной Украиной (Львовом и Донбассом).

С начала 30-х гг. в БССР реализовывалась политика советизации белорусского общества, чему одновременно сопутствовал процесс его русификации. Современное белорусское общество было построено с опорой на советскую, а не национальную идеологию. Советскость развивалась не вместе с национальным сознанием, а вместо него. Массовое разрушение постфеодальных локальных деревенских структур началось только в СССР. Грамотным крестьянам необходимо было по-новому описывать окружающий мир: прежде абсолютно чужой и значительно более широкий, чем известный им до сих пор. Мир, в котором иммигранты по отношению к себе болезненно ощущали анонимность одиночки и недостаток категорий, объясняющих новые для них общественные реалии. В этих условиях идеологизированные категории мышления помогли определить смысл жизни, упорядочить окружение, укорениться в новом типе советского общества. Оно объединило распадающиеся докапиталистические структуры, укрепляя их относительно современной системой ценностей и связей (нового целостного видения мира). Таким образом, была радикально ослаблена потребность формирования национального. Как минимум от 30-х гг. XX в. национальное течение имело характер, маргинальный по отношению к доминирующей советскости, что выражалось в классовой специфике идеологии, которая должна была укрепить и объединить общество через управление общественными процессами сверху, в непартнерских отношениях между властью и личностью (группой). Всему этому способствовали недостаток (или слабость) национальной гордости, отсутствие готовности к самопожертвованию во имя национальных идеалов, несформированность понятия белорусского национального интереса (и активного оперирования этим термином), нежелание индивидуальной собственности и индивидуализма в целом, свободного рынка и демократии в западном стиле. А также ощущение зависимости от Москвы и того, что есть российское (российской культуры и языка), представление себя исключительно как региона в границах СССР и восточнославянского сообщества. Белорусское преподавание почти исчезло, уступив русскому. Русский язык стал языком высокой, городской (и одновременно массовой) культуры (белорусский остался почти исключительно в деревне). Но русский язык не национализировал белорусов, не сделал из них россиян – он их советизировал, субъективизировал. Но интересно, самое ценное, что было создано в современной белорусской культуре, создавалось чаще не по-русски, а на белорусской языке, в узком кругу белорусских интеллектуалов. Белорусский язык, таким образом, несет окрашенный национальными эмоциями нонконформизм.

Современное белорусское общество – это в значительной степени советизированное этническое крестьянство. Несмотря на насильственную урбанизацию и индустриализацию 60–70-е гг. прошлого века. Безусловно, белорусы – современное общество. Они образованны, урбанизованы, индустриализованы, оценивают ближайшее окружение и глобальные процессы идеологическими категориями (а не

категориями маленького локального круга), строят общественные институты, у них даже есть – правда, полученное в подарок от истории, а не завоеванное – собственное государство. Но над ними тяготеет нелегкое прошлое. Государство они воспринимают скорее в категориях социальных, чем как ценность саму по себе, во имя которой другие народы Европы шли на баррикады. Их понимание себя в понятиях обособленного регионализма (правда, очерченного исторически, политически и культурно) выражается в готовности объединения с Россией, хотя кажется, что они постепенно привыкают к своей независимости и готовы к более выразительному, чем когда бы то ни было раньше, подчеркиванию своего отличия в случае объединения с восточным соседом. Они считают, что демократия грозит беспорядком и анархией (и потому без особых протестов одобрили в середине 90-х гг. ликвидацию парламента, избранного на действительно свободных выборах, но, по их мнению, бессмысленно препирающегося с властью), а свободный рынок – бедностью. Так, конечно, думают не все (тем более – не минская интеллигенция), но все же большинство *простого народа* Беларуси.

Преобладающее большинство белорусов чувствует культурную связь с Россией. Но одновременно с этой провосточной позицией белорусы ощущают себя и европейцами. Они неприязненно думают о НАТО (постсоветская инерция) и достаточно положительно о возможности вступления в Европейский союз – с материальной точки зрения. Таким образом, культура связывает их с Востоком, а желание обеспеченной жизни – с Западом. В принципе белорусы все еще не построили ни нации, ни государства. Это государство (СССР) создало их как сообщество. Они не стали сообществом – как, например, поляки – в процессе борьбы за свободу, восстаний против государства-оккупанта (сотворившего Беларусь) и создания идеологии собственной независимости. Про свою древнюю историю они знают немного (повсеместно фальсифицированную) и не очень-то хотят знать. Они по-прежнему живут мифом Второй мировой войны, хотя потери их были огромны (официальные источники говорят о приблизительно 2 млн павших), а победа означала дальнейшее порабощение. Большинство людей думает в категориях материального быта, жизни одним днем, предпочитает российский язык, а белорусский часто ассоциируя с враждебным их ментальности национализмом. Падение СССР и вместе с ним советской идеологии забрало у белорусов опору – мир ценностей, благодаря которым они существовали, не дав ничего равноценного взамен (по убеждению большинства). Они являются скорее собранием одиночек, чем сильным сообществом. Им не хватает – если не считать элит – национального самоощущения (пробуждающего общественную активность, национальное достоинство), ценностей, которые бы склонили к самоотверженности, трудным реформам во имя соперничества с другими народами ради лучшего будущего.

Белорусам никогда не позволялось формирование независимых собственных элит. Продвигающиеся по социальной иерархии всегда оглядывались на Москву, ожидали звонка из столицы – той настоящей, великой резиденции империи. Бело-

руссы должны сначала воспитать свои элиты, думающие в категориях собственного государства, преимущества его интересов (особенно национального интереса), гордости за собственную культуру и историю. Узкий круг людей, думающих таким образом, в Беларуси уже существует. Каждый год независимости укрепляет шанс на существование белорусского государства. Появляются группы людей (государственная администрация, бизнесмены), которые заинтересованы в существовании белорусского государства, хотя созданная в 1991 г. Республика Беларусь значительной частью ее граждан воспринималась в тех категориях, какими некогда определялась БССР, то есть скорее политической, хозяйственной и культурной автономии в рамках большого организма. Белорусы, стремясь к близкому союзу с Россией, все же помнят, что даже в СССР они были отдельной республикой со своим правительством и парламентом. Желая быть с Россией, они не желают быть россиянами. Будущие белорусско-российские отношения они видят как модернизированную проекцию прошлого: не поглощение Беларуси Россией, но и не однозначный с ней разрыв. Постепенно они привыкают к независимости. В Европе конца XX в. легче было создать новое государство, чем сегодня ликвидировать его.

В то же время политические партии имеют в Беларуси слабую общественную поддержку. Партийная система выкристаллизована слабо (что понятно – принимаемая во внимание история последних двух столетий) и лишь в небольшой степени опирается на традиции. Беларусь – страна в большей степени левых взглядов, чем правых. Национальные партии с прозападной ориентацией (например, Белорусский народный фронт) не пользуются особой популярностью. Национализм, понимаемый как идеологизированная форма возвышения над другими народами, в Беларуси в ярко выраженной форме практически не существовал.

Трудно найти ответ на вопрос, как вытеснить советскую идеологию, на которой основывается современное белорусское общество, иной – национальной, которая наделила бы белорусов общественным динамизмом и сильным чувством солидарности. Организация этого процесса требует создания механизма, который бы позволил заместить один существующий тип связи другим (что возможно лишь при появлении в обществе потребности в изменениях). Наверное, это легко сделать на уровне отдельной личности, но не на уровне 10-миллионного народа. Объединяющая сегодня белорусов система ценностей не способствует созданию гражданского общества.

Подводя итог, можно сказать, что, во-первых, белорусы отличаются от преобладающего большинства народов современной Европы тем, что, с опозданием выйдя из феодализма, были объединены в своей современной форме, опираясь не на национальную идеологию, а на классовую в ее советской версии. И до сих пор они смотрят на мир через призму этих ценностей. Во-вторых, их национальная недооформленность – результат частых изменений в принадлежности к различным государственным образованиям (Великому княжеству Литовскому, России, Польше, Беларуси), языкам (белорусский, польский, русский), религиям (в исторической

очередности: православие, греко-католицизм, православие, римо-католицизм и разные варианты протестантизма). Здесь постоянно сменялись власть, религии, языки, цивилизационные ориентации – белорусский крестьянин научился жить в условиях пролетающих над ним исторических бурь. Даже тогда, когда перебирался в город и там обретал более высокий социальный статус. Ему не от кого было учиться гражданской активности. На судьбу белорусов значительно повлияли соседи. В последние два века – россияне больше, чем поляки (впрочем, россияне не считают белорусов отдельным народом). Российские власти – принимая Беларусь как страну, находящуюся в сфере их влияния, – не способствуют реформированию и демократизации белорусского общества. Они боятся, что демократическая и самостоятельная Беларусь повернется в сторону Европы. Поляки хотели бы видеть Беларусь страной с сильным гражданским обществом, демократическую и богатую. Тогда она будет постоянным соседом на востоке, продолжением Европы на несколько сотен километров за восточные границы Польши (не в интересах поляков, чтобы их восточная граница была одновременно границей ЕС, что представляет для Польши определенную опасность). Может быть, со временем интересы Польши и России сблизятся, а белорусы будут руководствоваться собственными национальными интересами.

Беларусь не должна по-прежнему оставаться странной страной в географическом центре Европы, с весьма нетрадиционно ведущим себя президентом. Те, кто обрекает Беларусь на исчезновение, должны помнить, какими необычными бывают иногда повороты истории. Польский взрыв в августе 1980 г. (который породил Солидарность) не предвидели в своих исследованиях даже социологи. «Оранжевая» революция в Киеве 2004 г. была неожиданным явлением для самих ее участников. Беларусь не вечно будет *черной дырой* Европы. Меня только интересует, как в ее случае будет выглядеть ускорение истории.

*Перевод с польского Марины Шода*

## **НАУЧНОСТЬ, ДИАЛОГИЧНОСТЬ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ\***

Российских славистов, занимающихся исследованием Украины и Беларуси, все больше привлекают проблемы, связанные с процессами нациотворения. Свидетельство тому – появление сборников конференций, монографий [1,2,5,7,8] и ежегодника «Белоруссия и Украина». Правда, синтетических авторских работ, как и справочных изданий по украинской и белорусской проблематике, пока еще не появилось (с. 6–7). Преодоление российской историографией старых подходов и стереотипов является принципиально важным условием для исследовательской работы на современном этапе. Но такая сложная комплексная проблема, как образование наций, требует еще продуманной методологии и ясно сформулированной исследовательской программы.

Многим из этих требований стремится отвечать рассматриваемый нами сборник, который состоит из материалов трех круглых столов, проходивших в Институте славяноведения РАН в 2001-2003 гг. И это не случайно, поскольку РАН удалось сохранить сильный научный потенциал, что и позволяет решать сложные задачи. Методологической доминантой обсуждений является их междисциплинарность: в дискуссиях вместе с историками участвовали специалисты в области этнолингвистики, фольклора и литературы (всего было задействовано 30 российских ученых). Это фактически срез всей современной российской историографии, которая подчеркивает свою преемственность с советской школой славяноведения (с. 6). Во время

\* На путях становления украинской и белорусской нации: факторы, механизмы, соотнесения. М.: Институт славяноведения РАН. 2004. 255 с.



дискуссий было затронуто много вопросов, которые в белорусской и украинской историографии пока не интерпретированы.

Обсуждения начинались с сопоставления двух основных, по мнению Л. Горизонтова, концепций, которые явно или скрыто всегда присутствуют в современной российской историографии: Центрально-Восточная Европа и общерусская культура, а также непосредственно с ней связанная идея «большой русской нации». С самого начала критике была подвергнута концепция Центрально-Восточной Европы как, с одной стороны, излишне политически ангажированная (с. 21, 33), а с другой – методологически неадекватная реальной ситуации. При этом все приводимые аргументы сводились к простым утверждениям о политизированной модернизации или к замечаниям, что пока это всего лишь проект отдаленного будущего (с. 21, 28). Поэтому декларировалась необходимость дистанцировать научный дискурс от политического (с. 24, 35). К сожалению, из поля внимания всех этих размышлений выпала концепция венгерского медиевиста Л. Ключака, согласно которой степень приобщения к европейским культурным ценностям тождественна усвоению античной традиции. А между тем, используя подобный подход, можно было бы многое прояснить в вопросе формирования великорусской нации и роли украинцев и белорусов в этом процессе (с. 28).

К проблемам, общим для всех исследователей, были отнесены терминологическая путаница и неразработанность этнономенклатуры, что препятствует адекватному пониманию исторического контекста и приводит к модернизации реалий прошлого. С этим трудно не согласиться.

Значительное место было отведено обсуждению языковых проблем, что является сильной стороной этой серии круглых столов. Понятность и прозрачность украинских и белорусских диалектов для великороссов была поставлена под вопрос (с. 79). Долбилов заметил, что когда представители российской власти слышали говор местного населения, то у них складывалось впечатление не о единстве, а о разобщенности «трех русских народностей» (с. 145).

Сборник стремится заполнить недостаток информации по Беларуси. В этой связи отметим выступления А. Кавко (с. 240–244), Л. Щавинской (с. 227–231), М. Робинсона (с. 244–247) и Ю. Лабынцева (с. 197–201). Довольно справедливо замечание об известной изоляции белорусской историографии, которую Ю. Лабынцев назвал «научным монологом» (с. 33). Им же было обращено внимание на необходимость более глубокого и детального изучения религиозной жизни белорусов, а особенно – белорусов-католиков.

Нельзя не согласиться с общим выводом третьего «круглого стола» о принципиальной важности государственного фактора в развитии национальных движений (с. 250–251). Стремление к автономии или полной политической независимости является отличительной чертой всех национальных движений, в том числе украинского и белорусского.

При рассмотрении культурных контактов Речи Посполитой и Московского государства было обращено внимание на то, что как минимум до середины XVII в. к выходцам и приезжим из белорусско-украинских земель относились с подозрением (с. 57). Их непохожесть и странность в глазах подданных московских царей достаточно убедительно иллюстрировалась разнообразными материалами [4]. Но при этом были попытки поставить под сомнение роль белорусско-украинских земель в культурной медиации между Московским государством и Европой. Правда, в конце концов такая роль в качестве своеобразного фильтра все-таки была признана (с. 44).

Возвращаясь к вопросам методологии, хотелось бы обратить внимание на продуктивность и актуальность конструктивистского подхода для исследования проблем нациообразования. Процессы «воображения» (по Б. Андерсону) и «изобретения» (по Э. Хобсбауму) играли не последнюю роль в становлении национального самосознания как элит, так и широких масс. Причем они могли быть продуктом (прямым или побочным) деятельности самой имперской бюрократии (к примеру, организация сбора этнографических материалов, картография и т.д.), а не усилий национальных активистов. Этот важный момент в контексте деятельности местных отделений Императорского Русского Географического общества, выступавшего в качестве инициатора крупных исследовательских проектов, не стал еще предметом отдельного систематического исследования.

Представляется актуальным смещение фокуса исследований на изучение мифо-символических комплексов. По справедливому замечанию А. Каппелера, в Российской империи легальная политическая деятельность была затруднена, поэтому активность артикулировавших национальность лидеров смещалась в сторону культурного строительства и конструирования национальных идентичностей [6, с. 408]. Данный аспект лишь слегка затрагивался в связи с изучением генезиса «Истории Руссов» (с. 114–117), а также Румянцевского кружка и непосредственно И. Лобойко, который развил собственную теорию белорусской народности (с. 140). Кстати, этот эпизод и его более широкий европейский интеллектуальный контекст пока не задействованы в современной белорусской историографии.

Совсем не поднимался важный вопрос о роли образовательного фактора для белорусского и украинского национального движения. Роль Харьковского и Виленского, а затем Киевского и Львовского университетов в должной степени не была рассмотренной. Кстати, открытие Киевского университета (1834 г.) стало возможным, вероятно, в связи с закрытием Виленского университета.

Существенным моментом сборника является уточнение позиции российских чиновников в отношении национальных движений. Российская имперская бюрократия, которая была ключевым звеном в выработке политических решений, идентифицировала языковой и культурный сепаратизм с политическим. Литература и язык представлялись основанием для создания политического сообщества. Само появление иного, нежели русский, кодифицированного языка вело к дезинтегра-

ции империи [12, с. 192–213], чего российская бюрократия не могла допустить, так как стояла на страже ее единства [13, с. 13–14, 45].

Вряд ли можно однозначно принять утверждение, прозвучавшее в сборнике, что украинское национальное движение в австрийской Галиции было наиболее сильным потому, что пользовалось поддержкой венского правительства. Так, Д- П. Химка указывает на существование различных этапов во взаимоотношениях между украинскими «народовцами» и австро-венгерским правительством. На первом этапе Австрия к украинской идее относилась с подозрением. Но в 1882 г. она сделала сознательный выбор в пользу украинцев, в результате чего русофильское движение было существенно ослаблено. А в 1914 г. Австрия поддержала украинское движение с целью расчленения Российской империи. Поэтому нельзя однозначно заявить о постоянной поддержке Австро-Венгрией украинского национального движения [11, с. 136–137].

Пожалуй, стоит возразить и по поводу Нестора Махно, так как он не был столь национально индифферентен, как утверждается в сборнике: в 1921 г. Махно всерьез рассматривал вопрос о вооруженной помощи антипольскому восстанию в Галиции и выдвигал идею украинизации анархистского движения [3, с. 76].

В контексте сравнения белорусского и украинского национальных проектов большой интерес представляет взгляд современников на белорусизацию и украинизацию. Как явствует из воспоминаний Николая Улащика о 20-х гг. XX в., у молодых белорусов существовал своего рода комплекс неполноценности относительно Украины [9, с. 80–81].

Ситуацию свертывания политики «коренизации» в 30-х гг. XX в. и в Белоруссии и в Украине не могли не воспринять как возрождение имперской политики. По сути дела так оно и было: заново переписывались программы по истории, славянские (прежде всего украинский и белорусский) языки модифицировались с целью их приближения к русскому, унифицировалось образовательное пространство, возрождался имперский иконостас героев (Александр Суворов, Александр Невский, Иван Грозный и др.) [10]. И все эти процессы должны быть тщательно исследованы.

Общее впечатление, которое складывается при знакомстве с материалами «круглых столов», довольно позитивное. Российские специалисты значительно улучшили свой методологический арсенал. Стремление к преодолению политизации и избеганию жестких оценочных суждений относится к неоспоримым достоинствам сборника. Научность, а в ее рамках – диалогичность и компетентность, сегодня присущие российской академической науке, не могут не подтолкнуть белорусских и украинских ученых к осуществлению совместных с российскими коллегами научных проектов. О чем и было заявлено в заключительной части последнего «круглого стола».

### ***Литература***

1. Белорусы. М., 1998.
2. Горизонтов Л. Парадоксы имперской политики: поляки в России, русские в Польше (XIX-XX вв.). М., 1999.
3. Грицак Я. Страсти за націоналізмом. Історичні есеї. Київ, 2004.
4. Кинан Э. Російські історичні міфи. Київ, 2001.
5. Миллер А. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в). СПб., 2000.
6. Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет. М., 2005.
7. Россия-Украина: История взаимоотношений. М., 1997.
8. Украинцы. М., 2000.
9. Улашчык М. Краязнаўства. Нататкі пра бадзянні ў 1924–1929. З рукапіснай спадчыны. Мн., 1999.
10. Шпорлюк Р. Імперія та нації (з історичного досвіду України, Росії, Польщі та Білорусі). Київ, 2000.
11. Himka J-P. The Construction Of Nationality In Galician Rus': Icarian Flights in Almost All Directions // Intellectuals And the Articulation of the Nation. Michigan, 1999. P. 109–164.
12. Rodkiewicz W. Russian Nationality Policy In Western Provinces of the Empire (1863-1905). Lublin, 1998.
13. Weeks T.R Nation And State In Late Imperial Russia. Nationalism And Russification on the Western Frontier, 1863-1914. Northern Illinois, 1996.

## **ПО СТРАНИЦАМ «ОЙКУМЕНЫ»**

В начале нынешнего года вышел в свет очередной (третий) выпуск альманаха сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций «Ойкумена». Необходимо отметить, что реализация данного проекта стала возможной только в результате многолетнего сотрудничества между философским факультетом Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина и Харьковским филиалом Национального института стратегических исследований при президенте Украины.

Изначальная редакторская стратегия альманаха заключалась в представлении широкому кругу украинских ученых и всем тем, кто интересуется сравнительным анализом политических и экономических систем, наиболее важных статей крупнейших зарубежных ученых. Так, в рамках проекта «Ойкумены» с любезного разрешения авторов были опубликованы переводы оригинальных, впервые представленных на постсоветском пространстве статей И. Валлерстайна, Ш. Эйзенштадта, М. Манна, М. Кастельса, И. Оллабари, Дж. Арриги, С. Роккана, Г. Дерлугьяна и некоторых других исследователей с мировым именем. Однако уже начиная с первого выпуска альманах «Ойкумена» взял на себя и роль своеобразного научно-академического форума, на страницах которого «высказаться публикациями» по актуальным вопросам мир-системной теории, компаративистской политологии и теории демократических преобразований получили возможность украинские исследователи, среди которых были как маститые ученые, так и начинающие исследователи.

Третий выпуск альманаха «Ойкумена» преимущественно посвящен проблемам формирования современной постиндустриальной неоекономики, сравнительному анализу избирательных

систем и тенденций в развитии мировых социально-экономических структур. Отражая общую логику проекта и следуя традиции, заложенной предыдущими выпусками, альманах представляет четыре раздела: «Программа постиндустриальных реформ», «Сравнительная политология», «Визит Иммануила Валлерстайна в Украину», «Демократизация и Nation-building: к переосмыслению посткоммунистического транзита».

Первый раздел, посвященный постиндустриальному реформированию, представлен совместной разработкой академиков НАН Украины В.П. Семиноженко и В.М. Геца – «Доктрина экономики знаний – основа постиндустриального развития Украины». Статья знакомит с доктриной «экономики знаний», которая, по мнению ее создателей, способна стать основой инновационного реформирования и постиндустриального развития Украины. Проблема постиндустриального реформирования постсоветской экономики является одной из наиболее актуальных в государственной политике Украины. Невозможно всерьез говорить о перспективах евроинтеграции государства с неевропейской экономикой. Именно поэтому авторы, обладающие большим опытом государственного управления, предлагают свой взгляд на существующие проблемы экономического развития государства, а также пути выхода из «индустриальной ловушки», в которой оказалась Украина.

Во втором разделе, посвященном сравнительной политологии, представлены сразу несколько интересных публикаций, предметом которых служат избирательные и партийно-электоральные системы и конституционная инженерия. Так, среди прочих хотелось бы выделить концептуальную статью британской исследовательницы Сары Бирч, в которой исследуются эффекты смешанных избирательных систем в Восточной Европе. Автор на основе впечатляющего массива эмпирических данных анализирует феноменологию смешанных избирательных систем, а также общие характеристики присущих им партийных образований и различия в их функционировании, описывает общую структуру партийной конкуренции и компромиссов, взаимное влияние пропорционального и мажоритарного форматов рекрутации политических элит.

Особой изюминкой альманаха является третий раздел, посвященный первому визиту Иммануила Валлерстайна в Украину. Раздел представлен двумя публичными лекциями выдающегося американского ученого, которые прошли в июне прошлого года в Киевском и Харьковском национальных университетах. Выступление в Киевском университете было посвящено меняющейся геополитике современной мир-системы, а в Харьковском университете И. Валлерстайн затронул проблему эволюции структур знания в мир-системной перспективе. Читатель может познакомиться с полной стенограммой как самих лекций американского профессора, так и весьма интересных дискуссий с его участием, которые разворачивались в переполненных университетских аудиториях. Бессмысленно пытаться пересказывать лекции этого выдающегося ученого. Исследователи, интересующиеся мир-системной теорией, использующие в своем анализе предложенную И. Валлерстайном методологию



синтеза идей К. Маркса, М. Вебера и Ф. Броделя, получают огромное удовольствие от прочтения предлагаемых в «Ойкумене» оригинальных материалов.

Завершающий раздел посвящен переосмыслению ситуации посткоммунистического транзита, в которой оказались многие государства Восточной Европы, и классических теорий транзита, возникших в русле примата так называемой «процедурной демократии». На обзоре данного раздела хочется остановиться особо. По моему мнению, его материалы представляют собой не только оригинальное исследовательское видение и высококлассное изложение проблем демократических преобразований на постсоциалистической карте Европы, но и являются приглашением к широкой дискуссии о будущем транзитологии как парадигмы.

Александр Фисун, Тарас Кузьо и Стейн Роккана хорошо известны украинской публике как авторитетные исследователи. В статье «Инверсионные траектории постсоветских социально-политических трансформаций в контексте четвертой волны демократизации» Александр Фисун, анализируя современные подходы к демократизации, призывает к критическому переосмыслению классической парадигмы транзитологии 1980–1990 гг. Автор выделяет пять базовых отличий посткоммунистических трансформаций, выступающих основными предпосылками становления специфических постсоветских неопатримониальных режимов, которые, по его убеждению, являются вовсе не переходной формой, а имеют тенденции к устойчивому закреплению и воспроизводству. Классифицируя многообразие форм и результатов демократических переходов, фиксируя инверсионность логики постсоветского перехода, исследователь останавливается на предположении, что ключевой категорией консолидации постсоветской демократии является степень отделения правящей элиты от политико-экономических средств управления.

Американский исследователь украинского происхождения Тарас Кузьо в статье «Посткоммунистические транзиты: три измерения или четыре?» предлагает анализ классической транзитологической парадигмы и представляет некоторые положения собственного видения посткоммунистического транзита. В соответствии с его точкой зрения, во-первых, демократические переходы, осуществляемые постсоветскими государствами и бывшими югославскими республиками, имеют гораздо более глубокую и многомерную природу, чем это принято считать на Западе. Во-вторых, более адекватное понимание процессов демократических преобразований в указанных государствах возможно только за счет более детального объяснения взаимоотношения национальной идентичности и современного гражданского государства. А в-третьих, переход от слабых государств и несформировавшихся наций к «консолидированной демократии» может быть объяснен только в рамках «четырёхсоставной» модели, которую он называет «квадротранзитом».

Норвежский ученый Стейн Роккан (1921–1979) привлекателен своими оригинальными и при этом не утратившими исследовательского смысла концептуальными построениями, заставляющими с маниакальной внимательностью всматриваться в каждую конфигурацию. В своей статье «Измерения процессов формирования го-

сударства и создания нации: возможная парадигма для исследования вариаций в пределах Европы» автор пытается кодифицировать сходства и различия в развитии политических систем Европы и на основании этого материала рассуждает о европейской уникальности и о перспективах демократизации конкретных мировых геокультурных и геополитических ареалов.

Дорабатывая концептуальные построения Т. Парсонса и А. Хиршмана, исследователь вычленяет базовые процессы территориальной дифференциации и территориальные центры, фиксирует компоненты их организации и институциональную логику воспроизводства. На основе собственной концептуализации структуры европейского пространства – т. н. «концептуальной карты Европы» – он создает модель «четырёх фаз» в исторической динамике развития европейских политических систем. С. Роккан рассматривает исторические перспективы «политической Европы» сквозь оппозицию исторического ядра (осевой пояс городов-государств) и периферии (степени удаленности от исторического ядра каждого конкретного участника). Некоторые выводы автора представляются небесспорными, но тем не менее дают повод задуматься о мере исторической предопределенности результатов современных демократических траекторий на пространстве постсоветского Евровостока.

Предлагаемый альманах «Ойкумена» адресован широкой аудитории ученых и специалистов в области социальных и гуманитарных наук, политиков, государственных служащих, а также всем, кто интересуется глобальными проблемами мирового развития и демократических преобразований.

## ДВА ДОКУМЕНТА\*

### 1.

Достаточно часто в нашем мире случается так, что определенные понятия становятся абстракциями, а абстракции приобретают вполне конкретное значение. Поэтому для поддержания подлинной картины мира необходимо проводить постоянную работу по возобновлению значения понятий. Эта работа может быть незаметной, но без нее постепенно искажается правда жизни. Иногда необходимость в проведении такой работы совсем неочевидна. Клайв Льюис в одном из своих трактатов заметил:

«...порою мы попадаем как бы в карманы (тупики мира) – в школу, в полк, в контору, где нравственность очень дурна. Одни поступки здесь считают обычными (все так делают), другие – глупым донкихотством. Но, выйдя оттуда, мы, к нашему ужасу, узнаем, что в большом мире теми “обычными поступками” гнушаются, а донкихотство считают мерой порядочности. То, что в одном месте представлялось болезненной щепетильностью, в другом оказывается признаком душевного здоровья»<sup>1</sup>.

Ощущение, что ты находишься именно в таком «кармане», – знакомо едва ли не каждому человеку. Однако в XX в. оказалось, что это состояние может быть невероятно продолжительным и

\* Deus caritas est. – Vatican, 25-12-2005 (Декларация о правах и достоинстве человека Всемирного Русского Национального Собора 6.05.2006). <http://religion.sova-center.ru/discussions/197B344/3D13257/71CB52B>

что в подобном «кармане» могут находиться целые страны и народы. Клайв Льюис, размышляя, как возможно достижение полноты и радости жизни в подобной ситуации, пишет:

«Как ни печально, но все мы видим, что лишь абстрактные добродетели в силах спасти наш род... Они, проникая в наш “карман” откуда-то извне, оказываются невероятно важными для нас, и если бы мы смогли лет десять следовать их законам, то наша жизнь исполнилась бы мира, здоровья и радости, – а больше ей не поможет ничто. Пусть принято считать все эти добродетели прекраснодушными и невыполнимыми, но когда мы действительно в опасности, сама наша жизнь зависит от того, насколько мы им следуем. И мы начинаем завидовать тем упрямым и наивным людям, которые на деле, а не на словах научили себя и тех, кто с ними, мужеству, выдержке и жертвенности»<sup>2</sup>.

Свою первую энциклику папа Бенедикт XVI посвятил теме любви – на первый взгляд слишком отвлеченной для современного мира. *«Deus caritas est. В мире, где имя Бога иногда связывается с мстью или даже ненавистью и насилием, эта весть является и своевременной и существенной. По этой причине я желаю в моей первой Энциклике говорить о любви, которую Бог расточает на нас и которую мы в свою очередь должны разделить с другими»*. Эта энциклика продолжает великую традицию предшественников Бенедикта XVI: *Rerum Novarum* (1891) Льва XIII, *Quadragesimo Anno* (1931) Пия XI, *Mater et Magistra* (1961) Иоанна XXIII, *Octogesima Adveniens* (1971) и *Populorum Progressio* (1967) Павла VI, *Laborem Exercens* (1981), *Sollicitudo Rei Socialis* (1987), *Centesimus Annus* (1991) Иоанна Павла II<sup>3</sup>.

Энциклика папы Бенедикта XVI, посвященная любви, вроде бы обращена только к личности, но вместе с тем она развивает учение Церкви и служит формированию социальных отношений в глобальном масштабе.

Любовь становится абстракцией, когда умножаются ее значения. Про обширный семантический диапазон слова «любовь» напоминает и энциклика: *«...мы говорим о любви к стране, любви к профессии, любви между друзьями, любви к работе, любви между родителями и детьми, любви между членами семейства, любви к соседу и любви к Богу»*. Среди этого разнообразия значений Бенедикт XVI выделяет любовь между мужчиной и женщиной, которая затеняет все прочие виды любви и словно бы выражает саму суть счастья. Поэтому он задается вопросом: имеют ли все виды любви между собой нечто общее или же мы просто используем одно слово для обозначения совершенно разных событий? Энциклика настаивает на родстве всех форм любви, на глубинной связи даже между эросом и любовью к Богу.

Церковь не просто просит: давайте любить друг друга. Она властно призывает каждого: возлюби ближнего своего. В энциклике проявляются персональные и социальные измерения этой заповеди. Бенедикт XVI обращает внимание на реальный

характер любви, называя ее силой, по которой узнается Церковь и ученики Христовы и которая (и только она) выявляется в этом мире в полной мере. Перенос абстракции в реальность осуществляется через саму суть любви. А чтобы понять эту суть, следует ответить на целый ряд вопросов. Кто тот, кто любит? Как возможна любовь? Кого нужно любить? Кто наш ближний? Как следует любить? На каких основаниях строится солидарность и наше личное поведение в этом мире? Может ли любовь институциализироваться?

Бенедикт XVI в энциклике, восстанавливая значение слова «любовь», обращается к восточно-христианской традиции, имеющей в своем лексиконе ряд понятий, обозначающих любовь в ее различных формах: *eros*, *filio*, *agape*, – не противоположных, не взаимоисключающих одна другую, но представляющих различные ее стороны и проявления. *«Любовь, – пишет он – единственная в мире реальность, имеющая различные измерения; в разное время то или иное измерение может проявляться более выразительно. Но когда разные измерения полностью отделены друг от друга, то в результате мы получаем породию или, в лучшем случае, весьма скудную форму любви»*. Бенедикт XVI настаивает на том, что библейская вера не выстраивает параллельную вселенную, в ней находится место и для эроса, и для жертвенной любви, – причем в границах одной и той же личности. *«Библейская вера принимает всего человека, но влияет на поиск любви, очищая его душу и тем самым показывая ее новые измерения; это и составляет новизну христианской веры»*. Эту новизну энциклика представляет в двух стратегиях, которые заслуживают быть выдвинутыми на первый план: любовь к Богу и любовь к человеку.

Чтобы очистить понятие любви к человеку, надо посмотреть на известную христианскую заповедь как бы извне. Кто этот ближний? Бенедикт XVI обращается за разъяснением к греческому языку. А для русскоязычных читателей будет более понятно обращение, скажем, к английскому. На английском языке заповедь о любви звучит неожиданно и совершенно по-новому. *«You shall love your **neighbour** as yourself»*. То есть речь идет не об абстрактном «ближнем», а о любви к конкретному **соседу**. Ближний для иудеев означал соплеменника, и, видимо, так же обстоит дело с этимологией этого слова в славянских языках. Быть близким означает принадлежать одному роду, любить ближнего – значит исключить в роду всяческие распри. Но в русском переводе Нового Завета была сделана калька со славянского «ближний», отчего слово приобрело абстрактное значение. Сегодня родовая основа понятия «ближний» уже давно исчезла, а само это слово приобрело сакральный характер. Но вместе с тем возросла актуальность понимания ближнего как соседа. Как для иудея непросто было увидеть «ближнего» в гое, так для современного человека непросто увидеть ближнего именно в соседе: по лестничной площадке, земельному участку, офису. Образ ближнего или соседа в Новом Завете – это всякий человек, нуждающийся в любви. Бенедикт XVI обращает внимание как раз на то, что христианство учит любить того, кто нуждается в любви. Именно так осуществляется перенос абстракций в реальность.

Однако в чем должна заключаться любовь? – Энциклика предостерегает от сведения любви только к одной из ее двух основных форм: чувственности или жертвенности. Как на проявление любви Бенедикт XVI указывает на благотворительность Церкви и каждого отдельного христианина. Благотворительность не может быть только институциональной. Помочь – это означает войти в жизнь другого человека. Недостаточно просто оказать ему помощь, необходимо проявить сердечность. Именно здесь – пространство любви.

Сегодня, когда функции безопасности и социального обеспечения берет на себя государство, необходимость любви к ближнему становится все более неочевидной... Я плачу налоги – что еще можно от меня требовать? Я выполнил свои обязанности – что я еще кому должен? Поэтому энциклика ставит вопрос о соотношении институциональных и личных обязанностей, когда дело касается любви. *«Начиная с девятнадцатого столетия существует такой вызов, принятый Церковью. Особенно настойчиво этот вызов развивался марксизмом: бедные не нуждаются в милосердии – они нуждаются в справедливости. “Раздача милостыни” – это возможность для богатых уклониться от проблемы справедливости, средство, которым одновременно успокаивается совесть, сохраняется свой социальный статус и отнимается у бедных право требовать свою долю богатства. Вместо того чтобы через индивидуальные акты милосердия поддерживать статус-кво, мы должны строить социальный порядок, в котором все получают свою долю мирового богатства и больше не будут зависеть от милосердия. Определенная доля правды в таком подходе, несомненно, присутствует, но это далеко еще не вся правда. Верно, что достижение справедливости должно быть фундаментальной нормой государства и что цель социального порядка состоит в том, чтобы гарантировать каждому человеку, согласно принципу субсидиарности, его долю в богатстве общества...».*

Но можно ли институционализировать любовь? Это важнейший вопрос, который рассматривается в энциклике. И делается вывод, что любовь всегда персональна. Как бы мы ни хотели избавиться от зависимости в любви – сделать это практически невозможно. В энциклике отмечается, что марксизм видел мировую революцию как панацею для решения всех социальных проблем: достаточно совершить революцию и провести коллективизацию средств производства, как все в этом мире изменится к лучшему. Сегодня подобные иллюзии исчезли. Потому, отмечает энциклика, в современной ситуации социальная доктрина Церкви предлагает набор фундаментальных принципов, которые можно использовать и вне границ Церкви: перед лицом современных вызовов к этим фундаментальным принципам следует обратиться (в контексте диалога) всем, кто серьезно заинтересован в гуманизме того мира, в котором мы живем.

*«Соборное измерение Церкви не может не расположить к себе всех деятелей милосердия, чтобы работать в гармонии с разными организациями в обслуживании различных потребностей людей, но таким способом, который принимает во*



*внимание то, что Христос требовал от Своих учеников. Апостол Павел в гимне о любви учит нас, что деятельность милосердия всегда больше, чем только деятельность: “И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы”».*

Однако, уточняет Бенедикт XVI, эти принципы применимы не в системном, а только в персональном использовании. В энциклике он замечает, что человеку необходимы не только техника, но и душа, участливое сердечное отношение.

*«Практическая деятельность всегда будет недостаточна, если в ней явно не выражается любовь к человеку, любовь, которую питает вера в Христа. Когда я разделяю потребности и страдания других, я делюсь самим собой с ними: чтобы мой подарок не был оскорблением, я должен отдать другому не только нечто из моей собственности, но и самого себя; я обязан лично присутствовать в моем подарке...».*

Церковь, говоря о любви, оставляет место и для социальных институтов, как и для действия человека в рамках этих институтов, при этом наставляя, как достойно примирить эти два начала. А именно соединить в одно целое любовь Бога к человеку и ответную любовь человека. *«Мы пришли в этот мир, чтобы верить в любовь Бога – и дарить свою любовь в благодарность за любовь к нам Бога»*, – утверждает энциклика. Перемещение проблематики социальных отношений только в область справедливости распределения богатства разрушает дискурсивность человеческих отношений, способность человека действовать в соприкосновении с другим человеком и его свободой. Мы не можем любить абстрактно, жить абстрактно, не входя в контакт с любимым. Любить – значит чувствовать ответственность (по выражению З. Баумана – «быть сторожем своему брату»<sup>4</sup>), а значит, всякий раз рисковать самим собой, открываясь навстречу Другому.

*«Надежда приобретается через терпение и сохраняется даже перед лицом очевидной неудачи; а через достоинство смирения надежда внимает тайне Бога и доверяет Ему даже во время полной тьмы... Бог дает нам уверенность, что Он действительно – любовь! Это преобразовывает наше нетерпение и наши сомнения в уверенную надежду, что Бог держит мир в Своих руках и что... несмотря на весь мрак, Он в конечном счете одержит победу в славе... Любовь – свет и, в конце концов, единственный свет, который освещает наш путь и поддерживает наше мужество жить. Любовь возможна, и мы способны любить, потому что созданы по образу Бога. Мы созданы испытывать любовь, потому что через любовь мы приглашаем Бога в наш мир... Это приглашение я хотел бы продлить данной Энцикликой».*

Энциклику Бенедикта XVI необходимо читать в Восточной Европе. Она – напоминание о ближнем, а значит – об основаниях всякой этики и порядка. Как и о подлинной свободе, связанной с величайшим риском проигрыша в любви. Эта энциклика – также напоминание о необходимости оправдания того мира, в котором мы живем. Принципиально важно, что Церковь избирает путь персональной актив-

ности и призывает к деятельности каждого христианина, отмечая ограниченность одних только социальных и институциональных мер. Жак Маритен в свое время развивал учение о сильных и слабых средствах Церкви<sup>5</sup>. Сегодня – время слабых средств, оправдывающих существование сильных социальных институтов.

## 2.

В другой части Европы – в Москве – также задалась подобными вопросами, которые ставятся в энциклике *Deus caritas est*. Однако предложенные перспективы их разрешения оказались совсем иными. 6 мая 2006 г. околоцерковный Всемирный русский национальный собор (ВРНС) принял декларацию о правах и достоинстве человека, которая так или иначе будет воздействовать на политику и отношение к личности во всей Восточной Европе.

Декларация ВРНС основана на противопоставлении двух свобод. *«Мы различаем две свободы: внутреннюю свободу от зла и свободу нравственного выбора. Свобода от зла является самоценной. Свобода же выбора приобретает ценность, а личность – достоинство, когда человек выбирает добро. Наоборот, свобода выбора ведет к саморазрушению и наносит урон достоинству человека, когда тот избирает зло».*

Здесь мы имеем дело, по существу, не с христианской, а с руссоистской традицией. Может быть, поэтому РПЦ не стала принимать декларацию от своего имени (активную поддержку Декларации митрополитом Кириллом (Гундяевым) и некоторыми епископами РПЦ нельзя рассматривать как всецерковную позицию). Руссо заложил традицию человека как «добраго существа», отягощенного злыми цивилизационными формами и институтами. Для того чтобы сделать человека счастливым и совершенным, необходимо изменить его социальное окружение и развернуть воспитательную работу.

Руссоизм требует деления общества на посвященных и профанов, воспитателей и воспитуемых. Декларация составлена именно в такой парадигме. В ней употребляется загадочное «Мы» – словно бы сошедшее со страниц Замятина, – от имени которого излагаются все положения документа. «Мы» не доверяет отдельному человеку и практически ничего не может сказать о том состоянии, в котором пребывает человек. Декларация стремится представить человека как полностью лишённого свободы, потому что никто не свободен от зла. А свобода выбора – хороша только тогда, когда человек выбирает добро. Когда же человек выбирает зло, то он – несвободен. Поскольку редко какой человек за свою жизнь может избежать зла, то оказывается, что все люди находятся в состоянии ложной свободы. Выход – создание институтов, которые бы гарантировали праведность человека.

Любопытен контекст, которым обуславливается необходимость Декларации. «Сознавая, что мир переживает переломный момент истории, стоит перед угрозой

конфликта цивилизаций, по-разному понимающих человека и его предназначение, – Всемирный Русский Народный Собор от имени самобытной русской цивилизации принимает настоящую декларацию». Так, самым неожиданным образом С. Хантингтон находит популяризаторов своей теории.

Между тем христианство не различает видов свободы, потому что есть только одна свобода. Свобода от зла не противостоит свободе выбора. Свобода противостоит рабству и не-свободе. Нравственный выбор может быть осуществлен лишь тогда, когда ты находишься в состоянии свободы. К тому же этот выбор предусматривает возможность ошибки. И Католическая Церковь, и Собор находят, что ошибки возможны. Как их можно исправить?

– Личной любовью, – отвечает Энциклика *Deus Caritas Est*.

– Властью, – отвечает Декларация. – Ограничением свободы выбора и минимизацией предложений на рынке свободы.

Поэтому парадигму, в которой составлен этот документ, можно назвать парадигмой Великого Инквизитора<sup>6</sup>. По словам С. Франка, «главный упрек, который Инквизитор делает Христу, заключается в том, что Христос на пути Своего спасения не только не освобождает человека от проблематики жизни, от бремени свободного принятия решений, но что Он, считаясь с достоинством человека, налагает на его плечи неслыханное бремя. Однако, как считает Великий Инквизитор, истинное спасение человека заключается именно в освобождении от проблематики жизни...»<sup>7</sup>.

По существу, рассматриваемая Декларация стала ответной реакцией на Социальную концепцию Русской Православной Церкви 2000 г.<sup>8</sup> По крайней мере, в той части общества, на мнение которого опирается Декларация, Социальное учение не было принято, и в настоящее время подвергается пересмотру и переистолкованию с точки зрения так называемых «державников».

Социальное учение утверждает: *«Бог хранит свободу человека, никогда не насилуя его волю. Напротив, сатана стремится завладеть волей человека, поработить ее. Если право соотносится с божественной правдой, явленной Господом Иисусом Христом, то и оно стоит на страже человеческой свободы: “Где Дух Господень, там свобода” (2 Кор. 3, 17) – и, соответственно, охраняет неотъемлемые права личности. Те же традиции, которым не знаком принцип Христовой свободы, подчас стремятся подчинить совесть человека внешней воле вождя или коллектива»*.

В этом случае соблюдение свободы совести – это обязанность государства. Именно обеспечение свободы совести позволяет проводить границу между правовыми и неправовыми средствами поддержания социального порядка. При этом его обеспечению на персональном уровне уделяется не меньшее значение, чем на институциональном. Именно в этом положении расходятся позиции Социального учения и Декларации. Последняя делает акцент на властном регулировании проблем социального порядка, что в конце концов приводит к игнорированию свободы совести, коль она начинает противоречить социальному порядку.

Социальное учение признавало ценность для Церкви европейской традиции естественного права:

*«В результате секуляризации в Новое время доминирующей стала теория естественного права... Эта теория не утратила связи с христианской традицией, ибо исходит из убеждения, что понятия добра и зла присущи человеческой природе, а потому право вырастает из самой жизни, основываясь на совести (“категорическом нравственном императиве”). Вплоть до XIX столетия данная теория господствовала в европейском обществе. Ее практическими следствиями были, во-первых, принцип исторической непрерывности правового поля (право нельзя отменить, как нельзя отменить совесть, его можно только усовершенствовать и приспособить законным же способом к новым обстоятельствам и случаям) и, во-вторых, принцип прецедентности (суд, сообразуясь с совестью и с правовым обычаем, может вынести правильное, то есть соответствующее Правде Божией, судебное решение)». Декларация отвергает концепцию права в целом, противопоставляя праву – спасение. Авторы Декларации ставят православное понимание прав личности вне правового пространства. По мнению митрополита Кирилла, «цель человека состоит в том, чтобы возвратить утраченное достоинство и приумножить его». Если в Социальном учении «права нужны христианину прежде всего для того, чтобы, обладая ими, он мог наилучшим образом осуществить свое высокое призвание к “подобию Божию”, исполнить свой долг перед Богом и Церковью, перед другими людьми, семьей, государством, народом и иными человеческими сообществами», то для «мы» (субъекта Декларации) права человека нужны лишь для обоснования вмешательства в свободу со стороны государства (как легитимация такой интервенции).*

Декларация не соглашается с концепцией христианской совести в Социальном учении: *«Во всем, что касается исключительно земного порядка вещей, православный христианин обязан повиноваться законам, независимо от того, насколько они совершенны или неудачны. Когда же исполнение требования закона угрожает вечному спасению, предполагает акт вероотступничества или совершение иного несомненного греха в отношении Бога и ближнего, христианин призывается к подвигу исповедничества ради правды Божией и спасения своей души для вечной жизни. Он должен открыто выступить законным образом против безусловного нарушения обществом или государством установлений и заповедей Божиих, а если такое законное выступление невозможно или неэффективно, занимать позицию гражданского неповиновения» (см. III.5).* «Мы» говорит о совести так: *«Вечный нравственный закон имеет в душе человека твердую основу, не зависящую от культуры, национальности, жизненных обстоятельств. Эта основа заложена Творцом в человеческую природу и проявляется в совести. Однако голос совести может быть заглушен грехом. Именно поэтому различению добра и зла призвана содействовать религиозная традиция, имеющая своим Первоисточником Бога».* То есть угрозой свободе является сам человек, а потому его, по

мнению авторов Декларации, необходимо воспитывать, а главным воспитателем следует назначить государство. Под традицией в приведенном отрывке понимается все что угодно, но только не Церковь, основанная на любви. Державники покрывают молчанием определение того, чем является, по их мысли, традиция, содействующая различению добра и зла. Это молчание нарушил лишь Митрополит Кирилл (Гундяев). В своем выступлении на ВРНС он отстаивал право государства на воспитание «человеческого достоинства»: *«Необходимо подготавливать граждан пользоваться этими правами с учетом нравственных норм. Опять же, такой подготовкой должно заниматься государство в тесном сотрудничестве с общественными институтами нравственного воспитания, включая школу и, конечно, религиозные общины страны. Последнее означает, что государство должно озаботиться разработкой законодательных актов, регулирующих доступ религиозных организаций в общественные структуры образования, социального служения, здравоохранения, армии»*.<sup>9</sup> Тут Церковь рассматривается как одно из условий существования определенного социального порядка. В этом порядке нет церковной перспективы и перспективы свободы для человека, а есть только руссоистский план, который, как показывает социальная практика, всякий раз устанавливает несвободный, лживый и неэффективный порядок.

Авторы Декларации уверены в том, что любовь – институциализируется, что возможно создание механизмов по достижению добра и счастья для всех. Декларация проходит мимо значения совести, поскольку основные ценности видит совсем в ином: *«Существуют ценности, которые стоят не ниже прав человека. Это такие ценности, как вера, нравственность, святости, Отечество. Нельзя допускать ситуаций, при которых осуществление прав человека подавляло бы веру и нравственную традицию, приводило бы к оскорблению религиозных и национальных чувств, почитаемых святых, угрожало бы существованию Отечества. Опасным видится и “изобретение” таких “прав”, которые узаконивают поведение, осуждаемое традиционной моралью и всеми историческими религиями»*. Но если Декларация выражает недоверие совести, то остается только один механизм разрешения таких трудных дилем: *«...когда эти ценности и реализация прав человека вступают в противоречие, общество, государство и закон должны гармонично сочетать то и другое»*. Эти строки прямо противоречат Социальному учению, которое ставит акцент именно на совести.

Сегодня в России многие готовы игнорировать принципы христианской свободы ради возможности влиять на общество напрямую через властные структуры. Церковь при этом низводится до положения идеологической машины в структуре государства, не связанного концепцией прав человека и свободой совести своих граждан. В таком духе составлено, к примеру, и послание участников международной конференции «Дать душу Европе. Миссия и ответственность Церквей», прошедшей в мае 2006 г. в Вене.

Декларация является вызовом основополагающим принципам не только европейской цивилизации, но и Церкви. Поэтому нельзя избегать полемики с авторами Декларации и их мировоззрением, которое противоречит свободе человека и созданию на ее основе социального пространства Восточной Европы.

### **Примечания**

- <sup>1</sup> Льюис К. Любовь. Страдание. Надежда. М.: Республика, 1992. С. 145.
- <sup>2</sup> Там же. С. 146.
- <sup>3</sup> Как результирующий документ данных энциклик, посланий и писем, в 2004 г. было издано Резюме Социальной Доктрины Церкви.
- <sup>4</sup> См.: Бауман З. Индивидуализированное общество. М., 2005.
- <sup>5</sup> Надо также понять, что существует порядок и иерархия этих временных средств, я говорю о временных средствах, которые хороши сами по себе, законны и нормальны. Есть труд солдата, землепашца, есть труд политика, поэта, философа; есть труд остальных христиан, которых большинство; есть труд святых, на которых возложен долг перед государством, как на св. Людовика, или светская миссия, как на Жанну д'Арк, а есть труд святых, свободных от таких обязанностей... И чем они менее материальны, чем они невесомее и незримее, тем они эффективнее. Ибо это чистые средства во славу духа, это средства, свойственные мудрости, ибо мудрость не нема, она кричит в публичных местах, и это мудрость – кричать так, ведь надо же заставить услышать себя. Ошибочно думать, что лучшими средствами для нее будут самые сильные, самые мощные (Маритен Ж. Знание и культура. М.: Научный мир, 1999).
- <sup>6</sup> См.: Достоевский Ф. Братья Карамазовы // Собрание сочинений в 12 т. М., 1991. Т. 9.
- <sup>7</sup> Франк С. Легенда о Великом Инквизиторе // О Великом Инквизиторе. Достоевский и последующие / Ред. Ю. Селиверстов. М., 1991. С. 244–245.
- <sup>8</sup> Социальное Учение Русской Православной Церкви. М., 2000.
- <sup>9</sup> <http://religion.sova-center.ru/discussions/197B344/3D13257/71CB52B>



## **БИСКУП ЧЕСЛАВ СИПОВИЧ\***

В 2004 г. в Минске была издана книга об известном религиозном деятеле, первом за последние двести лет католическом епископе-белорусе Чеславе Сиповиче (1914–1981). Ее автором является греко-католический священник, известный историк, директор Библиотеки имени Франциска Скорины в Лондоне отец Александр Надсон.

В течение нескольких последних лет белорусская и польская историография обогатилась несколькими работами, в которых рассматривается влияние белорусских ксендзов на развитие белорусского национально-освободительного движения в XX ст<sup>1</sup>. Это явление можно назвать достаточно симптоматичным, особенно если учитывать, что начиная с 1939 г., когда была издана книга известного белорусского политика и ученого кс. А. Станкевича «*Bielaruski chryścijanski ruch*», о ксендзах-белорусах почти не вспоминали. Историки Советской Беларуси на протяжении многих лет превозносили роль коммунистической партии в деле формирования белорусского национального движения, подчеркивая, что именно благодаря ее деятельности белорусы получили государственность и все ее атрибуты. К тому же идея о необходимости самостоятельной религиозной жизни считалась ненужной и даже враждебной, в первую очередь по причине атеистичности коммунистической идеологии. Что касается позиции поляков относительно деятельности ксендзов-белорусов, то она была резко отрицательной, поскольку в 1920–1930-х гг. в Польше понимали католический костел ис-

\* Надсан А. Біскуп Чэслаў Сіповіч: сьвятар і беларус. Менск: МГА «БелФранс», 2004. 301 с.

ключительно как основу своей государственности на восточных землях. Поэтому любые попытки белорусизации католического костела рассматривались как вражеская (в первую очередь русская или немецкая) интрига. В современной независимой Беларуси, где предпочтение отдается православной церкви, деятельность католических священников и их вклад в формирование национальной идеологии тоже не всегда получают достаточное признание. Однако невзирая на различные препоны интерес к данному вопросу постоянно растет как в научных кругах, так и среди широкой общественности. Очередным доказательством этому является книга А. Надсона. О ее ценности свидетельствует в первую очередь широкое использование автором ранее не введенных в научный оборот исторических источников, особенно писем, которые хранятся в Библиотеке имени Франциска Скорины в Лондоне.

Епископ Ч. Сипович жил в Беларуси всего 25 лет – после этого молодой монах-марианин уехал в Рим. Большую часть жизни он находился за пределами Беларуси, однако его патриотическая деятельность позволила ему стать безусловным духовным лидером послевоенной белорусской эмиграции.

А. Надсон называет свою книгу биографией, однако ее можно и нужно рассматривать как монографию, в которой исследуются многие аспекты всего белорусского христианского движения. Например, автор уделил много внимания истории марианского монастыря в Друе в 1920-1930-х гг. Этот монастырь, основанный в 1924 г. виленским епископом Ю. Матулевичем, на протяжении долгих лет был яблоком раздора между белорусами и поляками. Из книги можно многое узнать о деятельности Конгрегации для Восточных Церквей и комиссии «Pro Russia», главной целью которой было распространение католичества среди русских. Роль Конгрегации в белорусской религиозной жизни оценивается А. Надсоном однозначно негативно, поскольку она часто отправляла лучших белорусских священников-униатов проводить миссионерскую деятельность в других странах.

Если начало книги в значительной мере посвящено описанию религиозной ситуации в северо-восточных воеводствах Второй Речи Посполитой и той атмосфере, в которой происходило формирование молодого Ч. Сиповича, то дальше исследование концентрируется на жизни самого епископа. В послевоенные годы он разворачивал свою деятельность главным образом среди белорусской эмиграции (как в культурной, так и в религиозной сфере). В книге, например, рассказывается о создании белорусского марианского монастыря и Библиотеки имени Франциска Скорины в Лондоне, которая теперь является самым большим собранием белорусской литературы за пределами страны.

В конце 1970-х Ч. Сипович несколько раз встречался с папой римским Яном Павлом II. Белорусская эмиграция давно стремилась назначить для БССР епископа-белоруса, чему сопротивлялось польское духовенство во главе с кардиналом С. Вышинским. Именно по этому вопросу и беседовал Ч. Сипович с Яном Павлом II. К сожалению, его миссия не имела успеха.

*Бискуп Чеслав Ситович*

Книга А. Надсона, наиболее известного духовного деятеля белорусской эмиграции, написана доступным языком и будет интересна не только историкам, но и самому широкому кругу читателей.

*Андрей Вашкевич*

### ***Примечания***

- <sup>1</sup> Беларускія рэлігійныя дзеячы XX ст. Жыццяпісы. Мартыралогія. Успаміны / Аўтар-уклад. Ю. Гарбінскі. Мінск; Мюнхен, 1999; Moroz M. «Крупіца». Ideologia i przywódcy białoruskiego katolicyzmu. Białystok, 2001; Конан Ул. Ксёндз Адам Станкевіч і каталіцкае адраджэнне ў Беларусі. Мн.: Про Хрысто, 2003.

## НАШИ АВТОРЫ

**Бреский Олег** – белорусский юрист, историк. Кандидат юридических наук, доцент Брестского государственного университета. Степендиат CASE.

**Вашкевич Андрей** – белорусский историк, кандидат исторических наук. Исследует новейшую историю Беларуси.

**Дынько Андрей** – политический аналитик, публицист, главный редактор газеты «Наша Ніва».

**Казакевич Андрей** – белорусский политолог, главный редактор журнала «Палітычная сфера». Стипендиат Центра перспективных исследований и образования.

**Крысенко Алексей** – украинский политолог, социолог. Кандидат философских наук, преподаватель Харьковского национального университета.

**Радзик Ришард** – польский социолог, доктор хабилитованы. Занимается историей национализма в Восточной Европе.

**Сарна Александр** – белорусский философ, кандидат философских наук, доцент БГУ. Сфера научных интересов – философия постмодернизма и проблемы масс-медиа.

**Смоленчук Александр** – белорусский историк, доктор исторических наук. Исследует национальные движения в Беларуси конца XIX столетия.

**Смулкова Эльжбета** – польский филолог, профессор, доктор habilitation. Занимается восточнославянским языкознанием, антропологией пограничья.

**Станишкис Ядвига** – польский социолог. Профессор Института социологии Варшавского университета, сотрудник Института политических исследований ПАН. Переведенный текст является частью книги «Власть глобализации» (Варшава, 2003).

**Шевченко Игорь** – американский историк украинского происхождения, специалист по истории Византии.

**Шпорлюк Роман** – американский историк украинского происхождения, профессор Гарвардского университета. Директор Института украинских исследований в Гарварде.

## **ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК (CASE) ПРИ ЕВРОПЕЙСКОМ ГУМАНИТАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ**

*Центр перспективных научных исследований и образования в области социальных и гуманитарных наук (CASE) при Европейском гуманитарном университете создан в 2003 г. при финансовой поддержке Корпорации Карнеги в Нью-Йорке и административном содействии Американских Советов по международному образованию ACTR/ACCELS и Американского центра по образованию и исследованиям.*

Основной целью деятельности CASE является содействие обновлению системы научных исследований и образования в области социальных и гуманитарных наук, развитию профессионального сообщества, а также мобилизации интеллектуальных и профессиональных ресурсов для изучения процессов социальных трансформаций в Пограничье Центрально-Восточной Европы (Беларусь, Украина, Молдова).

### **Задачами центра являются:**

- Интенсификация научных исследований в области социальных трансформаций в регионе Пограничья (Беларусь, Украина, Молдова);
- Накопление и распространение информации о научных исследованиях и учебно-методических разработках в области социальных трансформаций в регионе Пограничья;
- Координация научных исследований по важнейшим проблемам и направлениям, соответствующим профилю центра;



- Организация продуктивного научного диалога между исследователями и преподавателями региона по проблемам социальных трансформаций в регионе Пограничья;
- Создание сети партнерских образовательных и исследовательских учреждений в Беларуси, Украине, Молдове;
- Создание и развитие информационной базы для проведения исследований по проблематике центра;
- Содействие мобильности региональных и зарубежных исследователей, вовлеченных в работу центра.

### **Основные виды работ CASE:**

- Проведение конкурсов для аспирантов и докторантов на получение стипендий для проведения исследований по проблематике CASE;
- Осуществление образовательных программ для стипендиатов CASE;
- Проведение региональных исследовательских семинаров и международных конференций;
- Издание научного ежеквартальника «Перекрестки»;
- Издание сборника работ стипендиатов CASE;
- Издание монографий по проблематике CASE;
- Создание и апробация учебных, учебно-методических материалов, а также инновационных технологий обучения стипендиатами центра;
- Создание библиотеки CASE.

### **Тематические приоритеты CASE:**

- Теории и модели Пограничья в современных гуманитарных науках;
- Исторические и этнокультурные контексты формирования Пограничья (Беларусь, Украина, Молдова);
- Трансграничная, межрегиональная и транснациональная кооперация в Пограничье;
- Политические и правовые трансформации в условиях Пограничья (Беларусь, Украина, Молдова);
- Беларусь, Украина, Молдова в контексте европейской интеграции: противоречия и преимущества Пограничья;
- Пограничье и проблемы европейской безопасности;
- Национальная идентичность в условиях Пограничья;
- Социальная роль образования и культуры в условиях трансформации (Беларусь, Украина, Молдова);
- Регионы Пограничья в условиях глобализации.

